Ричард

Флэнаган

Узкая дорога на дальний север



ЛУЧШЕЕ ИЗ ЛУЧШЕГО
КНИГИ ЛАУРЕАТОВ МИРОВЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЙ

Любовью делятся с другими, иначе она умирает

Знак информационной продукции согласно Федеральному закону от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ
18+

Узкая дорога на дальний север
Ричард Флэнаган

Аннотация
Ричард Флэнаган. Узкая дорога на дальний север
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
II

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
III
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
IV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1-5
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Аннотация

В этом удивительном романе, который Э.С. Грейлинг, член жюри Букеровской премии 2014 года, назвал шедевром, Флэнаган расскажет о судьбе австралийских военнопленных, брошенных на строительство печально известной Дороги смерти. Дороги, забравшей жизни десятков тысяч людей, погибших в нечеловеческих условиях вдали от дома. Но это не просто рассказ о трагических временах – это история любви, смирения и отваги. Это книга о том, что может сделать человек, поверивший, что шанс на будущее все еще есть.

Ричард Флэнаган
Узкая дорога на дальний север

Заключенному san byaku san jū go (335)[1]
Мама, они стихи пишут.
Пауль Целан[2]

---

[1] Примечания: 1

Заключенному номер 335 *(яп. в лат. транслитерации). — Здесь и далее примечания переводчика.*

[2] Примечания: 2

Пауль Целан (1920–1970) — немецкоязычный поэт и переводчик, давший возможность опровергнуть утверждение Адорно о том, что «после Освенцима невозможно писать стихи». В фразе, выбранной в качестве эпиграфа, «они» относятся к заключенным, которых ужасы каторжного существования не отвращали от поэзии.

Richard Flanagan
The Narrow Road to Deep North
Copyright © 2013, Richard Flanagan. All rights reserved
© Мисюченко В., перевод на русский язык, 2016
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Э», 2016

I

Из сердцевины пиона
Медленно выползает пчела…
О, с какой неохотой!
Басё

1

Вот почему начало чего угодно всегда — свет? Самое раннее воспоминание Дорриго Эванса — солнце, затопившее своим светом церковный зал, где он сидит с матерью и бабушкой. Деревянный церковный зал. Слепящий свет, и он, топающий вперевалку туда-сюда, то предаваясь непостижимому радушию света, то выходя из него и попадая на руки к женщинам. Женщинам, любившим его. Было похоже, как будто заходишь в море и возвращаешься на пляжный песок. С волны на волну.

«Храни тебя Бог, — произносит мама, держа его на руках и опуская на пол походить. — Храни тебя Бог, мальчик мой».

Год, должно быть, 1915-й или 1916-й. Ему год или два. Позже подступила тень от поднятой руки, ее черный контур внезапно возник в сальном свете керосиновой лампы. Джеки Магвайр сидит на тесной кухоньке Эвансов, плачет. Тогда никто не плакал, кроме маленьких детей. Джеки Магвайр был стариком лет сорока, наверное, а то и больше, и все старался смахнуть тыльной стороной ладони слезы со своего изъеденного ос-

пинами лица. Или он это пальцами проделывал?

В памяти Дорриго Эванса застряло только то, что старик плакал. Звук был такой, будто что-то ломалось. Замедляющийся ритм рыданий напомнил ему, как бил задними ногами о землю кролик, попавший в силки, единственный из всех слышанных в жизни звуков, что был похож. Да и выбор-то, с чем сравнивать, невелик: ему девять лет, зашел домой показать матери кровавый волдырь на большом пальце. До этого он всего раз видел, как плачет взрослый мужчина, зрелище поразительное. Случилось это, когда его брат, Том, вернулся с Большой войны во Франции и сошел с поезда. Швырнул вещмешок в горячую пыль запасного пути и вдруг разразился слезами.

Глядя на брата, Дорриго Эванс все гадал, что же такое могло заставить взрослого заплакать. Заплакать стало означать просто дать выход чувствам, а чувство — единственный в жизни компас. Чувствовать сделалось модой, а эмоция стала театром, в котором люди актеры, давно позабывшие, что́ они собой представляют вне сцены. Дорриго Эвансу суждено было прожить достаточно долго, чтобы стать свидетелем всяческих перемен. И он запомнил время, когда

люди стыдились плакать. Когда они страшились слабости, которую выдавали слезы. Беды, какую они накликали. Он доживет и увидит, как люди станут нахваливать то, что не заслуживает похвалы, просто потому, что считают, будто истина дурно скажется на их чувствах.

В ночь, когда Том вернулся домой, сожгли на костре чучело кайзера. Том ничего не рассказывал о войне, о немцах, о газах, танках и траншеях, слухи о которых долетали и до них. Он вообще ни о чем не рассказывал. То, что один человек чувствует, не всегда соответствует всему, чем полна жизнь. Порой это вообще не очень-то чему-нибудь соответствует. Брат только смотрел, не отрываясь, на язычки пламени.

2

У человека счастливого нет прошлого, тогда как у несчастливого не остается ничего другого. В старости Дорриго Эванс не мог понять, то ли он эти слова вычитал где, то ли сам сложил. Сложил, замесил, вывалил. Вываливается беспрестанно. Камень в гравий, гравий в пыль, пыль в грязь, грязь в камень — и так мир вертится, как, бывало, говаривала его мать, когда он требовал объяснений, почему в жизни должно быть так или этак. «Мир существует, — говорила мать. — Он просто *есть*, мальчик мой». Мальчик изо всех сил старался выковырять камень из породы, чтобы построить форт для игры, в какую он играл, когда другой камень, побольше, упал ему на большой палец, отчего под ногтем вздулся большой ноющий кровавый волдырь.

Мать подтолкнула Дорриго к кухонному столу, где лампа светила ярче всего, и, избегая странного пристального взгляда Джеки Магвайра, поднесла к свету большой палец сына. Жена Джеки на прошлой неделе села в поезд с их самым младшим ребенком, уехала в Лонсестон и не вернулась.

Мать Дорриго взяла разделочный нож. По

кромке его лезвия тянулась желтоватая полоска застывшего бараньего жира. Мать сунула кончик ножа в угли кухонной плиты. Взвился легкий дымок, наполняя кухню запахом подгоревшей баранины. Мать вытащила нож, с его красного от жара кончика слетали, сверкая, искорки добела раскаленных бриллиантовых пылинок, Дорриго виделось в этом чудо и одновременно что-то пугающее.

— Стой смирно, — велела мать, ухватив его руку с такой силой, что он даже удивился.

Джеки Магвайр уже рассказывал, как он отправился на почтовом поезде в Лонсестон, как искал жену повсюду, но так и не смог ее нигде найти. На глазах у Дорриго раскаленный кончик коснулся его ногтя, дым пошел, когда мать стала прожигать дырку у основания ногтя. Мальчик слышал, как Джеки Магвайр сказал:

— Она пропала с лица земли, миссис Эванс.

Вслед за дымом из его большого пальца вырвалась струйка темной крови, и боль от кровавого волдыря ушла вместе со страхом перед раскаленным разделочным ножом.

— Катись, — произнесла мать Дорриго, подталкивая его прочь от стола. — Теперь проваливай, мальчик мой.

— Пропала! — сокрушался Джеки Магвайр.

Было это в те времена, когда мир был широк и остров Тасмания все еще таил в себе целый мир. Времена многочисленных отдаленных и заброшенных форпостов по всему острову, лишь немногие из которых более заброшены и отдалены, чем Кливленд, селеньице душ в сорок, где жил Дорриго Эванс. Старое исправительное поселение осужденных пережило суровые времена и выпало из памяти, теперь оно сохранялось благодаря ветке железной дороги: горстка развалюх в георгианском стиле и разбросанные деревянные коттеджи, опоясанные верандами, служили прибежищем тем, кто пережил век ссылок и утрат.

В селении, на которое так и напирали леса корявых эвкалиптов и серебристой мимозы, волнующейся и танцующей в жару, летом было жарко и тягостно, а зимой тягостно, просто тягостно. Электричеству с радио сюда только предстояло добраться, и если бы не было известно, что на дворе 20-е годы XX века, их вполне можно бы считать 80-ми, а то и 50-ми годами века XIX. Много лет спустя Том, человек, к аллегориям не склонный, но, видимо, понуждаемый (так, во всяком случае, считал в то время Дорриго) собственной предстоящей смертью и ее спутником,

ужасом старости, делавшими всю жизнь лишь аллегорией, а настоящее чем-то нездешним, выразил это так: похоже на долгую осень умирающего мира.

Их отец был ремонтником на железной дороге, и его семья жила в одном из дощатых домиков Тасманийской государственной железной дороги прямо около путей. Летом, когда уходила вода, они ведрами черпали воду из бака, сооруженного для заправки паровых локомотивов. Спали под шкурами попавших в силки опоссумов, питались же в основном кроликами, которых загоняли в западни, да кенгуру-валлаби, которых отстреливали, картошкой, которую сами растили, да хлебом, который сами пекли. Отец, переживший кризис 1890-х годов и своими газами видевший, как на улицах Хобарта люди мерли с голоду, тот поверить не мог, что ему повезло в конечном счете остаться в живых в этом раю трудяг. Он еще говаривал, когда оптимизм его оставлял: «Живешь как собака и сдохнешь как собака».

Дорриго Эванс знал Джеки Магвайра по каникулам, которые иногда проводил у Тома. Чтобы добраться до Тома, надо было успеть доехать на задке подводы Джо Пайка из Кливленда до поворота на долину Фингал-Вэлли. Пока старый

тяжеловоз Джо Пайка по кличке Грейси приятно трусил по дороге, Дорриго раскачивался взад-вперед, воображение превращало его в одну из суковатых ветвей бешено трясущихся эвкалиптов, которые тыкались в высокое синее небо и пролетали впереди. Он вбирал в себя запах сырой коры и сохнущих листьев, смотрел, как высоко над головой пересмешничали кланы зелено-красных мускусных попугаев-лори. Он упивался птичьим пением крапивников и медососов, криками какой-то хищной птицы, похожими на щелканье хлыста, перемежавшимися мерным топотом копыт Грейси, поскрипыванием и позвякиванием кожаных ремней, деревянных осей и железных цепей телеги — вселенная ощущений, которая возвращалась в снах.

Они держали путь по старой каретной дороге, мимо каретной гостиницы, которую разорила железная дорога, и теперь она превратилась только что не в руины, где обитали обнищавшие семьи, в их числе и семейство Джеки Магвайра. Через каждые несколько дней облако пыли возвещало о приближении автомобиля, ребятишки, выбравшись из кустов и каретного сарая, с громким криком бежали за ним, пока их легкие не охватывал пожар, а ноги не наливались свинцом.

У поворота на Фингал-Вэлли Дорриго соскакивал с телеги, махал на прощание рукой Джо и Грейси и отправлялся пешком до Лливелина, городка, отличавшегося главным образом тем, что был он еще меньше Кливленда. Оказавшись в Лливелине, он шел прямо на северо-восток через загоны и, держа путь на укрытую снегом громадину горы Бен Ломонд, в снежную страну с той стороны Бена, где Том по две недели через одну работал капканщиком, ставил силки на опоссумов. Часа через два после полудня он добирался до жилища Тома, пещеры в отроге ниже уровня хребта, где брат и гнездился. Размерами пещера была чуть меньше их забитой миллионом разных вещей кухни. В ее самом высоком месте Том мог встать, пригнув голову. Пещера, подобно яйцу, сужалась в оба конца. Вход в нее был занавешен, а значит, хранящий в ней тепло костер мог гореть всю ночь.

Иногда Том, которому уже несколько лет, как перевалило за двадцать, брал себе в напарники Джеки Магвайра. Том, обладавший хорошим голосом, частенько на ночь пел песню-другую. А после, при свете костра, Дорриго читал вслух неграмотному Джеки Магвайру и Тому, утверждавшему, что он читать умеет, из какого-нибудь

старого номера «Буллетин» или «Смитс уикли», которые составляли библиотеку двух капканщиков на опоссумов. Им нравилось, когда Дорриго читал что-нибудь из рубрики «Советы тетушки Розы» или баллады о жизни буша[3], которые слушатели находили «толковыми», а то и вовсе «очень толковыми». Через некоторое время Дорриго стал заучивать для охотников наизусть другие стихотворения из школьной книжки «Английский Парнас». Больше всего им полюбился «Улисс» Теннисона.

Изъеденное оспинами лицо улыбается в свете костра, ярко блестя, словно свежеиспеченный сливовый пудинг, и Джеки Магвайр приговаривает: «От в старину люди были! Во народ! Слова эти самые умели в струнку вязать крепче медной петли, что кролика душит!»

И Дорриго не признался Тому, что за неделю до пропажи миссис Магвайр видел, как брат забрался рукой ей под юбку, когда она (маленькая, крепенькая, по-иноземному смуглая) привалилась к куриному насесту позади каретного сарая. Том лицом зарылся ей в шею. Дорриго понимал:

---

[3] Примечания: 3

Устойчивое и много значащее для австралийцев (как степь для казахов или нагорье для шотландцев) название обширных необжитых пространств, поросших кустарником или низкорослыми деревьями.

брат ее целовал.

Много лет Дорриго часто вспоминал о миссис Магвайр, настоящего имени которой он никогда не знал, настоящее имя которой походило на еду, что каждый день снилась ему в лагерях для военнопленных: как бы есть, а вот и нет, вламывалось в череп нечто, всегда ускользавшее, стоило только к нему потянуться. Время шло, и он стал думать о ней не так часто, а когда прошло еще больше времени, вообще перестал о ней думать.

3

Дорриго был единственным в семье, одолевшим в двенадцать лет экзамен на способности[4] после начальной школы, и потому получил стипендию, позволившую ему учиться в Лонсестонской средней школе. В классе он был переростком. В свой первый день, во время обеденного перерыва, он забрел на так называемый верхний двор, ровную площадку из увядшей травы и пыли, коры и листьев, в одном углу которой росло несколько больших эвкалиптов. Смотрел, как старшие ребята из третьего и четвертого классов, некоторые уже с короткими бачками, мальчишки с уже развитыми мужскими мускулами, становились в два буйных ряда, толкались, пихались, будто исполняли движения какого-то ритуального танца. Потом начиналась магия игры в удар на удар. Кто-нибудь из ребят бил по мячу, отправляя его из своего ряда через двор к другому ряду. И все мальчишки из того ряда вместе бросались бегом

---

[4] Примечания: 4

В Великобритании и ее колониях закончившие пятилетний курс начальной школы сдавали экзамен, так называемый «одиннадцать плюс», по результатам которого одним позволялось завершить среднее образование в школе, другим предстояла учеба в училищах.

к мячу и, если тот летел высоко, подпрыгивали вверх, стараясь его поймать. Тот же, кому после буйной схватки возле зачетной зоны удавалось перехватить мяч и приземлить его за отметкой, тотчас будто обретал святость. И ему, баловню, полагалась награда: ударом вернуть мяч обратно к другому ряду, где все начиналось сызнова.

Так и шла игра, весь обеденный час. Верховодили неизбежно старшие ребята, им выпадало больше всего удачных прорывов за отметку, они же получали право на большинство ударов. У некоторых мальчишек помладше было по нескольку прорывов и ударов, у многих — по одному, а то и ни одного.

В тот первый раз Дорриго весь обеденный перерыв просмотрел. Один одноклассник-первогодок убеждал его, что надо дорасти по крайней мере до второго класса, прежде чем выпадет шанс сыграть в удар на удар: старшие ребята слишком сильны и слишком быстры, им ничего не стоит совладать с соперником, они, не задумываясь, врежут тебе локтем по башке, или кулаком в лицо двинут, или коленом в спину поддадут. Дорриго заметил, как некоторые из мальчишек помладше слонялись позади своры играющих, держась в нескольких шагах, готовые урвать

случайный мяч, если тот после удара взлетит чересчур высоко и пролетит над схваткой.

На второй день он присоединился к ловцам удачи. А на третий оказался прямо позади игроков, когда за их плечами разглядел, как в вышине летит к ним кувыркающаяся капелька. На мгновение она затмила солнце, и Дорриго понял: этот мяч его добыча. Он чуял запах муравьиной мочи на эвкалиптах, почувствовал, как разбежались их веревочные тени, когда он припустил вперед, к своре игроков. Время замедлилось, в гуще толпы он отыскал то самое место, куда сейчас бросились самые высокие и сильные ребята. Он понял, что летящий с солнца мяч предназначен ему, и все, что от него требуется, — это вознестись. Взгляд его был устремлен только на мяч, но он понял: ничего у него не выйдет, если он побежит с той быстротой, на какую способен, — а потому он прыгнул, ноги его уперлись в спину одного, колени оседлали плечи другого, так и взобрался при полном блеске солнца выше всех остальных ребят. На пике их борьбы он высоко вытянул над собой руки, ощутил, как мяч крепко вошел в ладони, и понял: теперь можно начать падать с солнца.

Крепко прижимая к себе мяч, он так сильно

ударился о землю спиной, что едва не лишился дыхания. Захлебываясь с открытым ртом, он поднялся на ноги и стоял там в потоке света, держа овальный мяч, готовя себя к тому, чтобы войти в большой мир.

Когда он ковылял обратно, малышня почтительно расступалась перед ним.

— Ты, слышь, кто такой? — спросил один из старших.

— Дорриго Эванс.

— Это было — блеск, Дорриго. Тебе бить.

Запах коры эвкалипта, яркий голубой свет тасманийского полудня, такой резкий, что пришлось сильно прищуриться, чтобы перестало резать глаза, жар солнца на тугой коже, жесткие, короткие тени остальных, ощущение, что стоишь на пороге радостного вхождения в новую вселенную, пока твою старую можно по-прежнему познавать и удерживать, она все еще не потеряна — все это испытывал он, все это сознавал, как и горячую пыль, пот других мальчишек, смех, непривычную чистую радость быть с другими.

— Вдарь! — услышал он чей-то крик. — Бей, слышь, пока звонок не прозвенел и все не кончилось.

И в самых потаенных глубинах своего суще-

ства Дорриго Эванс понимал: вся его жизнь была путешествием вот к этой точке, когда он на мгновение взлетел на солнце, а теперь на весь остаток жизни ему предстоит путешествие прочь от светила. Ничто и никогда не предстанет ему такой же реальностью. Жизнь никогда больше не наполнялась таким же смыслом.

4

— Какие мы умненькие, а, развратник? — произнесла Эми. Она лежала с ним в постели гостиничного номера восемнадцать лет спустя после того, как он видел Джеки Магвайра, плакавшего на глазах у его, Дорриго, матери. Эми водила пальчиком в его обрезанных кудрях, пока он читал ей наизусть «Улисса». Номер был на третьем этаже затрапезной гостиницы, из комнаты стеклянные двери вели на просторную веранду, которая (скрывая собою все признаки дороги внизу и пляжа напротив) создавала иллюзию, будто сидят они на просторе Южного океана и слушают, как его воды, не зная устали, с шумом накатывают и откатывают внизу.

— Это уловка такая, — сказал Дорриго. — Вроде как монету из чьего-то уха вытащить.

— Нет, это не уловка.

— Да, — согласился Дорриго. — Не уловка.

— А что же тогда?

Уверенности у Дорриго не было.

— А эти греки, троянцы эти… это все зачем? Какая разница?

— Троянцы были семейством, родом. Они по-

терпели поражение.

— А греки?

— Греки?

— Нет. Регбисты из «Портовых болтунов Аделаиды». Конечно, греки. Что они собой представляют?

— Насилие. Но греки — наши герои. Они побеждают.

— Почему?

В точности он не знал почему.

— Это их уловка была, разумеется, — сказал он. — Троянский конь, приношение богам, в котором пряталась людская смерть, одно внутри другого.

— Почему же мы их тогда не ненавидим? Греков-то?

В точности он не знал почему. И чем больше думал об этом, тем меньше был способен разъяснить и то, почему так получается, и то, отчего род троянский был обречен. У него было ощущение, что «боги» просто были еще одним названием времени, но чутье подсказывало ему, что болтать об этом так же глупо, как и утверждать, что мы никоим образом не способны взять верх над богами. Но в двадцать семь (скоро двадцать восемь стукнет) он уже относился к собственной

судьбе, если и не к судьбам других, как своего рода фаталист. Получалось, будто жизнь можно представить, но никогда нельзя объяснить, а к словам (ко всем словам, которые напрямую не обозначают предметы) он относился с наибольшим доверием.

Взгляд его, минуя обнаженное тело Эми, скользнул над опушенным крохотными волосками полумесяцем, по кромке которого ее торс сходился с бедрами, и устремился туда, где в раме с облупившейся белой краской, за дверями из толстого стекла лунный свет ложился на море узкой дорожкой, убегавшей от его взгляда и прятавшейся среди распростершихся по небу облаков. Получалось, будто свет ожидал его.

Мой умысел — к закату парус править,
За грань его, и, прежде чем умру,
Быть там, где тонут западные звезды[5].

— Почему ты так любишь слова? — услышал он вопрос Эми.

Мать его умерла от туберкулеза, когда ему было девятнадцать. Дорриго при этом не было. Его даже на Тасмании не было, потому что он жил

---

[5] Примечания: 5

Отрывок из стихотворения А. Теннисона «Улисс». — *Здесь и далее в переводе К. Бальмонта.*

на материке и получал стипендию на обучение медицине в Мельбурнском университете. По правде говоря, не одно только море разделило их. В Ормондском колледже он познакомился с людьми из благородных семей, гордых своими достижениями и генеалогиями, восходившими к временам еще до открытия Австралии, к лучшим фамилиям Англии. Они могли перечислять поколения за поколениями своего рода, кто из него занимал какие посты в политике и должности в компаниях, династические браки, родовые владения из дворцов и овцеводческих хозяйств. Лишь уже стариком стал он понимать, что большая часть всех этих россказней — вымысел похлеще всего, к чему подступался Троллоп.

С одной стороны, это было феноменально скучно, с другой — увлекательно. Никогда прежде Дорриго не встречал людей, наделенных такой уверенностью. Иудеи и католики — существа низшие, ирландцы безобразны, китайцы и аборигены — вообще не люди. Они о таких вещах даже не размышляли. Они это — знали. Их курьезы и странности поражали. Их дома из камня. Весомость их столового серебра. Их невежество в том, что касается жизни других людей. Их слепота к красоте природного мира. Свое семейство

Дорриго любил. Но он им не гордился. Главное семейное достижение — выживание. Целая жизнь понадобится ему, чтобы оценить, что это было за достижение. В то же время, однако, оно казалось ему неудачей (да еще на фоне почестей, богатства, собственности и славы, с какими он сталкивался впервые в жизни). И вместо того чтобы устыдиться, он попросту отдалился от семьи до самой смерти матери. На ее похоронах он не плакал.

— Ну же, Дорри, — понукала его Эми. — Почему? — И потащила палец вверх по его бедру.

Потом он стал бояться замкнутых пространств, толпы, трамваев, поездов и танцев — всего, что сдавливало его изнутри и лишало света. Затруднилось дыхание. Он слышал, как во снах она зовет его. «Мальчик, — говорила она, — приезжай сюда, мальчик мой».

Но он не поехал. Едва не завалил экзамены. Читал и перечитывал «Улисса». Еще раз сыграл в регби в поисках света, того мира, какой когда-то мельком увидел в церкви. Взлетал и вновь взлетал к солнцу, пока не стал капитаном, пока не стал врачом, хирургом, пока не оказался с Эми в гостиничной постели, следя, как восходит луна над равниной ее живота. Он читал и перечиты-

вал «Улисса»:

Мерцая, отступает свет от скал,
Укоротился долгий день, и всходит
Медлительно над водами луна.
Многоголосым гулом кличет бездна.
Плывем, друзья, пока не слишком поздно
Нам будет плыть, чтоб новый мир найти.

Он вцеплялся в свет, бывший началом чего угодно.

Читал и перечитывал «Улисса».

Оглянувшись на Эми, Дорриго Эванс проговорил:

— Слова были первой прелестью, какую я только узнал.

5

Когда через час он проснулся, она красила губы вишнево-красной помадой, затушевывала свои горящие газовым пламенем глаза и поправляла волосы, придавая лицу форму сердечка.

— Эми?

— Мне пора уходить.

— Эми…

— А потом…

— Останься.

— Для чего?

— Я…

— Для чего? Это я уже слышала…

— Я хочу тебя. Каждый миг, когда ты со мной, я хочу тебя.

— …Слишком много раз. Ты уйдешь от Эллы?

— Ты уйдешь от Кейта?

— Надо бежать, — сказала Эми. — Обещала вернуться через час. Карточный вечер. Можешь себе представить?

— Я вернусь.

— Неужели?

— Наверняка.

— И что тогда?

— Вообще-то это тайна.
— Наша?
— Нет. Да. Нет, войны. Военная тайна.
— Что?
— Нас отправляют на кораблях. В среду.
— Что?
— Через три дня…
— Когда среда, я знаю. Куда?
— На войну.
— Куда?
— Откуда нам знать?
— Куда ты отправляешься?
— На войну. Она повсюду, война-то, разве не так?
— Я тебя еще увижу?
— Я…
— Мы? А мы?
— Эми…
— Дорри, я тебя еще увижу?

6

У Дорриго Эванса было такое чувство, словно пятьдесят лет прошли среди хрипящего дрожания где-то в холодильной установке. Таблетка от ангины начала действовать, давящая тяжесть в груди отпускала, покалывание в руке прекратилось, и хотя какие-то внутренние расстройства, не подвластные медицине, еще оставались в его трепещущей душе, чувствовал он себя вполне сносно, чтобы добраться от гостиничной ванной комнаты до спальни.

На обратном пути к постели он взглянул на ее обнаженное плечо, нежное и гладкое в изгибе, которое неизменно вызывало у него волнение. Она слегка приподняла лицо, подернутое сном, и спросила:

— Ты о чем говорил?

Вновь улегшись, обняв ее и прижавшись к ней, он понял, что она имеет в виду их прежний разговор, еще до того, как она уснула. Где-то вдали (словно бросая вызов всей меланхолии звуков раннего утра, доносившихся и вылетавших из их номера городской гостиницы) дико взревела машина.

— О Смугляке, — шепнул он ей в спину так, словно это само собой разумелось, потом, поняв, что это не так, добавил: — Гардинере. — Когда выговаривал, нижняя губа захватила ее кожу. — Не могу вспомнить его лица, — напомнил он.

— На твое лицо не похоже, — сказала она.

«Это тут совсем ни при чем, — подумал Дорриго Эванс. — Смугляк Гардинер умер, и это совсем ни при чем». Вот потому, изводил он себя, и не смог он написать что-нибудь так понятно и просто, потому как не получилось представить себе лицо Смугляка Гардинера.

— От такого временного повреждения в уме никуда не деться, — произнесла она.

Дорриго улыбнулся. Он все не мог привыкнуть к ее словечкам вроде «временное повреждение в уме». Положим, он знал, что в душе она вульгарна, но все ж воспитание и от нее требовало подобных языковых изысков. Он задержал свои старческие сухие губы на коже ее плеча. Как там было про женщину, от которой он и теперь трепещет, точно рыбина какая?

— Ни тебе телик включить, ни журнальчик раскрыть, — продолжала она, радуясь собственной шутке, — без того, чтоб не увидеть, как оттуда твой нос торчит.

И в самом деле Дорриго Эвансу, который никогда о том не задумывался, представлялось, что его собственное лицо торчит отовсюду. С тех пор как лет двадцать назад он впервые был выставлен на всеобщее обозрение в телевизионном шоу, посвященном его прошлому, лицо его взирало на него с чего угодно, от благотворительных бланков до памятных монет. Носатое, смущенное, слегка растерянное, волосы, когда-то курчавые и темные, теперь прикрывали его жиденькой белопенной волной. В годы, которые у большинства его сверстников именовались «закатными», он вновь возносился к свету.

В последние годы он непостижимым для себя образом сделался героем войны, знаменитым и прославленным хирургом, общественным символом времени и трагедии, персонажем биографий, пьес и документальных фильмов. Предметом поклонения, идеализации, лести. Он понимал, что у него с героем войны были какие-то общие черты, привычки и история. Но он им не был. Просто он больше преуспел в сохранении жизни, чем в ее утрате, и не так много осталось людей, удостоенных мантии военнопленных. Отвергать почитание представлялось оскорблением памяти тех, кто погиб. Он не мог себе такого позволить.

Да кроме того, у него и сил уже не было.

Как бы его ни прозывали: герой, трус, мошенник, — теперь все это, похоже, имело к нему отношение все меньше и меньше. Это принадлежало миру, куда как от него далекому и призрачному. Он понимал, что народ им восхищается (если отрешиться от тех, кому приходилось работать с ним как со стареющим хирургом), что его слегка презирают и, наверное, ему завидуют многие врачи, которые претерпели то же самое в других лагерях для военнопленных, но чувствовали, к несчастью для себя, что в его характере есть что-то такое, чего не дано им, что возносит его высоко-высоко над ними на волне всенародной привязанности.

Черт бы побрал тот документальный фильм.

Вот только тогда он против внимания не возражал. Втайне оно его, пожалуй, радовало. Но теперь уже — нет. О тех, кто ему косточки перемывает, ему не безызвестно. Так вышло, что по большей части он с ними соглашался. Слава казалась ему провалом восприятия со стороны других. Ему удалось избежать того, что сам он считал явными ошибками жизни, вроде политики и гольфа. Зато его попытки разработать новую хирургическую методику операций по удалению

раковых опухолей толстой кишки успехом не увенчались, хуже того, возможно, пусть и не напрямую, привели к смерти нескольких пациентов. Он слышал, как Мэйсон однажды назвал его мясником. Возможно, если оглянуться на прошлое, он и правда был неосторожен. Вот если бы ему удалось, тогда б (он знал) его превозносили за смелость и дальновидность. Неустанное его волокитство за женщинами и неизбежно следующий за ним тенью обман давали поводы для мелких личных скандалов, но широкая общественность внимания на них не обращала. Его самого все еще в жар бросало от легкости и проворства, с какими он мог лгать, кружить головы и вводить в заблуждение, так что сам себя он, по собственным ощущениям, оценивал реалистически низко. То не было единственной составляющей его тщеславия, зато — одной из самых забавных.

Даже в таком возрасте (на прошлой неделе ему стукнуло семьдесят семь) он пугался того, что нрав натворил в его же жизни. В конце концов он понимал, что то же бесстрашие, тот же отказ мириться с условностями, тот же восторг от игры и тот же безнадежный голод, заставлявший вникать, как далеко смог бы он зайти в той или иной ситуации, которые побуждали его в концлагерях

приходить на помощь другим, привели его еще и в объятия Линетт Мэйсон, жены его коллеги, Рика Мэйсона, такого же, как и он, члена научного совета Хирургического колледжа, блистательного ученого и невыносимого зануды. И еще не одной и не двух других. Была у него надежда: в предисловии, которое он тогда писал (не связывая себя ненужными откровениями), в конечном счете с честностью смирения как-нибудь отдать должное всему, вернуть свою роль в событиях на подобающее ей место — врача, не более и не менее — и восстановить законную память о многих позабытых, сосредоточив основное внимание на них, а не на самом себе. Кое-где, по его ощущениям, это было необходимым актом исправления и раскаяния. Где-то еще глубже он опасался, что подобное самоуничижение, подобное смирение лишь еще больше сыграет ему на руку. Он попал в западню. Его лицо мелькало повсюду, но он больше не в силах был припомнить лица тех, с кем вместе мучился.

— Стал именем я славным, — произнес он.

— Кто?

— Теннисон.

— Никогда о таком не слышала.

— «Улисс».

— Никто его больше не читает.

— Никто больше ничего не читает. Считается, что Браунинг — это пистолет.

— А я думала, для тебя один только «Лоусон»[6] и существует.

— Так и есть. Когда не доходит до Киплинга или Браунинга.

— Или Теннисона.

— Я часть всего, что повстречал в пути[7].

— Это ты придумал, — сказала она.

— Нет. Это очень… как это говорится-то?

— …Подходяще?

— Да.

— Ты способен все это наизусть шпарить, — сказала Линетт Мэйсон, пробегая ладонью вниз по его увядшему бедру. — И еще много чего. А вспомнить лицо человека не можешь.

— Не могу.

Шелли пришел к нему, когда он был при смерти, а еще Шекспир. Пришли незваными и стали такой же частью его жизни, как и его жизнь. Словно бы жизнь можно заключить в книжку, в предложение, в несколько слов. Таких простых

---

[6] Примечания: 6
«Вильям Лоусон» — сорт шотландского виски.

[7] Примечания: 7
Строка из стихотворения А.Теннисона «Улисс».

слов. «На праздник смерти ты приходишь. Бледна и холодна улыбка в лунном свете»[8]. Вот были люди в старину.

— Смерть — наш лекарь, — сказал он. Соски ее показались ему чудом. В тот вечер на ужине был один журналист, который допытывался у него про бомбардировку Хиросимы и Нагасаки.

— Один раз, куда ни шло, — сказал журналист. — Но два?! Два-то зачем?

— Они были чудовищами, — заметил Дорриго Эванс. — Вам не понять.

Журналист спросил, были ли женщины и дети тоже чудовищами? И их еще не родившиеся дети?

— Радиация, — ответил Дорриго Эванс, — не оказывает пагубного воздействия на последующие поколения.

Только вопрос был не в том, и он знал это, а кроме того, он не знал, передаются ли пагубные воздействия радиации. Давным-давно кто-то сказал ему, что не передаются. Или передаются. Трудно вспомнить. Нынче он полагался на все

[8] Примечания: 8

Строки из произведений У. Шекспира («Генрих VI»: «Приходишь ныне ты на праздник смерти...» — *пер. Евгении Бируковой*) и П. Б. Шелли («О Смерти»: «Еле зримой улыбкой, лунно-холодной...» — *пер. К. Бальмонта*).

более хрупкое предположение: то, что он говорит, правильно, а говорит он то, что правильно. Журналист, оказывается, написал статью про оставшихся в живых, встречался с ними, снимал их.

— Страдания их, — говорил журналист, — были ужасны и тянулись всю жизнь.

— Беда не в том, что вы *ничего* не знаете о войне, молодой человек, — сказал ему тогда Дорриго Эванс. — Беда, что вы постигли всего одно. А война — это много чего.

Он повернулся, чтобы уйти. Потом вновь обернулся.

— Кстати, а вы поете?

Теперь Дорриго, как всегда, пытался выбросить из памяти тот жалкий, неуклюжий и откровенно постыдный разговор, отдавшись плоти и обмяв ладонью грудь Линетт так, чтобы сосок торчал меж двух пальцев. Однако мысли, уйдя из памяти, никуда не девались. Журналист, несомненно, рано или поздно еще вдоволь потопчется на истории о герое войны, который на поверку оказался поджигателем войны, фанатом атомной бомбы, к тому же еще и старым маразматиком, спросившим на прощание, не поет ли он!

Но что-то в том журналисте напоминало ему

Смугляка Гардинера, хотя он и затруднился бы сказать, что именно. Не лицо. Не манеры. Улыбка? Щека? Смелость? У Дорриго он вызвал раздражение, но его восхитил отказ журналиста прогнуться под грузом известности Дорриго. Какая-то внутренняя сцепка — целостность, если угодно. Упор на истину? Трудно сказать. Он не мог указать на какую-то мимику, которая была бы похожа, какой-то жест, привычку. Душу охватывал непонятный стыд. Видимо, он вел себя по-дурацки. И неправильно. Он больше ни в чем не был уверен. Видимо, с того самого дня избиения Смугляка уверенность у него пропала во всем.

— Я стану чудовищной падалью, — прошептал он в коралловую раковину ее ушка, женского органа, невыразимо пленявшего его свой мягкостью, блудливым витым провалом, который всегда, казалось, водоворотом затягивал его в неизведанное. И очень нежно поцеловал ее в мочку.

— Тебе следовало бы говорить, о чем ты думаешь, своими собственными словами, — сказала Линетт Мэйсон. — Словами Дорриго Эванса.

Ей было пятьдесят два, из детских лет вышла, но от глупости не отошла, саму себя презирала за

ту власть, которой обладал над нею этот старик. Ей было известно, что у него не только жена есть, но и другая женщина. И, как она подозревала, еще одна или две. Не было у нее даже нечестивой славы его единственной любовницы. Линетт не понимала себя. Мужик закисал на дрожжах старости. Грудь у него провисла сморщенными титьками, в любовных утехах он был ненадежен, и все-таки вопреки здравому смыслу ей он представлялся цветущим. С ним она чувствовала себя как за неприступной каменной стеной: он ее любил. И все же она понимала, что одна часть его — та часть, которую ей хотелось больше всего, та часть, что была светом в нем, — так и оставалась неуловимой и непознанной. В ее снах Дорриго всегда летал выше ее на несколько дюймов. Частенько днем ее охватывал гнев, лились обвинение, угрозы, в ее отношениях с ним проступал холод. Зато попозже к ночи, лежа с ним рядом, она не желала никого другого.

— Небо было мерзко грязным, — говорил он, и она чувствовала, как готовится он воспрять еще разок. — Оно всегда уносилось прочь, — продолжал он, — словно бы и ему от грязи было не по себе.

7

Когда в начале 1943 года они прибыли в Сиам, было по-другому. Небо было чистым и неоглядным, это раз. Знакомое небо — во всяком случае, так ему думалось. Стоял сухой сезон, деревья были без листьев, джунгли прозрачными, земля пыльной. Была кое-какая еда, это два. Не много, не досыта, однако истощение еще не взяло свое и голод еще не поселился в желудках и мозгах солдат на правах чего-то, сводящего с ума. Да и их работа на японцев еще не стала тем безумием, которое позже будет косить людей косой, будто мух. Трудно было, но до безумия в самом начале не доходило.

Когда Дорриго Эванс опустил взгляд, то увидел прямую линию из землемерных геодезических колышков, вбитых инженерами Имперской японской армии для обозначения железнодорожного пути, шедшего от места, где он стоял во главе партии безмолвных военнопленных. От японских инженеров они узнали, что колышки тянутся линией в четыреста пятнадцать километров от местечка севернее Бангкока и до самой Бирмы.

Они обозначили трассу большой железной дороги, до сих пор бывшей лишь чередой ограниченных планов, неисполнимых, по видимости, приказов и грандиозных увещеваний со стороны японского высшего командования. То была легендарная железная дорога, ставшая делом отчаяния и фанатизма, созданная из мифа и нереальности не меньше, чем из дерева и железа, ценой тысяч и тысяч жизней людей, которым предстояло полечь за последующий год строительства. Но какая реальность хоть когда-нибудь создавалась реалистами?

Им вручили тупые топоры и прогнившие пеньковые канаты, а с ними выдали и первое задание: свалить, выкорчевать и расчистить километр гигантских тиковых деревьев, росших вдоль обозначенной железнодорожной трассы.

— Дед мой, бывало, говаривал, мол, вам, молодым, никогда не снести собственный вес, — пробурчал Джимми Бигелоу, пробуя указательным пальцем тупое и щербатое лезвие топора. — Жаль, старого пердуна здесь нет.

8

А потом, говоря по правде, никто этого и не вспомнит. Подобно всем величайшим преступлениям, этого будто бы и не происходило вовсе. Страдания, смерть, горе, подлая, жалкая бесцельность чудовищных мук такого множества людей — все это, может, и существует-то лишь на этих страницах да еще на страницах немногих других книг. Книга способна содержать ужас, придав ему и форму, и смысл. Но в жизни у ужаса формы не больше, чем смысла. Ужас просто есть. И пока он владычествует, во всей Вселенной будто и нет ничего, во что бы он ни воплотился.

Начало тому, о чем рассказано в этой книге, было положено 15 февраля 1942 года, когда с падением Сингапура рушится одна империя и поднимается другая. Тем не менее к 1943 году Япония, теряя последние силы и ресурсы, проигрывает, и тогда провозглашается ее потребность в железной дороге. Союзники поставляют националистической армии Чан-Кайши в Китае вооружение через Бирму, а американцы держат под контролем моря. Чтобы прервать жизненно важную линию поставок своему китайскому

противнику и через Бирму завладеть Индией (о чем уже безумно мечтают японские правители), Японии необходимо снабжать свои бирманские войска людьми и снаряжением по суше. Однако для строительства нужной для этого железной дороги нет ни денег, ни техники. Нет и времени.

У войны, впрочем, своя логика. У Японской империи есть вера в победу: неукротимый японский дух, тот самый дух, которого нет у Запада, тот дух, что прозывается и понимается как воля императора, именно *этот* дух и дает веру в то, что он возобладает до своей самой окончательной победы. А прибавлением к столь неукротимому духу, подкреплением для такой веры империи выпала удача располагать рабами. Сотнями тысяч рабов, азиатов и европейцев. И среди них двадцать две тысячи австралийских военнопленных, которых соображения стратегической необходимости заставили сдаться при падении Сингапура еще до того, как сражение началось по-настоящему. Девять тысяч из них отправят на строительство железной дороги. Когда 25 октября 1943 года паровой локомотив С-5631 с прицепленными тремя вагонами японских и таиландских высокопоставленных особ проследует по всей трассе завершенной Дороги Смерти (первый состав,

проделавший этот путь), на всем протяжении его пути будут бесчисленные погребения человеческих костей, среди которых останки каждого третьего из тех австралийцев.

Сегодня паровой локомотив С-5631 горделиво выставлен в музее, образующем часть неофициального военного мемориала Японии, святилища Ясукуни в Токио. Наряду с паровым локомотивом С-5631 в святилище хранится «Книга душ». В нее вписано свыше двух миллионов имен тех, кто пал в войнах, служа императору Японии, с 1867 по 1951 год. С занесением в «Книгу душ» в этом священном месте приходит отпущение грехов в совершении всех деяний зла. Среди этого множества имен есть и имена тех 1068, кого после Второй мировой войны осудили за военные преступления и казнили. А среди этих 1068 имен казненных военных преступников есть и имена тех, кто работал на Дороге Смерти и кого признали виновным в жестоком обращении с военнопленными. На табличке перед локомотивом С-5631 об этом упоминания нет. Нет и упоминания об ужасах строительства этой железной дороги. Нет имен сотен тысяч тех, кто умер, строя ту железную дорогу. Только ведь нет даже и точно установленного числа всех тех, кто

погиб на Дороге Смерти. Военнопленные союзников были всего лишь частичкой (около 60 000 человек) тех, кого рабски использовали на том фараоновом предприятии. Наряду с четвертью миллиона тамилов, китайцев, яванцев, малайцев, тайцев и бирманцев. А то и больше. Одни историки утверждают, что умерло 50 000 этих рабских тружеников, другие говорят — около 100 000, третьи — 200 000. Никто не знает.

И никто никогда не узнает. Имена их уже позабыты. Никакой книги их утраченных душ не существует. Да пребудет с ними хотя бы этот кусок текста.

Итак, в тот день с утра пораньше Дорриго Эванс закончил свое предисловие к книге рисунков и акварелей Гая Хендрикса, сделанных в лагерях военнопленных, прежде настрого предупредив своего секретаря оградить его на ближайшие три часа от любых вмешательств, чтобы он смог завершить дело, которое никак не удавалось закончить уже несколько месяцев и которое теперь оказалось существенно просроченным. Даже когда дело было сделано, он чувствовал, что оно стало лишь еще одной его неудачной попыткой понять, как возможно чем-то, облеченным в форму предисловия, запросто разъяснить другим,

что такое Дорога Смерти.

Чутье подсказывало: тон его был одновременно и чересчур очевидным, и чересчур личным — почему-то это вызвало у него вопросы, которые он за всю жизнь так и не разрешил. В голове вертелось столько всякой всячины, что ему не удалось хоть что-то выразить на бумаге. Столько всего, столько имен, столько мертвых, а вот поди ж ты, не смог написать ни одного имени. В начале своего предисловия он набросал описание Гая Хендрикса и нечто похожее на контур событий того дня, когда тот умер, в том числе и историю Смугляка Гардинера.

9

У военнопленных была серьезная причина называть последующее медленное погружение в безумие попросту двумя словами: *«та Дорога»*. Впоследствии для них навсегда остались лишь два типа людей: те, кто был «на той Дороге», и все остальное человечество, которого там не было. Или, пожалуй, всего одного типа: те, кто «пережил ту Дорогу». Но наверное, даже и так недостаточно: Дорриго Эванса все чаще и чаще преследовала мысль, что оставались только люди, которые «сгинули на той Дороге». Его пугало, что только они достигли того жуткого совершенства страдания и познания, которое делает человека полноценным.

Оглядываясь назад на колышки железной дороги под ногами, Дорриго Эванс видел, что вокруг было столько непостижимого, непередаваемого, неразборчивого, необожествляемого, неописуемого. Колышки объясняли простые факты. Но они ничего не растолковывали. Что такое дорога, раздумывал он, *«та Дорога»*? Дорога — это линия, тянущаяся из одной точки в другую: из реальности в нереальность, из жизни в ад — «длина без

ширины», если припомнить Эвклида, давшего определение линии в школьной геометрии. Длина, лишенная ширины, жизнь, лишенная смысла, следование от жизни к смерти. Путь в ад.

Полвека спустя задремавший в гостиничном номере Парраматты Дорриго Эванс резко дернул головой: ему снился Харон, грязный паромщик, переправлявший покойников через Стикс в царство мертвых по цене в один обол, оставленный у тех во рту. Во сне он беззвучно шевелил губами, повторяя слова Вергилия с описанием ужасного Харона: страх наводящий и мерзкий, лицо скрыто за нечесаными космами седых волос, жестокий взгляд горит огнем, грязный плащ, узлом завязанный на плече, свисает до пят.

В ту ночь он лежал с Линетт Мэйсон, а подле кровати держал, как делал всегда, где бы ни находился, книгу, в зрелом возрасте вернувшись к привычке читать. Хорошая книга, пришел он к выводу, оставляет в тебе желание эту книгу перечитать. Великая книга побуждает тебя перечитать собственную душу. Такие книги попадались ему редко, а с годами и того реже. И все же он отыскивал еще одну Итаку, с которой был связан навеки. Он читал, когда уже перевалило далеко за полдень. Он почти никогда не смотрел,

что за книга оставалась на ночь, поскольку она существовала как талисман или как предмет, приносящий удачу, — как какое-то знакомое божество, смотрящее за ним и оберегающее его в мире снов.

В ту ночь книгой стала та, которую подарила ему делегация японских женщин, прибывшая принести извинения за японские военные преступления. Явились они с целой церемонией и видеокамерами, принесли подарки, и один из даров был любопытен: книга переводов японских стихов смерти, результат традиции, предписывающей японским поэтам, уходя из жизни, сочинить последнее стихотворение. Он положил книгу на темное дерево тумбочки у кровати, рядом с подушкой, аккуратно выровняв по своей голове. Он верил, что у книг есть аура, которая оберегает его, что если книги рядом не окажется, то он умрет. Без женщин он спал, не ведая печали. Без книги не спал никогда.

10

Еще раньше днем, листая книгу, Дорриго Эванс наткнулся на поразившее его стихотворение. На смертном одре Шисуи, поэт, мастер хайку, наконец-то внял просьбам о стихах смерти: схватил свою кисточку, изобразил стихотворение и умер. На бумаге же потрясенные последователи Шисуи увидели нарисованный поэтом круг.



Стихи Шисуи колесом прошлись по подсознанию Дорриго Эванса — содержательная пустота, бесконечная тайна, ширина без длины, большое колесо, вечное возвращение. Круг — полная противоположность линии.

Обол, оставленный во рту умершего для расплаты с паромщиком.

11

Путь Дорриго Эванса к «той Дороге» пролегал через лагерь военнопленных на яванском высокогорье, где, будучи полковником, он под конец стал заместителем командира тысячи заключенных солдат, в основном австралийцев. Нескончаемо для них тянулось время, воспринимавшееся как жизнь, что уходит прочь по капелькам или струйкам спорта, образовательных программ и концертов, когда в песнях звучали их воспоминания о доме, когда было положено начало делу всей жизни — придания лоска россказням о Ближнем Востоке: караваны верблюдов в сумерках, нагруженных песчаником, римские развалины и замки крестоносцев, наемники-черкесы в длинных черных одеяниях, отороченных серебряным позументом, и высоких шапках из черного каракуля, солдаты-сингалезцы, здоровенные мужики, шагавшие мимо них с болтавшимися на шее сапогами. Они с тоской вспоминали девчонок-француженок из Дамаска. В Палестине, проезжая мимо арабов, орали им во все горло из кузова грузовиков: «Еврейские гады!» — пока не познакомились с арабскими

работницами из Иерусалима. Орали во все горло из кузова грузовиков, проезжая мимо, евреям: «Арабские гады!» — пока не увидели еврейских девушек из кибуцев (в голубеньких шортиках и белых блузках), которые настойчиво совали им сетки с апельсинами. Всякий раз смеялись над историей Рачка Берроуза, у которого были такие волосы, будто он позаимствовал их у какой-то ехидны, как он, проведя все увольнение в каирском борделе, вернулся, неистово расчесывая себе пах, тем и прозвище свое приобрел, что спрашивал, глянув вниз: «А это что еще за рачки мандавошечьи? Должно быть, с поганых стульчаков в туалете этих египтяшек понабрались, а?»

— Бедняга Рачок, — говорили вокруг. — Бедный чертов негодник.

Долгое время больше ничего особенного не случалось. Дорриго писал по просьбе приятелей любовные письма из каирского кафе, где столы были липкими от пролитой араки, смертельная похоть сочилась в бессмертных похвальбах, неизменно начинавшихся так: «Я пишу тебе это при свете пушечных залпов…»

Затем пришел черед сирийской кампании с ее скалами, сухими катышками козьего дерьма и высохшими листьями олив, на которых ноги

разъезжались, и солдаты скользили на склонах в своем тяжелом снаряжении мимо то и дело попадавшегося вздувшегося трупа какого-нибудь сенегальца, погруженные в свои собственные мысли при доносившихся — очень издалека — стрекоте, треске и буханье боев и стычек повсюду. Убитые, их оружие и снаряжение валялись, словно камни: везде, неизбежно — и, не считая предостережений не наступить на очередное вздувшееся тело, об этом старались не говорить и не думать. Один из трех киприотов — погонщиков мулов — спросил Дорриго Эванса, в какую в точности сторону они направляются. Он не имел о том ни малейшего представления, но даже тогда понял, что обязан что-то сказать, дабы удержать всех шедших с ним вместе.

Стоявший неподалеку мул взревел, уголком глаза Дорриго заметил взлетевший шар грязи от минометного разрыва, он оглядел сорговое поле, на котором они стояли, потом вновь перевел взгляд на две карты, свою и погонщиков, ни одна из которых не совпадала с другой ни в одной существенной детали. Наконец, он задал направление по компасу, которое не соответствовало ни одной из карт, — так было со многими решениями, которые Дорриго принимал, доверившись

инстинкту, и которые оказывались в высшей степени верными, а если и нет, то по крайней мере давали возможность передвигаться, что, как он стал постепенно понимать, зачастую было куда важнее. Он был вторым по значимости командным лицом Эвакуационного пункта 2/7 Австралийских имперских войск (АИВ), располагавшегося у линии фронта, когда были получены приказы свернуть их полевой госпиталь в неразберихе тактического отступления, которому предстояло — уже на следующий день — стать суматохой стратегического наступления.

Остальное оборудование эвакопункта увезли на грузовиках далеко в тыл, он же остался с просроченными припасами дожидаться последнего грузовика. Вместо него дождался каравана из двадцати мулов с тремя погонщиками-киприотами и свежими приказами для себя продвинуться со своими припасами вперед до деревни у новой линии фронта: в двадцати милях к югу по карте погонщиков и в двадцати шести милях к западу — по его. Киприоты, мелкие болтливые человечки, составляли еще одну часть карнавала союзнических войск, сражавшихся там, в Сирии, против карнавала войск вишистской Франции: мелкая войнушка в гуще войны куда более огром-

ной, и о ней впоследствии никто так никогда и не вспомнит.

12

То, что должно было занять два дня, растянулось чуть ли не на неделю. На второй день на крутой, ведущей в горы дороге Дорриго Эванс с тремя погонщиками мулов наткнулись на отделение из семи тасманийских пулеметчиков, у которых сломался грузовик. Отделение вел молодой сержант по имени Смугляк Гардинер, и вел в тот же пункт назначения. Пулеметчики переложили свои «виккерсы», треноги и металлические ящики с патронами на свободных мулов, и дальше пошли все вместе. Когда взбирались вверх, Смугляк Гардинер порой тихонько напевал. Они одолевали скалистые склоны и осыпи, шли через горные перевалы, по разбитым деревням, мимо разлагающихся тел, каменных стен, наполовину державшихся, наполовину рухнувших, вновь и вновь шли сквозь вонь разлитого оливкового масла, вонь дохлых лошадей, вонь разбросанных стульев и поломанных столов с кроватями, вонь рухнувших крыш разрушенных домов, пока вражеские семидесятипятки[9] непрестанно бу-

---

[9] Примечания: 9
Пушки калибра 75 мм, главным образом танковые.

хали впереди и позади них. Когда удалось вновь спуститься в долины, они миновали высохшие каменные стены, которые никак не защитили от двадцатипятифунтовых снарядов солдат, что теперь лежали, упокоившись, среди разбросанного и поломанного снаряжения, оружия и французских касок. Они шагали среди мертвых, мертвых за полумесяцем скалистых брустверов, без толку наваленных для защиты от смерти, мертвых со вздутыми животами на сорговом поле, которое вода из разбитого снарядом древнего желоба, разлившись, превратила в мерзкое болото, шагали мимо пятнадцати мертвых в семи домиках деревни, в которых жители пытались укрыться от смерти, мимо мертвой женщины перед разбитым минаретом, чьи пожитки из небольшого коврового узелка разлетелись по уличной пыли, чьи зубы торчали в верхушке тыквы, мимо разорванной в куски мертвечины, смердевшей в сгоревшем грузовике.

Потом Дорриго Эванс вспоминал, как красив был поблекший ковровый узор из красных и белых цветов на узелке, и невесть отчего испытывал стыд, что почти ничего больше не запомнил. Он позабыл острый привкус каменной пыли, висевшей вокруг порушенных деревенских до-

мишек, позабыл, как воняют дохлые худосочные ослики и несчастные дохлые козлы, что за запах у разбитых террас и разнесенных в щепки оливковых рощ, позабыл кислый запах разрывов, тяжкий запах разлитого оливкового масла — все это смешалось в какой-то единый запах, который он привык связывать с человеческими существами, попавшими в беду. Они курили, выталкивая мертвечину из ноздрей, насмешничали, не позволяя мертвым поживиться их мозгами, ели, напоминая себе, что живы, а Смугляк Гардинер принимал ставки на то, что его самого могут убить, и верил, что шансы его все время растут.

Пробираясь в полночь по кукурузному полю, они вышли на освещенную зелеными вспышками разрушенную деревню, которую вишисты невесть с чего оставили уже после того, как в результате яростной схватки выбили из нее австралийцев. Минометы, которые пустили в ход наступавшие вишисты, превратили оборонявших деревню австралийцев в нечто нечеловеческое: сохнущее темно-красное мясо, усиженные мухами внутренности, сломанные, перемолотые кости и лица, запрокинутые в оскале торчащих зубов, — эти скалящиеся жуткие зубы смерти стали мерещиться Дорриго в каждой улыбке.

Наконец они добрались до того места, куда было приказано, и убедились, что селение все еще занято вишистами и что его нещадно обстреливает Королевский военно-морской флот. Далеко в море боевые корабли грозно фукали и пыхали, их большие орудия действовали методично, уничтожая городок по строению за раз, переходя от сарая к каменному дому рядом с ним, а потом к постройке за домом. Дорриго Эванс, погонщики мулов и пулеметчики с безопасного расстояния наблюдали, как на их глазах место, где жили люди, превращается в кучи щебня и пыли.

Хотя трудно было предположить, что там осталось еще хоть что-то не мертвое, снаряды все равно продолжали сыпаться дождем. Днем вишисты неожиданно отступили. Австралийцы пошли в наступление по желтой земле, выжженной разрывами снарядов, используя для проходов рухнувшие стены террас, по выбитым плитам и в обход все еще нетронутых клубков корней поваленных деревьев, покореженных винтовок и артиллерийских орудий, мимо орудийных расчетов, уже раздувшихся и разлагающихся в крови, некоторых можно было бы принять за спящих на полуденном солнышке, если бы из их выскочивших из орбит глаз не сочилось

нечто желеобразное и не застывало бы, мешаясь с грязью на поросших щетиной щеках, чумазой клейкой массой. Никто не чувствовал ничего, кроме голода и усталости. Впереди беззвучно появился с трудом переставляющий ноги козел, у которого сквозь вырванный бок торчали наружу ребра и кишки болтались, он задирал голову безо всякого шума, словно бы мог прожить на одной только стойкости. Видимо, на ней одной и жил.

— Ишь, сам мистер *Beau Geste*[10], — проговорил долговязый рыжеволосый пулеметчик. Козла все же пристрелили. Полное имя пулеметчика было Галлиполи фон Кесслер, садовник-яблочник из долины Юон на Тасмании, взявший за обыкновение приветствовать других, лениво салютуя по-нацистски. Имя досталось ему от отца-немца, воображавшего, что он что-то значил в Старом Свете, а потому прибавившего аристократическое «фон» к крестьянской фамилии Кесслер, а потом впавшего в ужас, что потерял в новом свете все, когда в угаре антигерманской истерии Первой мировой дотла сожгли его сарай. Горное селение за Хобартом, где их семья жила вместе с другими немецкими переселенцами, скоренько

---

[10] Примечания: 10
Красивый жест (*фр.*).

сменило название Бисмарк на Коллинзвейл, а Карл фон Кесслер заменил своему сыну имя, данное в честь деда, на такое, что почитало участие Австралии в катастрофическом вторжении в Турцию за год до рождения его сына[11]. Имя это было слишком грандиозно для лица, очень походившего на усохшую сердцевину яблока. Звали парня просто Кес.

В самом селении они прошагали мимо раскаленного докрасна горячего вишистского танка, перевернутых грузовиков, разбитых бронетранспортеров, изрешеченных пулями легковых машин, сваленных в кучи боеприпасов, разбросанных по всем улицам бумаг, одежды, снарядов, пулеметов и ружей. Посреди этого хаоса и руин стояли открытые магазины, шла торговля, люди расчищали завалы мусора, словно после стихийного бедствия, а свободные от службы австралийцы бродили вокруг, что-то покупая, а что-то и приворовывая на память.

Уснули они под лай шакалов, пришедших поживиться мертвечиной.

---

[11] Примечания: 11

Речь идет о Дарданелльской операции, развернутой в ходе Первой мировой войны странами Антанты с целью захвата Константинополя и открытия морского пути в Россию. Военные действия привели к громадным людским потерям и обернулись неудачей для союзников.

13

Проснувшись с первыми проблесками света, Дорриго Эванс увидел, что Смугляк Гардинер развел костер прямо посреди главной улицы. Сам он сидел у костра в роскошном кресле, обитом голубым шелком с вышитой серебряной рыбкой, перекинув ногу через подлокотник, поигрывая смятой пачкой французских сигарет. Кресло представилось Дорриго морем, а Смугляк своим темным, худощавым телом, одетым в грязное хаки, напоминал ему ветвь бычьих водорослей, вынесенных морем на чужой берег.

Вещмешок Смугляка Гардинера, казалось, был размером всего вполовину любого другого, зато в нем содержался, похоже, неисчерпаемый запас еды и сигарет (выторгованных на черном рынке, добытых или украденных) — маленьких чудес, за которые он удостоился еще одного имени — Черный Принц[12]. Только он кинул Дорриго Эвансу жестянку португальских сардин, как вишисты принялись молотить по селению из

[12] Примечания: 12

Прозвище Черного Принца носил принц Уэльский Эдуард (1330–1376), бывший удачливым и безжалостным полководцем.

семидесятипяток, крупнокалиберных пулеметов и с единственного самолета, вылетевшего на свободную охоту пострелять. Только все это, казалось, происходило в другом месте, а потому они пили французский кофе, который отыскал Джимми Бигелоу, и трепались в ожидании, когда приказы или война доберутся до них.

Кролик Хендрикс, хлипкий мужичонка с плохо подогнанными зубными протезами, заканчивал рисунок на обороте почтовой открытки с видом Дамаска, который должен был послужить заменой расползающейся фотографии жены Шкентеля Бранкусси, Мэйзи. Мелкие трещинки паутиной расползлись по ее лицу, а то, что еще осталось от слоя с изображением, свернулось в такое множество крохотных осенних листочков, что об облике женщины теперь приходилось лишь догадываться. Карандашный рисунок Хендрикса запечатлел ту же позу и шею, однако изображение вокруг глаз больше отдавало Мэй Уэст[13] и куда больше отдавало оно Мэй Уэст

[13] Примечания: 13

Мэй Уэст (1893–1980) — американская актриса, драматург, сценарист и секс-символ, одна из самых скандальных звезд Голливуда. Особая популярность пришла к ней в 1930–1950 гг. Именем Мэй Уэст называли некоторые образцы снаряжения и военной техники, а плакаты и рекламные афиши с ее изображением расклеивались в расположении казарм.

вокруг груди, открытой настолько, насколько Мэйзи не посмела бы открыть никогда, вообще вид получился более откровенным и соблазнительным, говорившим о вещах, о которых Мэйзи заговаривала редко.

— Объясни мне, — говорил Джимми Бигелоу, — почему мы косим пулеметами цепи черных африканцев, сражающихся за Францию, которые с не меньшим рвением убивают нас, австралийцев, сражающихся за англичан на Ближнем Востоке?

Рисунок (вызвавший сомнения в подлинном сходстве с оригиналом, а потому воспринятый как неведомое блудодейство) обеспокоил Шкентеля Бранкусси. Но поскольку все остальные решили, что жена его выглядит прекрасно, он предложил Кролику Хендриксу в уплату за него свои часы, заявляя, что это его девушка. Кролик от платы отказался, взялся за свой альбом и принялся рисовать групповой портрет отряда за утренним кофе.

— Это ж даже, мать ее, восточнее, дрючь ее, Австралии, — сказал Джек Радуга. У него было лицо отшельника, выражался же он как портовый грузчик, хотя сам, фермер, выращивавший хмель, не был ни тем ни другим. — Это ж север.

Чего ж дивиться, что мы в толк не возьмем, где тут следующее селение. Мы ж даже не знаем, где находимся. Это ж далеко, мать его, на север.

— Ты всегда был комунякой, Джек, — отозвался Смугляк Гардинер. — Ставлю двенадцать к одному, что уже к завтраку я буду трупом. Справедливей этого не предложишь.

В ответ Джек Радуга сообщил, что с большей охотой пристрелил бы его враз и прямо на месте.

Дорриго Эванс выложил десять шиллингов при двадцати к трем на то, что сержант уцелеет на войне.

— Лады, — кивнул Джимми Бигелоу. — Поддерживаю. Ты выживешь, Смугляк.

— Бросьте в воздух две монетки, — заговорил Гардинер, доставая из мешка у себя в ногах бутылку коньяка и наливая каждому по чуть-чуть в кофе, — и можете ставить на то, как выпадет, только по факту, если на обеих три раза подряд выпадут орлы, все равно статистически достаточно вероятно, что и в следующий раз обе опять лягут орлами. Так что можно опять ставить на двух орлов. Каждый бросок всегда — первый. Ну, разве не миленькая теория?

Секунду спустя война добралась-таки до них. Дорриго Эванс стоял рядом с креслом, наливал

кофе, а Рачок Берроуз только прибыл с полевой кухни с горячим термосом, содержавшим их завтрак, когда они услышали на подлете снаряд семидесятипятки. Смугляк Гардинер вскочил с кресла, ухватил Дорриго Эванса за руку и повалил на землю. Взрыв пронесся по ним космической волной.

Когда Дорриго открыл глаза и огляделся, голубое кресло вместе с маленькой серебряной рыбкой исчезло. Посреди тучи пыли стоял какой-то арапчонок. Ему заорали, чтоб ложился, а когда мальчишка и ухом не повел, Рачок Берроуз встал на колени и стал махать ему, мол, ложись, а когда и это не возымело действия, вскочил и побежал к мальчишке. В этот миг вдарил другой снаряд. Силой взрыва арапчонка швырнуло на них, горло его располосовала шрапнель. Он умер прежде, чем кто-то добрался до него.

Дорриго Эванс повернулся к Смугляку Гардинеру, все еще державшему его. Рядом с ним Кролик Хендрикс снова совал себе в рот пыльные зубные протезы. От Рачка Берроуза ничего не осталось.

— Люблю я держать свои ставки при себе, — выговорил Черный Принц.

Дорриго хотел уж было ответить, но тут с дальнего фланга прилетел на свободную охоту

вражеский самолет. Взмыв над ними, самолет тут же обратился в клуб черного дыма. Вывалившаяся из него крапинка распустилась в парашют, и стало ясно, что летчик спасся. Летуна ветром несло на них, и Петух Макниз подхватил винтовку одного из киприотов и прицелился. Дорриго Эванс отбил дуло в сторону, веля не мудить белым светом.

— А Рачок?! — завопил Петух Макнис, к губам у него прилипла щебенка, а глаза дико таращились белыми шарами. — Это что, тоже мудеж белым светом? А мальчишка тот? Так, что ли?

Лицо у Петуха было такое, что казалось красивым, только оно, как отметил Джек Радуга, если вблизи поглядеть, вроде как из запчастей собрано. Слава о нем, как о непутевом солдате, следовала за ним неотступно, и когда он снова вскинул винтовку к плечу, прицелился и выстрелил, все удивились: Петух попал в цель. Парашютист дернулся, словно его тряхнуло неожиданным резким порывом ветра, потом разом обвис.

Позже в тот день, когда они наконец ели уже простывшую кашу, которая была в горячем коробе, что принес Рачок Берроуз, никто не сел рядом с Петухом Макнизом.

14

И все пошло своим чередом: шуточки, россказни, несчастные дураки, которые так и не вернулись обратно, дворец в Триполи, реквизированный под центр отдыха Австралийских имперских войск (АИВ), азарт игр в орлянку двумя монетами, в «корону и якорь», пиво и братва, работницы в комнатке, заглянувшие из коридора, чтобы позвать сыграть в орлянку и убедиться, не улыбнется ли им удача, футболяныч в горных селениях против сирийских мальчишек. А потом, после того как они сдались, на Яве — сборщицы чая в мокрых саронгах, которые, как они, случалось, видели, возвращаясь из походов за хворостом, становились такими красавицами, переодевшись в сухие саронги и выбрав гнид друг у друга из волос. «Господи, — бормотал Галлиполи фон Кесслер, когда они проходили мимо такого, — вот оно, сущее для меня наказание».

Однако наказание их только-только начиналось. Через полгода их посадили в грузовики и повезли к побережью по пути к месту нового строительства в Сиаме. На берегу тысячу пленных запихали, точно сардины в банку, в

грязный трюм какой-то проржавевшей посудины и три дня волокли по морю до Сингапура, а потом отправили пешим маршем в лагерь для военнопленных Чанги. Место было приятное: двухэтажные белые бараки, симпатичные на вид и полные воздуха, аккуратные газоны, опрятно одетые солдаты-осси[14], подтянутые и сытые, офицеры с щегольскими тросточками и красными вставками на носках, прекрасный вид на Джохорский пролив и огороды под овощи.

Истощенные, пестро одетые в австралийскую и голландскую форму, многие без обуви, солдаты Дорриго выделялись на общем фоне. «Яванская шваль» — так окрестил их бригадный генерал Лом Каллаган, командовавший австралийскими пленными лагеря Чанги, который тем не менее, невзирая на настойчивые просьбы Дорриго Эванса, отказывался снабдить их одеждой, обувкой и провиантом. Зато попытался (и не сумел) сместить Дорриго Эванса с должности их командира за его нарушавшее всякую субординацию поведение, выражавшееся в требовании к Каллагану распечатать свою складскую кубышку.

Малыш Плакса Куни предложил Другану Фа-

[14] Примечания: 14

Так называют себя сами австралийцы, а с их легкой руки и все остальные.

хи план побега. План был такой: затесаться в рабочую бригаду на сингапурские верфи, а там забиться в ящики или еще какую тару и, сидя в ней, загрузиться на какое-нибудь судно и таким способом вернуться обратно в Сидней.

— Хороший план, Плакса, — оценил Друган Фахи. — Только говенный.

Они сразились в регби с командой заключенных верхней части лагеря и проиграли восемь очков, зато перед этим услышали произнесенное в темпе вальса обращение Бараньей Головы Мортона, начавшееся словами, которые сделались для них бессмертными: «Одно только скажу вам, парни, и первое вот что…»

Две недели спустя «яванская шваль» оставалась в том же тряпье, в каком и прибыла, в том числе и не подыскавший себе тару Плакса Куни. Теперь, уже официально именуемые «сводным отрядом Эванса», они были доставлены на железнодорожный вокзал и распиханы по закрытым цельнометаллическим вагончикам, в которых обычно перевозят рис, по двадцать семь человек в каждый, места не хватало, даже чтобы присесть. Их везли по тропической жаре сквозь туннели в каучуконосных деревьях и джунглях, мимо просветов между бесконечными взмокшими от

пота землекопами, в щели приоткрытой двери тянулась спутанная зеленая масса, мелькали малайки в саронгах, индианки, китаянки-кули, все как одна в нарядных платках на голове, работавшие в воде рисовых чеков, а они смотрели на все это из тьмы своих тесных лютых печей. Они были солдатиками и, как и всякие молодые люди, не ведали самих себя. Вот и ехали теперь навстречу тому, что таилось в них самих.

Под ними перестукивали колеса на стыках железнодорожных рельсов, а их самих, мокрых и скользких от пота, мотало в сплетении рук и ног. Ближе к концу третьего дня замелькали рисовые поля и заросли сахарных пальм, а еще тайские женщины, смуглые и полногрудые, с волосами, черными, как вороново крыло, и обворожительными улыбками. В вагонах приходилось сидеть по очереди, спали они, перекинув ноги через соседа, укутанные вонью застаревшей блевотины, испоганенных тел, дерьма и мочи, стоявшей столбом, — так и проехали, вымазанные в саже, с ноющей или колющей болью в сердце, тысячу миль, пять дней без еды, сделав шесть остановок и оставив трех покойников.

На пятый день после полудня их высадили с поезда в Пон-понге на северо-востоке Таиланда,

в сорока милях от Бангкока. Подогнали крытые грузовики, в кузов машины заталкивалось по тридцать человек, будто скот, обезьянами повисая друг на друге, и их повезли через джунгли по дороге, которую укрывали шесть дюймов мельчайшей пыли. Над ними порхали яркие голубые бабочки. Какой-то пленный из Западной Австралии прибил одну такую, когда та уселась ему на плечо.

Подступала ночь, а дорога все не кончалась, поздно вечером они добрались до Тарсао[15], все в грязи и дорожной пыли. Спали на грязной земле, а на рассвете их снова запихали в грузовики и еще час везли в горы по узкой, не больше воловьей тропы, дороге. Дорога кончилась, они вылезли из машин и почти до вечера шли пешком, пока, наконец, не вышли на небольшую опушку у реки.

В благословенную эту реку тут же попрыгали искупаться. Пять дней в стальных сундуках, два дня в кузове грузовиков… это какой же прелестью вода покажется! Блаженство плоти, блага запредельного мира: чистая кожа, невесомость, струящаяся вселенная текучего покоя. Они бревнами повалились на свои пожитки и спали без

---

[15] Примечания: 15
Лагерь для военнопленных солдат и офицеров Британской империи.

задних ног, пока на рассвете их не разбудили пронзительные крики обезьян.

Охранники прогнали их маршевой колонной три с половиной мили по джунглям. Какой-то японский офицер, взобравшись на пень, обратился к ним со словами:

— Благодарю вас за долгий путь сюда, чтобы помочь императору с железной дорогой. Быть заключенным великий позор. Великий! Верните себе честь, строя железную дорогу для императора. Великая честь. Великая!

Он указал на цепочку землемерных колышков, размечавших маршрут, по которому пройдет железнодорожный путь. Колышки быстро пропадали в чаще джунглей.

Они работали на расчистке тикового леса под первый участок дороги, и только после того, как через три дня задание было выполнено, им сообщили, что теперь им самим придется соорудить себе лагерь в местечке в нескольких милях отсюда. Густые заросли бамбука в восемьдесят футов высотой, громадины хлопковых деревьев с их горизонтальными ветвями, китайскую розу и кустарник пониже — все это они рубили, валили в кучи, жгли, а потом разравнивали, группки полуголых людей появлялись из клубов дыма и

пламени и исчезали в них, двадцать мужиков разом, словно упряжка волов, тянули за канат, оттаскивая сваленный весь в шипах зловредный бамбук.

Затем они отправились заготавливать лес и прошли мимо расположившегося в миле английского лагеря, от него несло смрадом, там было полно больных, офицеры мало что делали для своих солдат и много — для самих себя. Английские уорент-офицеры[16] патрулировали реку, не позволяя своим солдатам ловить рыбу: у некоторых английских офицеров все еще были с собой рыболовные удочки, и они не хотели, чтобы простые солдаты браконьерствовали, вылавливая из воды рыбку, которая, по их офицерскому понятию, предназначалась им.

Когда австралийцы возвратились на опушку, где был их лагерь, пожилой японский охранник представился как Кэндзи Могами. И ударил себя в грудь.

— Это значит горный лев, — сообщил он и улыбнулся.

---

[16] Примечания: 16

Уорент-офицер — воинское звание, а также общее наименование штатной категории в армиях ряда стран, преимущественно англоговорящих. По статусу уорент-офицер занимает промежуточное положение между сержантом и младшим офицером и выполняет специальные функции технического специалиста.

Кэндзи Могами показал пленным, что от них требуется: с помощью длинных малайских ножей, парангов, нарезать и скрепить прорезями основу крыши, надрать длинное лыко из внутреннего слоя коры китайской розы, обвязать им места соединения, покрыть крышу пальмовыми листьями, а пол застелить расщепленным и сплющенным бамбуком, да чтоб во всем этом не было ни гвоздика. После нескольких часов возведения первых лагерных жилищ пожилой охранник-японец сказал:

— Хорош, солдатики, ясуми[17].

Заключенные сели.

— А старик не так уж плох, — заметил Смугляк Гардинер.

— Самый из них отборный, — хмыкнул Джек Радуга. — А знаете, что? Будь у меня хоть полшанса, я б его тупой бритвой от глаз до сраки развалил.

Кэндзи Могами опять стукнул себя в грудь и возгласил:

— Горный лев как Бинга Кросби.

И горный лев принялся напевать:

Ты ва-ААА-ляй, ко всему относись в позитиве,
Негатив из башки изгоняй,

---

[17] Примечания: 17
Краткий отдых, перекур (*яп.*).

«Да!» тверди, что б тебя ни спросили.

И пода-аааальше Промежку-мамзель посссылай,

Под паскуду Промежку нееееееее подлезай!

15

В то, первое, время на той Дороге, когда у них еще хватало сил, солдаты устраивали вечерние концерты на небольшой сцене из бамбука, с обеих сторон освещенной кострами. Среди зрителей рядом с Дорриго Эвансом стоял командир военнопленных, полковник Рексрот, образчик несочетающихся контрастов: голова разбойника с большой дороги на теле мясника, аристократический выговор и все, ему подобающее, сошлись в сыне неудачливого мануфактурщика из Балларата, австралийце, который из кожи вон лез, чтоб его принимали за англичанина, человеке, в 1927 году вступившем в ряды армии в поисках возможностей, которые обходили его стороной во всех других областях жизни. Хотя они с Дорриго Эвансом были в одном звании, благодаря шишкам, набитым за опыт строевой, а не медицинской, как у Дорриго, военной службы, Рексрот стал из них двоих старшим.

Обратившись к Дорриго Эвансу, полковник Рексрот заявил, что убежден: всех сильных сторон, присущих им как британской нации, хватит, их британская честь мундира устоит, их британ-

ский дух не будет сломлен и их британская кровь сплотит их в одолении невзгод.

— Не плохо бы к этому еще и хинина немножко, — заметил Дорриго Эванс.

Небольшая группа англичан, пришедшая к ним в лагерь, разыгрывала сценку о пленном немце времен Первой мировой. Ночной воздух был до того насыщен роящимися насекомыми, что исполнители на сцене виделись как бы слегка в тумане.

Полковник Рексрот ответил, что ему не нравится отношение коллеги. Видеть во всем только отрицательное. Необходим положительный настрой. Торжество национального характера. И так далее.

— Мне никогда не приходилось иметь дело с национальным характером, — признался Дорриго Эванс. Зрители-австралийцы принялись одобрительно поддерживать немца-заключенного на сцене. — Зато я вижу, — продолжил Дорриго, — жуткую кучу болезней от недоедания.

— Мы располагаем тем, что имеем, — сказал полковник Рексрот.

— Не говоря уж, — подхватил Дорриго Эванс, — о малярии, дизентерии и тропических язвах…

Спектакль окончился под одобрительные вы-

крики и свист. Дорриго наконец-то вспомнил, что ему всегда напоминал полковник Рексрот: груши «бере боск», которые когда-то ел отец Эллы. И он понял, до чего же он голоден, ведь ему эти груши с их шершавой кожицей не нравились никогда, а вот теперь он отдал бы почти все, чтобы съесть хоть одну грушу.

— …Болезнях от голода, — довершил перечень Дорриго Эванс. — Лекарства бы не помешали. Но еда и остальное — еще лучше.

Если их работа на строительстве железнодорожной линии для японцев еще и не стала безумием, которое принесет им гибель, то она уже начинала, забираясь глубоко в тела заключенных, взыскивать изрядную плату с их здоровья. Лес Уитл, потерявший пальцы от пеллагры[18], теперь играл на приходящем в негодность аккордеоне (инструмент держался на прошивках и заплатках из буйволовой кожи) с помощью бамбуковых палочек, привязанных к кисти руки. Певший под его аккомпанемент Джек Радуга уже потерял зрение. Глядя на него, Дорриго Эванс гадал, то ли авитаминоз, то ли совокупность по-

[18] Примечания: 18

Заболевание, следствие длительного неполноценного питания, возникающее в результате недостаточности в организме витаминов группы В.

следствий нескольких недугов привели к этому, только какова бы ни была причина, полковник болезненно сознавал, что излечить это, как и почти все остальные распознанные им болезни, могла бы еда. Отшельнический лик Джека Радуги теперь раздулся и походил на тыкву, а истощавшее тело тоже странно пухло от бери-бери[19], придавая язве (она разъедала вздутую голень до кости) вид подслеповатого розового зрачка, глазевшего из раны на толпу военнопленных, на их не менее уродливые отметины, имевшиеся у многих, словно бы в надежде увидеть наконец-то публику своей мечты.

Теперь исполнители разыгрывали на сцене эпизод из фильма «Мост Ватерлоо», где Лес Уитл был за Роберта Тейлора, а Джеку Радуге досталась роль Вивьен Ли. Они шли навстречу друг другу по бамбуковому мосту.

— Я думал, что больше не увижу вас никогда, — произнес Роберт Тейлор в обличье беспалого Леса Уитла старательно, если не вычурно, выговаривая слова на лондонский манер. — Целая жизнь прошла.

— И я вас тоже, — произнесла Вивьен Ли в об-

[19] Примечания: 19

Болезнь, вызываемая нехваткой витамина B_1 в организме. Другое название — полиневрит.

личье слепого, распухшего, покрытого язвами Джека Радуги.

— Милая, — произнес Лес Уитл. — Вы совсем не изменились.

Среди зрителей прокатился громкий смех, после чего исполнители запели песню «Старое доброе время» на слова Роберта Бернса, ставшую музыкальным зачином фильма.

— Вот видите, — вернулся к прежнему разговору полковник Рексрот, — это то, что мы носим в себе.

— Что?

— Британский стоицизм.

— Кино американское.

— Стащили, — отрезал полковник Рексрот.

— Японская армия платит жалованье нашим офицерам. Двадцать пять центов в день. Те тратят их на себя. Японцы не ждут, что офицеры станут работать. А они должны.

— Должны — что, Эванс?

— Должны работать тут, в лагере. Копать ямы для сортиров. Ухаживать за больными. Санитарами в лазарете. Изготавливать оборудование для больных. Носилки. Новые палаты. Операционные. — Он сделал глубокий вдох. — И они должны устраивать складчину из своего жалованья, что-

бы мы могли пускать эти деньги на покупку еды и лекарств для больных.

— Опять вы про то же, Эванс, — поморщился полковник Рексрот. — Вот пример того, до чего это нас доведет. Только не большевизм.

— Я — за. Когда это правильный пример.

Но полковник Рексрот уже поднимался на сцену. Он поблагодарил организаторов и исполнителей представления, потом заговорил о том, каким вымыслом является произвольное разделение Британской империи на национальности. От Оксфорда до Однатты[20] все они — один народ.

Говорил он пискляво и гнусаво. Вдохновенного ораторского дара он был лишен, зато обладал извращенным ощущением, будто полковничье звание его таким талантом наделяет. Речь его звучала, как выразился Галлиполи фон Кесслер, так, будто полковник играет на флейте, приложив ее к заднице.

— И по этой причине, — продолжал полковник Рексрот, — как входящие в Британскую империю, как англичане мы обязаны соблюдать порядок и дисциплину, что и является той самой животвор-

---

[20] Примечания: 20
Городок на юге Австралии.

ной кровью империи. Мы перенесем страдания как англичане и как англичане восторжествуем. Благодарю вас.

Позже он поинтересовался у Дорриго Эванса, не примет ли тот участия в создании проекта по разбивке настоящего кладбища с видом на реку, где они могли бы предавать земле своих покойников.

— Уж лучше я попрошу Черного Принца украсть еще рыбных консервов из японских складов, чтобы уберечь еще живых от смерти, — сказал Дорриго Эванс.

— Черный Принц — вор, — ответил полковник Рексрот. — А это станет превосходным местом последнего упокоения, достойным усилий всех ради благосостояния этих людей, это намного лучше, чем нынешнее обыкновение просто отправляться строем в лес да и закапывать их где попало.

— Черный Принц помогает мне спасать людские жизни.

Полковник Рексрот достал большую карту-схему, обозначавшую местонахождение кладбища и расположение могил: отдельные участки для умерших разных званий. С гордостью сообщил он Дорриго, что отвел особенно идиллическое местечко с видом на реку Квай для офицеров.

Указал, что люди уже начали умирать, а потому то, как поступать с трупами, становится ныне самым первоочередным делом.

— Это неоспоримый довод, — сказал он. — Над осуществлением этого еще предстоит много поработать. Мне бы очень хотелось, чтобы вы приняли в этом участие.

В ближней бамбуковой роще пронзительно заверещала обезьяна.

— Я делаю это исключительно ради наших людей, — произнес полковник Рексрот.

16

На деревьях начали пробиваться листочки, листва стала прикрывать небо, а небо все больше чернело, и в пасти черного оказывалась все большая и большая часть мира. Еды становилось все меньше и меньше. Пришел муссон, наступил сезон дождей, поначалу, еще не узнав, на что способен дождь, люди были ему признательны.

Потом пошла Гонка.

Гонка — это значит больше никаких дней отдыха, рабочие нормы ползут вверх и снова вверх, смены делаются все длиннее и длиннее. Гонка размыла и без того уже смутное различие между годным к работе и больным в еще более смутное различие между больным и умирающим, из-за Гонки заключенных все чаще и чаще обязывали работать не по одной, а по две смены, и днем и ночью.

Дожди сделались проливными, тик и бамбук зажали людей в клещи. Полковник Рексрот умер от дизентерии и был похоронен вместе со всеми остальными в джунглях. Дорриго Эванс принял командование. Когда громадная, достигавшая черных небес зеленая масса потащила их обратно

в черную грязь, он обложил сбором офицерское жалованье для покупки еды и лекарств для больных. Он убеждал, уговаривал, настаивал, чтобы офицеры работали, и тем решительнее, чем сильнее и сильнее нескончаемый зеленый ужас сдавливал их зудящие от чесотки тела и дряблые животы, их охваченные горячкой головы и грязные, покрытые язвами ноги, их вечно обдристанные задницы.

В глаза солдаты называли Дорриго Эванса «полковник», во всех же других случаях именовали его «Матерым», как порой охотники зовут опытного вожака волчьей стаи. Бывали случаи, когда Матерый чувствовал себя совсем маленьким щенком, чтобы везти воз, в который теперь людям требовалось, чтобы он впрягся. Был Дорриго Эванс, а рядом существовал этот другой человек, с которым у него был общий облик, общие привычки и обороты речи. Матерый сохранял благородство там, где Дорриго пасовал, самоотверженным там, где Дорриго оставался эгоистом.

То была роль, к которой он по ощущениям только нащупывал подход, и чем дольше это продолжалось, тем больше люди вокруг утверждали его в этой роли. Будто было нужно, чтобы воплощение произошло, словно бы Матерый вожак

был необходим, и люди, чуя отчаянную нужду именно в нем, как капканами, обкладывали его своим растущим почтением (невзирая на шепоток за спиной), своим мнением о нем, заставляя представать во всем таким, каким (ему это было точно известно) он никогда не был. Как будто вместо того, чтобы он, служа примером, вел их за собой, они вели *его*, пуская в ход поклонение и лесть.

И, взяв его теперь на буксир, они вместе брели, шатаясь, через те дни, что складывались в один крик, которому не было конца, в мокрый, зеленый вопль, который, как убеждался Дорриго Эванс, извращенно усиливался хининовой глухотой, малярийным туманом в голове, от этого порой минута вмещала в себя целую жизнь, а порой невозможно было припомнить и целую неделю страданий и ужаса. Происходящее, казалось, ждало какой-то развязки, не наступавшей никогда, какого-то события, наделившего бы все это смыслом и для Эванса, и для узников, какого-то катарсиса, который освободил бы их всех из этого ада.

Меж тем время от времени доставалось утиное яйцо, палочка-другая пальмового сахара, звучала шутка, повторяемая раз за разом, шлифовавшая-

ся до блеска и по достоинству ценимая как нечто редкое и прекрасное, — и это делало выживание возможным. Меж тем жила надежда. И из-под терявших вид, разбухавших форменных фетровых шляп летели язвительные возгласы и проклятия заключенных, терявших вес, таявших на глазах. Они вели жизнь муравьев, сметенные в другую вселенную, где всем и вся была железная дорога. Голые рабы своего участка той Дороги, не имея ничего, кроме веревок и шестов, кувалд и ломов, соломенных корзин и мотыг, да еще собственных спин и ног, собственных рук, они взялись расчищать джунгли для той Дороги, крошить скалы для той Дороги, ровнять грязную землю для той Дороги, таскать шпалы и железные рельсы для строительства той Дороги. Голыми рабами они голодали, терпели побои и работали сверх изнеможения на той Дороге. Голыми рабами начали они умирать ради той Дороги.

Никто на такое не рассчитывал, ни слабые, ни сильные. Мертвых становилось все больше. Трое на прошлой неделе, восьмеро — на этой, бог знает, сколько нынче. Хижина, отведенная под лазарет (не столько лазарет, сколько место, где тем, кому было хуже всего, позволялось умирать среди нечистот и гангренозной вони на длинных

дощатых настилах), ныне была переполнена умирающими. Здоровых больше не осталось. Остались только больные и умирающие. Давным-давно миновали времена, когда Галлиполи фон Кесслер принимал за наказание невозможность коснуться женщины. Давным-давно пропала сама мысль о женщинах. Все их мысли занимали только еда и отдых.

Голодная смерть преследовала австралийцев. Она таилась в каждом поступке, каждой мысли каждого из них. Против нее они могли выставить лишь свою австралийскую мудрость, на самом деле бывшую всего лишь убеждением, еще более пустым, чем их желудки.

Они старались держаться вместе, не изменяя своей австралийской сухости и своей австралийской ругани, своим австралийским воспоминаниям и своему австралийскому дружеству. Только вдруг «Австралия» стала значить меньше в поединке со вшами, голодом, бери-бери, в поединке с воровством и побоями, в поединке с еще большим рабским трудом. «Австралия» съеживалась и усыхала, теперь зернышко риса значило куда больше целого континента, а единственное, что день ото дня только разбухало, так это помятые, обвислые солдатские фетровые шляпы,

которые теперь на манер сомбреро высились над истощенными лицами бывших солдат, над их пустыми темными глазами, глазами, которые уже казались ушедшими в черную тень глазницами, поджидающими червей.

А мертвых меж тем все прибывало и прибывало.

17

Рот Дорриго Эванса настолько заполнился слюной, что ему пришлось несколько раз отереть губы тыльной стороной ладони, чтобы перестать исходить слюнями. Глядя вниз на неровно отрезанный, хрящеватый и пережаренный кусок мяса, лежащий в прямоугольной крышке его оловянного котелка, сочившийся из него коричневатый жир, растекающийся по нечищеному олову, он и под страхом смерти не смел подумать, чего бы ему хотелось больше всего на свете. Он поднял взгляд на кухонного подсобника, принесшего ему это мясо на ужин. Подсобник рассказал, как прошлой ночью шайка заключенных во главе с Черным Принцем увела корову у каких-то тайских торговцев, забила ее в лесу и, подкупив охранника филейной вырезкой, тайком отдала остальное на лагерную кухню. Вырезали из мяса кусок под стейк — *стейк!* — обжарили и преподнесли Дорриго на ужин.

Кухонный подсобник был — Дорриго Эванс это видел — больным человеком, иначе как бы он оказался в подручных на кухне? Его терзала одна или несколько болезней, вызванных голо-

данием, и Дорриго Эванс понимал, что стейк и для этого человека тоже в данный момент — самое желанное, невероятное во всей Вселенной. Нетерпеливо махнув рукой, полковник велел подсобнику отнести мясо в лазарет и разделить его между самыми больными. Подсобник не поверил своим ушам: неужто сказано всерьез? — и не двинулся с места.

— Ребята хотят, чтобы это вы съели, — пробормотал кухонный подсобник. — Сэр.

«Почему? — подумал Дорриго Эванс. — Ну почему я говорю, что не хочу этот стейк?» Ему до того отчаянно хотелось съесть мясо, и солдаты хотели, чтоб он его съел, — дань почтения своего рода. И все же, как бы сильно он ни был уверен, что не сыщется ни одного, кто попрекнул бы его этим куском мяса, он понимал еще и то, что стейк станет и испытанием, какому потребны свидетели, испытанием, которое он обязан пройти, испытанием, какому предстоит стать притчей во языцех, необходимой всем.

— Унесите, — приказал Дорриго Эванс.

Он сглотнул, пытаясь проглотить затопившую рот слюну. Боялся, что может тронуться умом или сорваться каким-нибудь ужасным и унизительным образом. Чувствовал: нет у его души

закалки, нет в нем многого из того, что нужно им теперь от него, того, что позволяет человеку жить взрослой жизнью. А вот, поди ж ты, нынче он стал вождем тысячи человек, которые странным образом ведут его к тому, чтоб оказалось в нем многое, чего в нем отродясь не было.

Он вновь сглотнул: слюна по-прежнему заполняла рот. Он не считал себя сильным человеком, знающим, что он силен, — сильным человеком вроде Рексрота. Рексрот, по мнению Дорриго Эванса, был человеком, который съел бы этот стейк, будто имел на это право, а после радостно ковырялся бы у себя в зубах разбойника с большой дороги перед строем своих умирающих с голоду солдат. Себя же Дорриго Эванс, напротив, почитал человеком слабым, ни на что не годным, слабаком, из которого тысяча человек лепила фигуру, отвечавшую их представлениям о сильной личности. Это противоречило здравому смыслу. Они были пленниками японцев, а он был узником их надежды.

— Живо! — прикрикнул он, почти теряя терпение.

И все равно кухонный подсобник не двинулся с места, вероятно, думая, что полковник шутит, вероятно, опасаясь ошибки в понимании прика-

зания. И все это время Дорриго Эванс боялся, что, если стейк простоит вот тут, перед ним, еще чуть-чуть дольше, он вцепится в него обеими руками и проглотит целиком, не выдержав испытания и показав всем, кто он такой на самом деле. В гневе на то, что люди вертят им, как хотят, в ярости на собственную слабость он вдруг вскочил и заорал в бешенстве:

— Живо! Это ваше, не мое! Возьмите его! Поделите его! Поделите!

У кухонного подсобника от души отлегло при мысли, что теперь, может, даже ему перепадет кусочек стейка, его восхитило, что полковник во всем и впрямь тот Матерый, о каком все говорят. Он подхватил и отнес стейк в лазарет, а вместе с ним и еще одну легенду о необыкновенном человеке, их вожаке Матером.

18

Дорриго Эванс ненавидел добродетель, ненавидел обожание добродетели, ненавидел людей, делающих вид, будто он обладает добродетелью, или притворяющихся, будто они сами добродетельны. И чем больше (по мере того, как он становился старше) его упрекали в добродетели, тем сильнее он ее ненавидел. Он не верил в добродетель. Добродетель была ряженым тщеславием, ждущим аплодисментов. Ему доставало благородства и достоинства, чтобы как раз в пороках Линетт Мэйсон находить ее наиболее восхитительно человечной. Именно в ее неверных объятиях отыскал он правоту той несколько странной истины о преходящей природе всего.

Привилегия ей была известна, и она никогда не проводила ночь в сомнениях. По мере того как уносило, будто волной смывало, с нее красоту: след по воде от ныне недвижимо замершего корабля, — он становился ей куда больше нужен, чем она ему. Незаметно для них обоих она стала для него еще одним долгом. Впрочем, вся жизнь его теперь сделалась сплошным долгом. Долгом перед женой. Долгом перед детьми. Долгом перед

работой, комитетами, благотворителями. Долгом перед Линетт. Долгом перед другими женщинами. Это выматывало. Требовало выносливости. Временами он даже удивлялся самому себе. Подумывал: такое достижение должно бы быть как-то признано. Это требовало необыкновенного мужества. Это было противно. Это заставляло его ненавидеть самого себя, только теперь он мог быть самим собой уже не больше, чем мог бы быть самим собой с полковником Рексротом. И он свято верил: тем, что как-то подсказывало смысл, направление, наделяло его возможностями идти дальше, что было долгом превыше всех остальных долгов, он обязан людям, с которыми вместе был в том лагере.

— Ты о ней думаешь, — проговорила она.

И снова он ничего не сказал в ответ. Как и во всех остальных случаях, когда приходилось исполнять долг, он сносил Линетт, по его ощущениям, мужественно и твердо, то есть покрывал растущую отдаленность между ними усиленным чувством близости. Она сносила его все больше и больше: не останься она приключением, он прекратил бы видеться с нею еще много лет назад. Их любовные утехи были бессвязны, и ему приходилось признавать как перед самим собой,

так и перед ней, что все не так, как когда-то, однако Линетт, похоже, было все равно. По правде, и ему тоже. Вполне хватало того, что позволялось чувствовать запах ее спины, запускать руку меж ее мягких ляжек. Она, может, и была ревнивой, эгоистичной (и тут он ничего не мог поделать), зато ее миниатюрность даровала ему удовлетворение.

Пока она щебетала о политике и сплетнях в журнале, где работала заместителем редактора, о мелочных унижениях, какие терпела от высокого начальства, которое считала низменным в сравнении с собой, о своих редакционных триумфах, страхах, самых заветных желаниях, он снова видел то небо во время Гонки, всегда грязное, и раздумывал, как это он мог столько лет не вспоминать о Смугляке Гардинере, до самого вчерашнего дня, когда попытался написать, как того избили.

Его попросили написать предисловие к книге зарисовок и иллюстраций, сделанных Гаем Хендриксом, военнопленным, который умер на той Дороге, альбом которого Дорриго Эванс носил с собой и прятал до самого конца войны. Небо всегда было грязным и всегда двигалось, уносилось прочь (или так казалось) в какое-то место

получше, где люди не умирали беспричинно, где жизнь определялась чем-то за пределами случая. Смугляк Гардинер оказался прав: все это было игрой в орлянку двумя монетами. То избитое до синяков небо, измордованное, исхлестанное в сочащееся кровью месиво. Дорриго хотелось вспомнить Смугляка Гардинера, его лицо, как он пел, как хитро улыбался, едва размыкая губы. Но как бы настойчиво ни старался он вызвать в памяти его присутствие, увидеть ему удавалось одно только мерзкое небо, стремительно убегавшее от всего того ужаса.

«Каждый бросок — всегда первый, — вспомнил Дорриго слова Смугляка. — Ну разве не миленькая теория?»

— Ты думаешь — и ты в этом не признаешься, — щебетала Линетт Мэйсон. — Валяй дальше. Разве нет? Думаешь о ней?

«Ты знаешь, я так и не расплатился. Десять шиллингов».

— Я знаю.

«Двадцать к трем. Я помню это».

— Я знаю, когда ты о ней думаешь.

— Знаешь, — зашептал он в мясистое плечо Линетт Мэйсон, — сегодня я работал над предисловием и застрял в нем на Гонке, когда нас

семьдесят дней и ночей заставляли работать без выходных весь сезон дождей. И старался вспомнить, как избили Смугляка Гардинера. Это было в тот самый же день, когда мы кремировали беднягу Гая Хендрикса. Я попытался написать, что я помню из того дня. Получалось ужасно и благородно — все разом. Только не было это ни тем ни другим.

— Я точно знаю, уж поверь.

— Это было жалко и глупо.

— Иди сюда.

— По-моему, они этим наелись досыта, избиениями. Я про япошек.

— Иди. Давай спать.

— Там был такой Накамура, еще этот вшивый мерзавчик Варан с его надменной марионеточной поступью надутого индюка, еще два японских инженера. Или их три было? Даже этого не могу вспомнить. Что ж я за очевидец? Я говорю, может, поначалу они на самом деле хотели причинить ему боль, но потом им это обрыдло, как нашим парням обрыдли кувалда с пробойником. Можешь себе представить? Одна только работа, и работа утомительная, тупая.

— Давай спать.

— Тяжкий труд до седьмого пота. Как траншею

копать. Один на мгновение перестал. И я подумал: «Ну, вот и все. Слава богу». А он поднял руку ко лбу, стряхнул пот и носом шмыгнул. Запросто так. А потом вернулся к работе — избивать Смугляка. Не было в том никакого смысла, ни тогда не было, ни сейчас нет, но этого же не напишешь, а?

— Ты же написал.

— Написал. Что-то. Да.

— И ты написал правдиво.

— Нет.

— Ты написал неправду?

— Я был точен.

За окном в ночи, словно отыскивая что-то безнадежно потерянное, жалко пищал сдающий задним ходом грузовик.

— Не понимаю, почему для тебя это так важно, — проговорила она.

— Нет.

— Вот правда не понимаю. Разве не так много людей страдали?

— Много, — согласился он.

— Почему же именно это важно?

Он ничего не сказал.

— Почему?

Лежа в гостиничной постели в Парраматте, он чувствовал, что должен думать об исполненном

добра мире за пределами их номера, о том, что голубое небо только того и ждет, чтобы вновь появиться через несколько часов, то самое просторное голубое небо, которое в его голове навеки связалось с потерянной свободой его детства. И все же разум его был не в силах перестать видеть испещренное черными полосами небо лагеря.

— Расскажи мне, — попросила она.

Оно всегда напоминало ему грязные тряпки, залитые отработанным маслом.

— Я хочу знать, — продолжала настаивать она.

— Нет, не хочешь.

— Она ведь мертвая, так? Я ревную только к живым.

II

От женщины той на прибрежном песке
Рябью расходятся сумерки
По вечерним волнам.
Исса

1

Во время нестерпимой жары конца 1940 года Дорриго Эванс находился в Аделаиде, завершая подготовку в 2/7-м Эвакуационном пункте на базе Уоррадейльского армейского лагеря, перед отправкой неведомо куда. И получил увольнительную на полдня: штука никчемная, говоря откровенно. Том в телеграмме из Сиднея сообщил, что их дядя, Кейт, владелец паба совсем рядом с Аделаидским побережьем, очень хочет повидаться с Дорриго и «позаботится о тебе по-царски». Дорриго Кейта Мэлвани никогда и в глаза не видел. Ему о нем только и было известно, что тот был женат на младшей дочери их отца, несколько лет назад погибшей в автомобильной аварии. И хотя Кейт с тех пор успел еще раз жениться, он поддерживал связь с семьей своей первой жены, обмениваясь рождественскими открытками с Томом, который и сообщил дяде, что Дорриго проходит службу в Аделаиде. В тот день Дорриго собрался было наведаться к дяде, но машина, которую он надеялся одолжить, сломалась. Так что вместо поездки он в тот вечер с коллегами-врачами из 2/7-го отправился в город,

в «Красный Крест» на танцы.

В тот день предстояли скачки Мельбурнского кубка[21], вызвавшие на улицах томное оживление. Убивая время до начала состязаний, Дорриго ходил по городским улицам и под конец оказался в старом книжном магазине на Ранделл-стрит. Шло какое-то раннее вечернее мероприятие: представляли журнал или что-то в том же духе. Уверенный в себе молодой человек со всклоченными волосами и в большом галстуке, узел которого свободно болтался на шее, читал, заглядывая в журнал:

Митридатум[22] от отчаянья нам неведом,
что в ходу у пьянчуг, этих злобных пингвинов ночей,
площадную брусчатку они топчут без дела,
да шнурки себе вяжут в замутненном луче фонарей.

---

[21] Примечания: 21

Престижные двухмильные скачки (3200 метров), проходящие на ипподроме в пригороде Мельбурна. Центральное событие красочного массового весеннего праздника в штате Виктория, которым, в свою очередь, завершаются всеавстралийские бега, длящиеся с апреля по ноябрь.

[22] Примечания: 22

По легенде, боявшийся отравления царь Митридат создал противоядие из змеиного яда. Позже на той же основе создали порошок, помогавший от любых хворей. Его назвали «митридатумом», он долго использовался лекарями по всей Европе.

Дорриго Эванс ни бельмеса в этом не разобрал. Вкусы его, во всяком случае, уже коснели в предвзятости, свойственной тем, кто с юности привык к дальним походам по безбрежному морю классики и уже редко заплывал куда-то еще, в новые для себя воды. В современности он по большей части терялся и предпочитал следовать литературной моде полувековой давности — в его случае то были поэты викторианской эпохи и писатели античности.

Небольшая толпа зрителей мешала ему сориентироваться среди книг, а потому он направился к деревянной лестнице в дальнем углу магазина, которая указывала на путь, по-видимому, к чему-то более интересному. На втором этаже расположились два небольших полускрытых кабинета (незанятые) и большой зал (тоже безлюдный), пол его был выложен из досок грубого распила, которые упирались в слуховые окна, выходившие на улицу. Повсюду были книги, которые он мог неспешно рассматривать: книги в шатких стопках, книги в коробках, букинистические издания, плотно уставленные или, наоборот, выстроившиеся сикось-накось, словно бывшие не в ладу с дисциплиной отряды ополчения, на полках от пола до потолка по всей задней

стене зала.

В зале было жарко, но жара донимала Дорриго куда меньше, чем поэтические чтения внизу. То и дело он снимал с полки книжку, но на самом деле внимание его было приковано к косым лучам солнечного света, лившегося через слуховые окна. Повсюду вокруг вздымались и опускались мелкие пылинки, светясь и сверкая в этих столбах волнующегося света. Он отыскал несколько полок, заполненных старинными изданиями писателей-классиков, и принялся рассеянно перебирать их в надежде найти дешевое издание «Энеиды» Вергилия, которую когда-то прочел, одолжив на время. И все же, по правде говоря, отнюдь не великая поэма античности привлекала Дорриго Эванса, а сама аура, что, по его ощущению, окутывала такие книги, — аура, что излучала сияние вокруг и вовлекала внутрь какого-то иного мира, вещавшего ему, что он не одинок.

И это ощущение, это чувство общности, случалось, переполняло его. В такие моменты ему чудилось, что во всей Вселенной есть всего одна книга, что все тома книг суть просто двери в это более грандиозное, творящееся на глазах произведение: неисчерпаемый прекрасный мир,

не воображаемый, а мир такой, каков он есть на самом деле, книга без начала и конца.

От лестницы послышались какие-то выкрики, а следом вышла компашка из шумливых мужчин и двух женщин, одной крупной, рыжеволосой, в темном берете, другой поменьше, блондинки, с ярким пунцовым цветком за ухом. Компания то и дело принималась хриплым хором певуче причитать: «Рви, старина Роули, рви!»

Форменная одежда мужчин являла собой смесь, единящую вооруженные силы Австралии: королевская авиация, королевский военно-морской флот и имперская армия, — сами же мужчины были, как предположил Дорриго, в легком подпитии, и все они так и или иначе старались завоевать расположение той из женщин, что поменьше. Ее же, похоже, не интересовал никто из них. Что-то отделяло ее от всей компании, и как ни старались вояки стать с ней ближе, не замечалось ни одной руки в форменном рукаве, пристроившейся у нее на руке, ни одной ноги в форменной брючине, трущейся о ее ногу.

Все это Дорриго Эванс четко ухватил с одного взгляда, после чего и она, и они ему наскучили. Вся компашка служила не чем иным, как обрамлением маленькой блондинки, и он презирал их

за то, что они сдались в плен той, которая явно не достанется никому из них никогда. Ему не понравилась властность, с какой эта женщина обращала мужиков в эдаких, с его точки зрения, рабски угодливых псов, а потому и сама она ему скорее не нравилась.

Отвернувшись, он вновь обратился к книжным полкам. В любом случае думал он тогда об Элле, с которой познакомился в Мельбурне, когда завершал хирургическое обучение. Отец Эллы был видным мельбурнским адвокатом, мать принадлежала к известному скотоводческому семейству, а дед был одним из авторов федеральной конституции. Сама Элла работала учительницей. Если и была она порой скучновата, то все равно ее мир и ее внешность все еще ярко озаряли сознание Дорриго. Пусть разговоры ее были полны банальностей, словно бы наизусть заученных и повторяемых с такой убежденностью, что у него, честно признаться, не было уверенности, что она действительно сама так считает, тем не менее он успел убедиться, что Элла добра и способна преданно любить. А вместе с ней к Дорриго пришел целый мир, казавшийся ему защищенным, вечным, уверенным, неизменным. Мир отделанных темным деревом гостиных и клубов, хрусталь-

ных графинов с шерри и односолодовым виски, подслащенным, слегка пьянящим, слегка отдающим клаустрофобным запахом осветленного до блеска сусла. Семья Эллы была достаточно либеральной, чтобы радушно ввести в этот мир многообещающего молодого человека низкого происхождения, и вполне обыденной, чтобы дать понять: условия их радушия будут всецело определяться этим миром.

Молодой доктор Дорриго Эванс не разочаровал. Теперь он был хирургом и, как подразумевалось, намеревался жениться на Элле, она тоже намеревалась, хотя они и никогда не говорили об этом. В его представлении женитьба на Элле стояла в одном ряду с такими событиями, как завершение образования и получение степени доктора, получение назначения и воинского звания — очередной шаг вперед и выше. С той самой поры в пещере Тома, где он убедился в силе умения читать, каждый шаг вперед был для Дорриго именно таким.

Он снял с полки книгу, и, когда подносил ее к груди, книга эта вышла из тени и попала в один из тех солнечных лучей. Он задержал книгу в луче, разглядывая и книгу, и свет, и пыль. Получалось, словно бы существовало два мира. Этот

мир и мир потаенный. И тот пользуется преходящими лучами послеполуденного солнца, чтобы предстать как мир реальный: парящие частички бешено крутятся, сверкают, наобум врезаются друг в друга и тут же разлетаются по совершенно другим, новым сторонам. Когда стоишь там, в том послеполуденном свете, невозможно не поверить, что любой шаг будет к лучшему. Он никогда не думал, куда или к чему, никогда не думал зачем, никогда не задумывался, что случится, если вместо движения вперед он врежется, как одна из пылинок в солнечном луче.

Компашка в дальнем конце зала снова пришла в движение и направилась к нему. Двигалась она точно косяк рыб или стая птиц на закате. У Дорриго не было ни малейшего желания находиться с пришлецами рядом, и он отошел в самый конец книжных полок поближе к окнам на улицу. Однако, как у птиц или рыб, движение прекратилось так же внезапно, как и началось, компашка сгрудилась в кучку в нескольких шагах от книжных полок. Уловив, что кое-кто посматривает в его сторону, Дорриго еще пристальнее уставился на книги.

А когда снова поднял взгляд, понял, что привело к движению. Женщина с красным цветком

прошла к месту, где он стоял, и теперь — в полосках тени и света — стояла перед ним.

2

Глаза ее горели синевой газового пламени. Неистовые такие. Несколько секунд для него только они и существовали, ее глаза. И взгляд их был направлен на него. Вот только никакого *в* этот взгляд не предполагал. Она как будто выпивала его до донышка. Оценивала, что ли? Мнение о нем составляла? Кто ее знает. Наверно, именно безотрывность ее взгляда и вызвала в нем обиду и неловкость. Он боялся, что все это какая-нибудь изощренная шутка, что через секунду-другую женщина разразится смехом и призовет свой косяк мужиков присоединиться и посмеяться над ним. Он сделал шаг назад, уперся в книжную полку: отступать дальше было некуда. Так и стоял: одна рука зажата между ним и стойкой книжных полок, обращенное к женщине тело скривилось в каком-то жутком изгибе.

— Я видела, как вы вошли в книжный, — сказала она, улыбаясь.

Если бы кто-нибудь спросил его потом, как она выглядела, вопрос загнал бы его в тупик. Все дело в цветке, наконец решил он, было что-то дерзкое в том, чтобы носить в волосах большой красный

цветок, заткнув за ухо стебелек, и это давало представление о ней. Только, он понимал, на самом деле это вовсе ничего ему о ней не говорило.

— Ваши глаза, — добавила внезапно.

Он ничего не сказал. По правде говоря, он даже не знал, что сказать. В жизни не слышал ничего более нелепого. «Глаза»? И он поймал себя на том, что в ответ невольно пристально воззрился на нее, выпивая ее до дна, так же, как она его. Ее, похоже, это и не трогало вовсе. Возникла какая-то странная и тревожащая близость, необъяснимая осведомленность, которая его потрясла: оказывается, он может запросто обшаривать взглядом женщину, а та и ухом при этом не ведет, раз глазеет на нее именно *он*.

От этого кружилась голова и одолевало недоумение. Он разглядел у нее не один мелкий изъян, самым заметным из них была родинка справа над губой. И он понял, что вся совокупность ее изъянов и составляет красоту, от этой красоты и шла власть, и власть эта была и осознанной и бессознательной одновременно. По-видимому, пришел он к выводу, она считает, что красота наделяет ее правом обладать всем, что ей хочется. Что ж, им ей не завладеть.

— Такие черные, — проговорила она, теперь

уже улыбаясь. — Впрочем, не сомневаюсь, вам об этом уже много раз говорили.

— Нет, — возразил он.

Это была не совсем правда, но ведь никто никогда и не говорил это в точности так, как только что произнесла она.

Что-то помешало ему отвернуться, прервать нелепый разговор и уйти. Он глянул на кружок мужчин у дальнего конца книжных полок. У него было тревожное ощущение, что она говорила то, что и вправду думала, и то, что она ему говорила, предназначалось только ему.

— Ваш цветок, — выговорил Дорриго Эванс. — Он…

Он понятия не имел, что это за цветок.

— Украден, — заявила она.

Похоже, времени у нее оказалось предостаточно, чтобы оценить его, а оценив и сочтя, что он ей по нраву, она смеялась уже так, чтобы дать ему почувствовать: она отыскала в нем все самое влекущее на свете. Выходило так, будто ее красота, ее глаза, все, что было в ней обворожительного и чудесного, теперь существовало еще и в нем.

— Он вам нравится? — спросила она.

— Очень.

— С куста камелии, — сказала она и снова за-

смеялась.

А потом ее смех (больше похожий на легкое покашливание, резкое, слегка гортанное и отчего-то глубоко интимное) оборвался. Она подалась вперед. Он уловил запах ее духов. И спиртного. Все же понял: ей нет дела до его неловкости, и это не было попыткой пустить в ход свои чары. Или заигрыванием. Пусть через силу, пусть с неохотой, только он чувствовал: между ними что-то происходит, что-то, от чего не отопрешься.

Высвободив руку за спиной, он повернулся, чтобы встать к ней лицом к лицу. Через окно между ними падал луч света, внутри которого вздымалась пыль, и он видел ее словно бы из тюремного окошка. Он улыбнулся, что-то сказал — сам не зная что. Глянул поверх луча на кружок мужчин, ее преторианскую гвардию, поджидавшую в тени, надеясь, что хоть кто-то один для собственной выгоды, может, подойдет, воспользуется его неловкостью и утащит ее назад.

— А вы что за солдат? — спросила она.

— Не очень-то и солдат. — Зажатой в руке книгой он тронул коричневую треугольную нашивку с вышитым на ней зеленым кружком на рукаве гимнастерки. — Эвакопункт два дробь семь. Я врач.

Он чувствовал, что его разбирает легкая обида и нервы начинают слегка сдавать. Какое дело красавице до него? Тем более когда ее внешность, голос, наряд да и все в ней, по его понятию, выдавали в ней женщину с положением. Он, положим, теперь доктор и офицер, только все ж недалеко ушел от своих корней и полностью самому себе отчета в этих званиях не отдавал.

— Меня беспокоило, что я незваным явился на это…

— Представление журнала? О, пустяки. По-моему, они рады любому, в ком сердце бьется. Или даже вовсе без него. Типпи, вон та, нестойкая, — женщина махнула рукой в сторону своей спутницы, — Типпи говорит, что поэт, читавший свое стихотворение, собирается революционизировать австралийскую литературу.

— Смельчак. Я в армию пошел, только чтоб с Гитлером потягаться.

— Хоть слово в его стихотворении имело для вас смысл? — спросила она, глядя на него разом пристально и искательно.

— Пингвины?

Она широко улыбнулась, словно был перейден какой-то труднодоступный мост. И сказала:

— Мне больше про шнурки понравилось.

Один из роя ее воздыхателей запел, подражая Полю Робсону[23]: «А кляча старая Роули вскачь знай себе рвет и рвет».

— Типпи всех нас напрягла сюда прийти, — произнесла женщина уже по-новому фамильярно, словно они уже много-много лет состояли в друзьях. — Меня, брата своего и кой-кого из его приятелей. Она учится вместе с этим поэтом, что внизу. Мы сидели в каком-то офицерском клубе, слушали, что творится на Кубке, и ей захотелось, чтоб мы пошли сюда послушать Макса.

— Макс это кто? — спросил Дорриго.

— Поэт этот. Но это не важно.

— А Роули кто?

— Конь. Это тоже не важно.

Он словно онемел, не зная, что сказать, в ее словах не было смысла, слова никак не вязались с происходящим между ними. Если и конь, и поэт оба не важны, что же важно? Было что-то такое в ее… напоре? прямоте? дикости?.. что вызывало в нем очень и очень большую тревогу. Что ей нужно? Он дождаться не мог, когда она уйдет.

---

[23] Примечания: 23

Пол (у русских принято — Поль) Лерой Бастилл Робсон (1898–1976) — популярный в СССР американский певец, обладатель уникального баритонального баса, лауреат Международной Сталинской премии «За укрепление мира между народами» 1952 года.

Услышав мужской голос, Дорриго оглянулся и увидел, что один из воздыхателей (тот, что был в голубой форме офицера королевских ВВС) стоит рядом с ними, убеждая ее с нарочитым английским выговором в необходимости вернуться обратно к компашке и «помочь в разрешении спора, который мы ведем, по поводу шансов тотализатора». Женщина проследила за взглядом Дорриго и, распознав голубую форму, совершенно переменилась в лице. Словно бы это была уже другая женщина, а ее глаза, с такой живостью смотревшие на Дорриго, вдруг помертвели. Голубая униформа попробовала отделаться от ее пристального взгляда, повернувшись к Дорриго.

— Знаете, — сказал летчик, — она выбрала его.

— Кого?

— Старину Роули. Сто к одному. Самый невероятный шанс в истории Кубка. И *она* знала. Чертовски хорошо знала, на какую лошадку ставить. Вон, Гарри, что там стоит, двадцать фунтов сделал.

Дорриго еще и рта не открыл, чтобы ответить, а женщина уже говорила с офицером королевских ВВС тоном, который Дорриго счел очаровательным, но лишенным всякой душевности.

— У меня всего один вопрос к моему другу, —

сказала она, указывая на Дорриго. — Потом я вернусь, и обсудим с вами бухгалтерию скачек.

И, завершив этот краткий разговор, вновь обратилась к Дорриго, обдав голубую униформу таким холодом, что тот, потоптавшись секунду-другую, вернулся к компашке.

3

— Что за вопрос?

— Понятия не имею, — пожала она плечами.

Его терзал страх, что она с ним играет. Инстинкт подсказывал: надо убираться, — но что-то удерживало его там.

— Что за книга? — спросила она, указывая на его руки.

— Катулл.

— В самом деле? — Она опять улыбнулась.

Дорриго Эвансу хотелось стать свободным от нее, вот только освободить себя он был не в состоянии. Эти глаза, этот красный цветок. То, как… только он этому бы не поверил… то, как она, по всему судя, улыбается *ему*. Он сунул руку за спину, забарабанил пальцами по корешкам стоявших там книг, по Лукрецию, Геродоту, Овидию. Но они не давали ответа.

— Римский поэт, — пояснил он.

— Прочтите мне какое-нибудь его стихотворение.

— Вы серьезно?

— Разумеется.

— Это очень скучно.

— Аделаида тоже скучна.

Он опять опустил взгляд в книгу и прочел:

И снова голод меня своей пикою тычет,
Того и гляди
прорвется туника и палий[24].

И закрыл книгу.

— Для меня все это латынь какая-то, — сказала она.

— Для нас обоих, — подхватил Дорриго Эванс. Он-то надеялся оскорбить ее этим стихотворением и понял, что не удалось. Она опять улыбалась. И ведь сумела как-то даже его оскорбление представить так, словно он за ней ухлестывает, да так, что он сам начал гадать: а не ухлестывает ли?

Глянул в окно в поисках помощи. Никакой.

— Прочтите еще, — попросила она.

Он торопливо перелистал несколько страничек, потом перелистал еще несколько, остановился и начал:

Будем жить и любить,
И плевать нам на сплетни старцев сварливых —
медный грош им цена.

---

[24] Примечания: 24
Катулл. Из стихотворения XXXII.

Погрузившись во тьму,
вновь по силам светилам восстать.
Ну а нам…

Почувствовал, как в нем поднимается непонятная злость. С чего это из всех стихов он принялся читать именно эти? Почему не что-то другое, что могло бы стать оскорблением? Но какая-то другая сила держала его, направляла, сделала его голос низким и сильным, когда он продолжил:

…Как угаснет свет наш недолгий,
Сном придется забыться в ночи беспробудной[25].

Она зажала верх своей блузки между большим и указательным пальцами, потянув ее вверх, и при этом не сводила с него глаз, которые, казалось, говорили, что на самом деле ей хотелось стянуть ее вниз.

Он закрыл книгу. Не знал, что сказать. В голове проносилось много всякого: и занимательного, и безобидного, и грубого, что отвлекало его от полки с книгами, отвлекало от нее, от этого жуткого взгляда, от глаз, горящих неистовым голубым пламенем, — только ничего из этого он

---

[25] Примечания: 25
Катулл. Из стихотворения V.

не высказал. Вместо всех глупостей, что могли бы сорваться у него с языка, вместо всего, что, по его ощущению, прозвучало бы невежливо, как и требовалось, он вдруг услышал, как сам произносит:

— Ваши глаза, они…

— Мы говорили о том, какая это чушь — любовь, — перебил вдруг чей-то незнакомый голос.

Обернувшись, Дорриго увидел, что самый незадачливый из лицемеров, близкий приятель, подошел к ним от кружка вздыхателей и, видимо, вознамерился забрать голубые глаза обратно. Наверное, владевшее им чувство относилось заодно и к Дорриго, приятель улыбался ему, стараясь (это Дорриго почувствовал) оценить, кто такой Дорриго Эванс и что его связывает с этой женщиной. Отвергнутый, он с удовольствием предупредил бы его о подобной участи.

— Большинство людей живет без любви, — сказал лицемер. — Вы согласны?

— Я не знаю, — ответил Дорриго.

Приятель улыбнулся: изгиб уголка губ в сторону Дорриго, их неспешное открытие в ее сторону, — сообщническое приглашение ей вернуться к его компании, в его мир, к рою жужжащих трутней. Женщина оставила лицемера без внимания, отгородилась от него плечом, через которое и

бросила, что вернется через минуту, ясно дав понять, что тому надлежит удалиться, дав ей возможность остаться с Дорриго. Потому как в общем-то касалось это строго *их одних*, даром что Дорриго, следя за ее молчаливым, но недвусмысленным посылом, понимал: с его стороны на такое не было ни желания, ни согласия.

— Все эти разговоры о любви, — тянул свое лицемер, — сущая чепуха. В любви нет никакой нужды. Самые лучшие браки — это браки по совместимости. Наука доказывает, что все образует электромагнитные поля. Один человек встречает другого с противоположно заряженными ионами, выстроенными в верном направлении, и их влечет друг к другу. Но это не любовь.

— Что же тогда? — спросил Дорриго.

— Магнетизм, — заявил лицемер.

4

Майор Накамура в карты играл плохо, тем не менее в последний раз выиграл именно он, поскольку партнеры по игре, двое его младших офицеров и австралийцы-военнопленные, сообразили: будет лучше, если он не проиграет. Через своего переводчика, лейтенанта Фукухару, Накамура поблагодарил австралийцев, полковника и майора, за приятный вечер. Японец майор встал, пошатнулся, едва не упал, но сохранил равновесие. Несмотря на то что Накамура едва не ткнулся носом в землю, он, казалось, распалился прямо-таки через край. Меконгский виски, принесенный японцем на игру, подействовал и на двух австралийских офицеров, Дорриго Эванс, вставая, двигался осторожно: понимал, что пришло время сыграть свою роль Матерого. Весь вечер он сдерживался, но вот, по всему судя, пришло время выйти на подмостки.

— Гонка идет уже тридцать семь дней без остановок, майор, — начал Дорриго Эванс. Накамура смотрел на него, улыбаясь. Дорриго Эванс улыбнулся в ответ. — Ради исполнения повелений императора мы поступили бы мудро, если

бы использовали наши ресурсы разумно. Для строительства железной дороги с наилучшими результатами необходимо давать нашим людям отдыхать, а не истреблять их изнеможением. День отдыха дал бы несказанно много для сохранения не просто сил у людей, а самих этих людей.

От майора Накамуры он ожидал в ответ чего угодно: что тот взорвется, ударит его, примется угрожать или, как самое малое, визгливо заорет на него — однако японец лишь смеялся, слушая перевод лейтенанта Фукухары. Быстрым движением обогнув австралийца, майор успел уже добраться до выхода, пока Фукухара заканчивал переводить его ответ Дорриго.

— Майор Накамура говорит: заключенным повезло. Они искупают честь, умирая за императора.

Накамура остановился, повернулся и обратился к ним со словами.

— Эта война, она и вправду жестокая, — переводил лейтенант Фукухара. — А какая война не жестока? Только война — это человеки. Война — это то, что мы есть. Война — это то, что мы делаем. Железная дорога, может быть, и убивает человеков, но я не создаю человеков. Я создаю же-

лезную дорогу. Продвижение вперед не требует свободы. Продвижению вперед не нужна свобода. Майор Накамура, он говорить: продвижение вперед способно возникать по другим причинам. Вы, доктор, зовете это несвободой. Мы зовем это судьбой. С нами или без нас. Это будущее. — Дорриго Эванс поклонился. Его заместитель, майор Глазастик Тейлор, проделал то же самое.

Но майор Накамура еще не закончил. Он опять заговорил, а когда выговорился, Фукухара перевел:

— Ваша Британская империя, говорить майор Накамура. Он говорить: вы думать, что ей несвобода не нужна, полковник? Она строилась на несвободе шпала за шпалой, на несвободе мост за мостом.

Майор Накамура повернулся и вышел. Дорриго Эванс, пошатываясь, пошел в хижину военнопленных-офицеров, к себе в постель, на раскладную койку, слишком короткую для него. Раскладушка была смехотворной привилегией, которая пришлась ему по душе, потому как никакой привилегией на самом деле вовсе не являлась. Он глянул на часы. Те показывали время: 12:40. Дорриго застонал. Чтобы было куда положить длинные ноги, он соорудил из бамбука

треногу, сверху положил на нее расплющенную жестянку из-под керосина, укрепив ее дополнительно бамбуком. Сооружение часто с грохотом падало, когда он ворочался во сне.

Он зажег огарок свечи у своей раскладушки и лег. Взял порядком потрепанную книгу (сущее сокровище в лагере), любовный роман, который он читал на сон грядущий, позволяя мыслям отвлечься и упорхнуть куда угодно, и который уже подходил к концу. Только вот сейчас у Дорриго Эванса, опьяневшего, изнемогшего, больного, не было ни сил читать, ни желания двигаться, он чувствовал, как сон уже овладевает им. Он положил книгу обратно и задул свечу.

5

Старику снилось, как он, еще молодой, спит в лагере для военнопленных. Видения во сне стали теперь для Дорриго Эванса реальнее всей реальности. «Вслед знанью мчал он падучею звездой за крайней гранью мысли человека»[26].

Сел в постели.

— Который час?

— Почти три.

— Мне надо идти.

Он не смел произнести имя Эллы. Ни слово «жена», ни слово «домой».

— Где эта юбка?

— Ты опять о ней думал, да?

— О моем килте?

— Знаешь, мне от этого больно делается.

— Вот чертов килт!

Он приехал в килте, сразу после ежегодного ужина в парраматтском «Обществе друзей Бернса», в котором состоял с тех пор, как в 1974 году работа привела его в Сидней, и покровителем которого невесть почему считался, разве что из

---

[26] Примечания: 26
Строка из «Улисса» А.Теннисона.

уважения к его общеизвестной страсти к виски и тайной страсти к женщинам. И вот теперь килт пропал.

— Я не про Эллу. Это-то как раз не любовь.

Он подумал о жене. Супружество оказалось для него глубоким одиночеством. Он не понимал, почему был женат, почему считалось неподобающим спать с разными женщинами, почему все это значило для него все меньше и меньше. Не мог он сказать, и что за непонятная боль засела в основании его желудка, которая разрасталась и разрасталась, отчего ему так отчаянно нужно было вдыхать запах спины Линетт Мэйсон или отчего единственной реальностью в его жизни оставались его сны.

Он открыл холодильник бара, достал маленькую бутылочку «Гленфиддих»[27] и тряхнул головой, заметив новомодное приспособление, которое реагировало на извлечение бутылочки: ее стоимость тут же по электронной цепи включалась в счет. Он ощутил пришествие нового, более упорядоченного мира, мира более усмиренного, мира пределов и слежки, где все известно и где жизненный опыт без надобности.

---

[27] Примечания: 27
Односолодовый шотландский виски.

Он понимал: его общественная ипостась (сторона, которую оттискивают на монетах и марках) хорошо уживется с наступающим веком, а другая его ипостась, его собственное «я», будет по возрастающей становиться все непостижимее и противнее, эту сторону другие сговорятся утаить.

Она не подходит грядущему новому веку послушания во всем, даже в чувствах, у него вызывало недоумение, до чего ж люди стали нынче сверхчувствительны друг к другу, как сверх меры болтают они про свои проблемы, как будто описание жизни в словах хоть как-то способно выявить ее тайну или опровергнуть ее хаос. Он ощущал какую-то опустошенность в том, как все больше и больше возрастала ценность риска, как всемерно уничтожалось устоявшееся, заменялось вкрадчивым новым миром, где процесс приготовления пищи вызывает у зрителя больше чувств, нежели чтение поэзии, где возбуждение порождает возможность заплатить за суп, приготовленный из кормовой травы. В лагерях он ел суп из кормовой травы — и предпочел бы нормальную еду. Карта той Австралии, что нашла себе прибежище в его голове, составлена из историй мертвецов: Австралия живых становилась для него страной все более неизвестной.

Дорриго Эванс вырос в том веке, когда жизнь могла восприниматься и проживаться как поэтический образ или (с возрастом это становилось все более характерным для него) как тень одного-единственного стихотворения. Увы, пришествие телевидения, а с ним и понятия «известные личности» (ими, по убеждению Дорриго, оказывались люди, с какими во всех иных отношениях и знаться не захочешь) положило тому веку конец. Однако и телевидение время от времени не упускало случая поживиться поэзией, ибо убедилось, что понятность тех, кто делал свою жизнь, сверяясь с изысканной тайной поэзии, — подходящий предмет изображения, который разум по большей части обходит стороной.

Документальный фильм о том, как в 1972 году Дорриго едет обратно на ту Дорогу в День АНЗАК[28], для начала утвердил его в национальном сознании, а потом уже еще больше возвеличивало его положение в нем дальнейшими появлениями в разных телепрограммах, где он с успехом изображал консервативного гуманиста — еще одна маска.

---

[28] Примечания: 28

Государственный праздник: 25 апреля в Австралии и Новой Зеландии отдают дань памяти гражданам, погибшим во всех войнах и военных конфликтах с участием этих стран.

Он понимал, что переживает свой век, и, ощущая непреходящее желание жить более бесшабашно, скрутил пробку с бутылочки виски. Сделал глоток и тут почувствовал пальцами ног свой килт, валявшийся на полу у холодильника бара. Натянув его, глянул через плечо на постель, где в странном ночном освещении, порожденном светящимися цифрами часов и зелеными огоньками противодымных датчиков, Линетт виделась словно бы под водой. Заметил, что она прикрывает глаза рукой. Отвел руку. Она плакала. Молча, не двигаясь.

— Линетт?

— Все отлично, — произнесла она. — Ты иди.

Не хотелось этого говорить, но пришлось:

— Что случилось?

— Ничего.

Он склонился, тронул губами ее болотистого оттенка лоб. Привкус пудры. Натужный запах жасмина, всегда пробуждавший в нем желание спасаться бегством.

— Тяжело это, — сказала она, — когда хочешь чего-то, а получить не можешь.

Он сгреб ключи от машины. Предстояло громадное удовольствие: нетрезвым вести машину по объездным дорогам — огни, игра, цель кото-

рой чтоб тебя ни за что не поймали, чтоб, если повезет, еще разок проскочить. Быстро закончил одеваться, одним глотком выпил последние остатки из бутылочки «Гленфиддих», впустую убил пять минут на поиски куда-то не туда сунутого споррана[29], который в конце концов нашелся под книгой японских стихов смерти, и ушел, забыв взять книгу с собой.

[29] Примечания: 29

Сумка-кошель, которую носят на поясе килта, часть костюма шотландского горца.

6

На следующей неделе Дорриго получил отпуск на сорок восемь часов. Ему удалось воспользоваться обратным военным рейсом до Мельбурна и в тихие, ничем не занятые два дня и ночь с Эллой постарался и пошуметь, и подвигаться, сколько сил хватило. Никогда его так отчаянно не тянуло к ней, так отчаянно льнет к земле под собой человек, которого вот-вот забьют ногами до смерти.

Несколько раз он порывался рассказать Элле о женщине, которая заговорила с ним в аделаидском книжном магазине. Но что было рассказывать? Ничего не произошло. С Эллой они танцевали. Пили. Что случилось-то? Ничего.

За Эллу он держался, как за спасательный круг. Рвался побыть с ней в постели, чтобы увидеть себя с нею по-новому, и был признателен, что в ней не оказалось ничего из того, что вдруг стало представляться ему необъяснимым прелюбодейством. Ее черные волосы, темные глаза, пышная фигура — она была прекрасна, и все же он не почувствовал ничего.

В чем дело? Думал он не о волосах или глазах, а

о чувстве, таком же непостижимом, как миллион танцующих и бессмысленных пылинок. Невесть с чего навалившееся чувство вины погрузило его в мрачность. Все-таки что такого он сделал? Да ничего. Разговаривал, самое большее, несколько минут, потом повернулся и ушел из книжного магазина. Даже имени ее не узнал. Что он спросил о ней? Что она ему рассказала? Ничего! Ничего! Мир Эллы, который до той поры казался настолько уютным в своей сохранности и определенности, что ему хотелось прижиться в нем, неожиданно стал казаться Дорриго бледным, лишенным крови. Да, он старался отыскать в нем то неописуемое чувство легкости, тот неистребимый дух власти с ее привилегиями, которые так привлекали его прежде, но теперь этот мир не значил для него ничего, хуже того, он, похоже, вызывал отвращение.

Элла и другие покрывали новую неловкость Дорриго великим всеобщим платежом того времени: война. Война давила, война вносила беспорядок, война портила, война списывала. Дорриго же со своей стороны считал, что дождаться не может пришествия войны, раз уж лишь в этом и есть выход.

Наконец он рассказал Элле, словно бы просто

о странном случае, однако для него самого собственный рассказ звучал так, словно речь шла об измене. Он испытывал непередаваемый стыд. Почему он не мог возжелать Эллу? А описывая ту незнакомку как слишком настойчивую, скорее даже ведущую себя неподобающим образом женщину, он чувствовал, что предает то, что произошло, а заодно и ее и в чем-то самого себя. Рассказ он окончил с содроганием.

— Хорошенькая была? — спросила Элла.

Он ответил, что женщина была непримечательная. Чувствовал: надо еще что-то сказать, — добавил, что у нее были красивые… и рылся в памяти, выискивая какую-то черту, какую никак не сочтешь неподобающей… *зубы*.

— У нее были красивые зубы, — сказал он. — Вот, пожалуй, и все на самом-то деле.

— Больше на клыки похоже, — произнесла Элла, слегка возвысив голос. — А еще и красная камелия в волосах? Это описание какого-то чудища, вот что я тебе скажу.

И все же чудищем она не была. Стояла там, и что-то ведь случилось, что-то произошло между ними — и как же он пожалел! Ведь теперь Элла предстала перед ним как человек, какого он никогда прежде не знал. Ее болтовня, которую он еще

вчера находил веселенькой, теперь раздражала своей наивностью и фальшью. Аромат ее духов, предназначавшийся ему одному, теперь вяз у него в ноздрях. Его так и подмывало сделать ей больно, чтоб она ушла.

— Мне следует ревновать? — спросила Элла.

— К чему? — удивился он. — Слов нет, с какой радостью я убрался из того книжного магазина.

Миг спустя он уже целовал Эллу. Элла добра, говорил он себе. И где-то в душе жалел Эллу, а еще глубже схоронил понимание, что им обоим предстоит страдать из-за ее доброты и его жалости. Ему невыносима была ее доброта, и он боялся своей жалости, хотелось избавиться от всего этого навсегда. И чем больше было ему невыносимо, чем больше он боялся и желал избавления, тем больше страсти отдавал поцелуям, более страстными становились их объятия, и по мере того как один миг переходил в другой, один день — в следующий, по мере того как жизнь наполнялась жизнью, его безрадостное настроение проходило. Он почти совсем перестал думать о девушке с красной камелией.

Он смотрел на мир все веселее, а отпуск, казалось, и пролетает слишком быстро, и в то же время проходит в нескончаемом водовороте вечеринок,

случайных встреч и новых знакомств. Похоже, всем приспичило познакомиться с кавалером Эллы, будь то ее друзья или друзья ее родителей. И таким вот образом Дорриго перезнакомился с большой частью мельбурнского общества и уже привык видеть себя их глазами: молодым человеком, который после войны поднимется до великих дел. И все-то в этой идеальной жизни складывалось великолепно: они с Эллой, и семья Эллы, и их место в этом мире, которое вскоре станет и его местом тоже. И то, что недавно было трудно с Эллой, теперь неожиданно сделалось легким: между ними больше не было никаких барьеров, все стало, как и прежде, возможно, даже еще лучше — и он совершенно позабыл и про книжный магазин, и про собственные сомнения.

Вернувшись в Аделаиду, он с головой ушел в штабную работу, которую обычно ненавидел. Снаружи ниссеновского барака[30] в административном блоке Уоррадейльского армейского лагеря, где находились его и других медиков рабочие места, пыль, вихрясь, кружила вокруг

[30] Примечания: 30

Сборно-разборный ангар полуцилиндрической формы из гофрированной стали, который использовался для различных нужд во время Первой и Второй мировых войн; назван по имени автора конструкции, подполковника П. Ниссена.

плаца, тогда как внутри при невыносимой, как из печки, жаре он старался сосредоточиться на приготовлениях к транспортировке: припасах и оборудовании, которых либо вообще не существовало, либо никто не посчитал их нужными, — и при том умопомрачительный объем всякой писанины, в которой он редко видел хоть что-то путное или достижимое. Судя по ночи, намечались несколько более прохладная погода и вечеринки с холодным пивом и ледяным ромовым пуншем — этому он и предался от души, ища забвения, которое, случалось, действительно находил.

Пришла открытка от Кейта Мэлвани с повторным приглашением приехать и навестить его в принадлежащем ему баре «Король Корнуолла». На лицевой стороне открытки красовалось раскрашенное от руки здание гостиницы, величественное четырехэтажное каменное строение, на всех уровнях окруженное с трех сторон верандами, выходившими прямо на длинный безлюдный пляж, выстроенное, если верить открытке, в 1886 году. Судя по шляпам-канотье перед гостиницей и усам у мужчин, сама открытка была немногим моложе. Дорриго затерял ее где-то среди служебных бумаг.

По мере того как из Лондона доходили сообщения о блицкриге, разочарование росло, уже появились первые вести о боевых действиях австралийцев против итальянцев в Ливии, а они все еще торчали в лагере в Аделаиде. Слухи о грядущей транспортировке и возможных местах назначения — Греция, Британия, Северная Африка, вторжение в Норвегию — появлялись и исчезали.

Дорриго погрузился в жизнь, в неистовую работу и буйство пирушек, позволив течению времени отнести все остальное куда подальше. Как-то под конец работы, роясь в куче бланков заявок на носилки, он наткнулся на открытку Кейта Мэлвани с видом принадлежавшей тому прибрежной гостиницы. И в следующие выходные, имея увольнительную на двенадцать часов, Дорриго Эванс не нашел ничего лучшего, как отправиться на побережье на грузовом «Студебеккере», топливом для которого служил уголь и который он одолжил у брата своего вестового.

Уже почти в сумерках он прибыл в небольшое поселение, служившее местом отдыха для аделаидцев. С океана дул бриз, доносился шум волн, и от этого жара становилась не просто терпимой, а чем-то чувственным и приятным.

Если пляж, похоже, и был таким же опустевшим, как на открытке, то «Король Корнуолла» оказался и пышнее, и более обветшалым, чем на фотографии, было что-то от алхимии в обаянии старинных вещей, переживших тяжелые времена.

Внутри располагался длинный темный бар в южноавстралийском духе: высокие потолки, приятный полумрак после резкого света южноавстралийского лета. Разные оттенки крашеного дерева и общий серовато-коричневый тон, казалось, смягчали и давали отдых глазам после слепящей яркости оставшегося за порогом мира. Подвесные вентиляторы ритмично прочесывали низкий гул болтовни посетителей. Дорриго направился к бару, за которым барменша наводила порядок среди бутылок на задней полке. Она стояла к нему спиной, и Дорриго спросил, не подскажет ли она, где ему отыскать Кейта Мэлвани.

— Я племянник Кейта, — добавил он.

— Вы, должно быть, Дорриго, — сказала, оборачиваясь, барменша. Ее белокурые волосы были собраны в пучок. — А я…

Попав в конус блеклого электрического света над баром, сверкнули голубые глаза. На миг что-то наполнило их, потом они опустели.

— Я жена Кейта, — проговорила женщина.

7

Его мечущийся взгляд перескакивал с верхней полки, заставленной бутылками рома и виски, на других посетителей, на полотенце с надписью: «КОРОЛЬ КОРНУОЛЛА». Задержался на нем, на женской руке, державшей влажное полотенце. Изящные пальчики, ногти окрашены в цвет бургундского. Его охватило безумное желание ощутить их у себя во рту. Явилось ощущение, будто отсвет мерцает, волчком крутится перед ней.

— Передайте Кейту, что…

— Да.

— Что мне сократили увольнение. И я не смогу остаться.

— А вы…

— Его племянник…

— Дорри?

Он не помнил, как его зовут, но имя прозвучало правильно.

— Вы Дорри? Дорринго? Ведь вас так зовут?

— Ну, да. Так.

— Как это… *необычно*.

— Мой дед там родился. Говорят, его взял в свою шайку Бен Холл.

— Бен Холл?

— Благородный разбойник буша:

Как в старой Англии, когда разбойников
Турпина и Дюваля[31] *простой народ*
К друзьям своим причислил,
Так и у нас к таким же был причислен
И славный удалец Бен Холл.

— Вы когда-нибудь своими словами изъясняетесь? — спросила она.

— Дорриго — мое второе имя[32], но оно…

— Пристало?

— Полагаю, да.

— Кейт уехал. Он будет очень огорчен, что не застал вас.

— Война.

— Да. Ох уж этот Гитлер.

— Загляну как-нибудь в другой раз.

— Сделайте милость, Дорри. Он будет так жалеть, что вы не смогли погостить.

---

[31] Примечания: 31

Ричард «Дик» Турпин (1705–1739) — английский разбойник, герой множества песен, рассказов, фильмов и сериалов. Клод Дюваль (1643–1670) — разбойник французского происхождения, действовавший в Англии.

[32] Примечания: 32

Имя Дорриго образовано от слова «дондорриго», что на языке аборигенов значит «упругая кора».

Он направился к выходу. В глубине его души бушевало ужасное смятение, волнение пополам с ощущением предательства, словно он принадлежал ей и она его бросила, а вместе с тем еще и чувство, будто она принадлежит ему и он должен принять ее обратно. У самой двери он повернулся кругом и сделал два шага к бару.

— А мы с вами не…

Она прихватила большим и указательным пальцами верх своей блузки: два ее ярко окрашенных ногтя походили на рождественского жучка, расправившего крылышки, — и потянула блузку вверх.

— В книжном?

— Да, — кивнула она.

Он пошел обратно к бару.

— Я подумал, — заговорил он, — что они…

— Кто?

Чувства говорили ему: между ним и нею что-то есть, — но он не понимал, что это. И ничего не мог с этим поделать. Не понимал этого, зато чувствовал.

— Те мужчины. Что они…

— Что они?

— С вами. Что…

— Да?

— Что они… ваши… ваши поклонники.

— Не говорите глупости. Просто несколько приятелей приятеля из офицерского клуба. И несколько их приятелей. А вы, значит, и есть тот самый способный молодой врач?

— Ну, молодой, да. Так и вы тоже.

— Уже старею. Я передам Кейту, что вы заходили.

Она принялась протирать стойку. Какой-то посетитель ткнул в ее сторону пустой кружкой с остатками пены по краям.

— Иду, — сказала она.

Он вышел, погнал на грузовике обратно в город, нашел бар и нарочно напился до беспамятства, не мог даже вспомнить, где оставил свой «Студебеккер». Зато, когда проснулся, память о ней ничуть не пропала. Раскалывавшаяся голова, боль при каждом движении тела или мысли, казалось, держались и исцелялись ею, только ею, одной ею, одной.

Еще несколько недель он старался забыться, участвуя в качестве военврача в бесконечных переходах и маршах пехотной роты, вышагивая по двадцать миль в день: от виноградников в долине, где наполняли фляги мускатом и красным вином, до прибрежных пляжей, где купались, а

затем маршировали обратно, а потом опять обратно, — и все это по жаре до того нестерпимой, что она казалась подобием врага. Он помогал нести поклажу солдатам, которые падали от изнеможения, изводил себя превыше всякого безрассудства. В конце концов командир роты приказал ему немного успокоиться, чтобы не выглядеть дураком перед солдатами.

Вечером он писал письма Элле, в которых старался укрыться в словах и поэтических выражениях любви, заученных из литературы. Письма были длинными, скучными и лживыми. Разум его мучился от мыслей и чувств, о каких ему никогда не приходилось читать. А значит, по его понятию, они не могли быть любовью. Он чувствовал, как в нем ключом бьют ненависть и вожделение к жене Кейта. Ему хотелось завладеть ее телом. Хотелось никогда больше ее не видеть. Он ощущал презрение и непонятную отстраненность, чувствовал себя соучастником: словно знал то, чего знать не должен, — и как-то странно чувствовал, что она тоже это знает. Почти уговорил себя, что стоит только их части переправиться за море, как он, к радости своей, вовсе перестанет думать о ней. И все же продолжал думать о ней беспрерывно.

Он мало ел, худел и, казалось, выказывал до того странное рвение, что тот самый командир роты, в равной мере пораженный и слегка обеспокоенный необычайным рвением Дорриго, дал ему особый двадцатичетырехчасовой отпуск. Элла обещала когда-то приехать в Аделаиду, если он получит краткосрочную увольнительную и у него не будет времени приехать в Мельбурн. И хотя он целиком и полностью намеревался провести отпуск с ней, даже ресторан выбрал, куда ее поведет, как-то так вышло, что в своих многочисленных письмах и открытках Элле он ни разу не упомянул, что вот-вот отправится в отпуск. Когда срок его стал совсем близок, он рассудил, что было бы несправедливо ставить ее в известность, поскольку для нее будет слишком поздно все собрать и приготовить, а потому ей достанется одно лишь тяжкое разочарование. Решив же и дальше выдерживать молчание и даже дав торжественную клятву никогда больше не возвращаться в «Король Корнуолла», он позвонил дяде Кейту, который пригласил его приехать с ночевкой, заявив, что «моя Эми» (так он назвал свою жену) будет так же рада увидеть его, как и сам Кейт.

«Моя Эми, — подумал Дорриго Эванс, вешая

трубку. — Моя Эми».

8

После игры в карты с австралийскими офицерами майор Накамура погрузился в глубокий, запойный сон. В своих странных снах он оказывался затерянным в темной комнате, ощупывал слоновью ногу и пытался представить, что за комнату могли бы поддерживать такие столбы. Была еще чудовищная прорва из прорастающих усиков каких-то ползучих растений и пожухлых листьев, повязкой улегшихся ему на глаза и сделавших его незрячим. Повсюду вокруг он ощущал жизнь, только нигде жизнь так и не стала для него понятной. Все в той комнате было неожиданным и варварским: будь то нескончаемые джунгли или почти голые пленники-австралийцы, которые — он знал — окружали его оравой громадных, волосатых, грозящих обезьян.

Что это была за комната? Как ему выбраться? Зеленая слепящая повязка теперь обернулась вокруг горла, душила его. Сердце гулко колотилось. Он чувствовал вкус медной ложки у себя в пересохшем рту, застарелый пот покрывал спину липким холодом, ребра нестерпимо чесались, даже он сам ощущал вонь тухлятины. Его била

дрожь, трясло, когда он понял, что кто-то трясет его, стараясь разбудить.

— Что?! — заорал Накамура.

В последнее время он спал плохо, а потому, разбуженный вот так внезапно посреди ночи, пришел в замешательство и разозлился. Запах муссонного дождя он учуял еще раньше, чем услышал, как тот снаружи замолотил каплями по земле и как пробивался сквозь него раздраженный голос лейтенанта Фукухары, произносящий его имя.

— Что еще? — опять заорал Накамура.

Он раскрыл глаза на прыгающие тени и дрожание света и принялся чесаться. Мокрый прорезиненный плащ с капюшоном образовывал черный блестящий конус, поднимавшийся от самых ног до прячущегося в тени лица Фукухары, опрятного, как всегда, даже в самых затруднительных обстоятельствах, украшенного коротким ежиком волос, очками в роговой оправе с капельками воды на стеклах, а еще усиками. Позади лейтенанта с керосиновой лампой в руках стоял Томокава; вымокшая походная фуражка со спущенными на шею ушами еще больше делала голову капрала похожей на редьку.

— Капрал Томокава нес службу в карауле,

сэр, — докладывал Фукухара, — когда водитель грузовика и полковник из Девятого железнодорожного полка пешком явились в лагерь.

Накамура протер глаза, потом с такой силой чесанул локоть, что содрал коросту, и локоть принялся кровоточить. Видеть он не видел, но знал, что весь усыпан клещами. Кусачими клещами. Клещи кусали его под мышками, кусали спину, грудную клетку, кусали в паху — повсюду. Он чесался, не переставая, но клещи лишь вгрызались еще глубже. Клещи были очень маленькими. Клещи были до того маленькими, что как-то умудрялись забираться под кожу и, невидимые, там продолжать свое кусачее дело.

— Томокава! — заорал майор. — Ты их видишь? Видишь?

Он поднял руку повыше.

Томокава бросил украдкой взгляд на Фукухару, шагнул вперед, поднял лампу, осмотрел руку Накамуры. И отступил назад.

— Никак нет, сэр.

– Клещи!

— Никак нет, сэр.

До того, подлые, малы, что никому другому их не видно. Это уж в их дьявольской природе. Накамура точно не знал, как они забирались ему

под кожу, но подозревал, что клещи откладывают яйца ему в поры, которые под кожей и высиживаются, там они нарождаются, там растут, там и мрут. Приходится их оттуда вычесывать. Сиамские клещи, неизвестные науке.

Еще раньше он велел капралу Томокаве осмотреть его тело с лупой в руках, так все равно этот остолоп твердил, что ничего не видит. Накамура знал, что капрал врет. Фукухара утверждал, что таких клещей не существует, что чесотка — это побочный эффект приема филопона[33]. Откуда, к чертям, ему знать? В этих джунглях столько разной погани, какую еще никто никогда прежде не видел и на себе не испытывал. Когда-нибудь наука обнаружит и назовет этого клеща, а вот ему приходится уже сейчас их терпеть, как приходится сносить и многое другое.

— Полковник Кота доставил свежие распоряжения командования Железнодорожных войск для вручения вам, прежде чем он проследует дальше к перевалу Трех Пагод, — продолжил доклад Фукухара. — Он в столовой принимает пищу. Он приказал поставить вас в известность в кратчайший срок.

---

[33] Примечания: 33

Кристаллический метамфетамин, наркотик, получивший прозвище «японский убийца».

Накамура повел дрожащим указательным пальцем в сторону маленького походного столика у его раскладушки и буркнул:

— Сябу[34].

Томокава отвел керосиновую лампу от лица командира и стал копаться в закопченных тенях, метавшихся взад-вперед над техническими чертежами, отчетами и расписаниями работ, наваленными на столе, многие из них были заляпаны темными пятнами.

Фукухара, энергичный, молодой, с шеей, как у баклана, Фукухара, чье рвение все больше и больше гнетуще донимало Накамуру, все говорил и говорил: про то, что за десять дней это первый грузовик, добравшийся по почти непролазной дороге, про то, что при таких дождях он скорее всего окажется последним до самого…

— Ясно, ясно, — морщился Накамуру. — Сябу!

— Грузовик застрял в трех километрах отсюда, и полковник Кота обеспокоен, как бы местные не разворовали из грузовика припасы, которые в нем едут, — завершил доклад лейтенант Фукухара.

— Сябу! — шипел Накамура. — *Сябу!*

---

[34] Примечания: 34

Сябу — жаргонное название метамфетамина в Японии и ряде других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Томокава заметил пузырек с филопоном на кресле рядом со столом. Он передал его Накамуре, который в последнее время держался на предназначенном для нужд армии метамфетамине — и мало на чем еще. Накамура опрокинул пузырек и встряхнул. Ничего не вышло. Накамура уселся на свою армейскую раскладушку, не сводя глаз с пустого пузырька в руке.

— «Для поднятия боевого духа», — глухо выговорил Накамура, читая армейское предписание на этикетке пузырька с филопоном. Он понимал, что прежде всего ему надо выспаться, а еще понимал, что теперь это невозможно, предстоит оставаться на ногах всю ночь, чтобы встретиться с Котой и организовать спасение грузовика, а еще и как-то закончить участок железной дороги в немыслимые сроки, которые установил штаб. Ему был необходим сябу.

Неожиданно резким движением он швырнул пузырек из-под филопона в открытый дверной проем хижины, где тот, как и многое другое, пропал без звука в пустоте из грязи, джунглей и бесконечной ночи.

— Капрал Томокава!

— Есть, сэр! — отчеканил капрал. Ни тот ни другой не произнесли больше ничего, просто

Томокава направился из палатки во тьму, слегка косолапя на коротких ножках. Накамура потер лоб.

Он подумал, какую же волю приходится ему закалять каждый день, чтобы добиваться необходимого продвижения в строительстве железной дороги. Вначале, когда Верховное командование приказало построить железную дорогу, соединяющую Сиам с Бирмой, дело обстояло иначе. Тогда Накамура, офицер Пятого железнодорожного полка ИАЯ, приходил в возбуждение от такой перспективы. До войны англичане с американцами рассматривали задачу постройки как раз такой железной дороги, и те и другие признали ее невыполнимой. Японское Высшее командование приказало проложить ее в кратчайший возможный срок. Накамуре доставляло огромное удовольствие его малая, но существенная роль в этом историческом свершении, громадна была его гордость тем, что жизнь его делалась частью судьбы империи и государства.

Зато когда в марте 1943 года Накамура проделал путь в самое сердце этой таинственной страны, он впервые оказался вдалеке от людских толп и городов, которые прежде формировали его вдали от тех странных правил послушания,

которыми жили люди в таких местах. Они были инженерами, солдатами и охранниками, им был присущ армейский кодекс поведения, они были воплощением повелений императора, они были японским духом, осуществляющим планы, мечты и волю. Они были Японией. Только их было немного, а чернорабочих-кули и военнопленных — множество, а джунгли поглощали их понемногу все глубже каждый день.

Порождение и принадлежность толпы, Накамура все сильнее ощущал, как здесь его жизнь обращается в странное и нежданное одиночество. И это одиночество доставляло ему все больше и больше тревог. Дабы положить конец тревожным чувствам, он с головой ушел в работу, и все же чем упорнее работал, тем больше работа превращалась в какое-то безумное уравнение. С приходом сезона дождей река вышла из берегов, вода поднялась и стремительно понеслась, увлекая множество вывороченных деревьев, стало слишком опасно перевозить тяжелые грузы вверх по реке, дороги же (как своими глазами убедился полковник Кота) по большей части сделались непроезжими, поставки упали почти до нуля. Не было техники, одни ручные инструменты, да и те — самого плохого качества. Поначалу неотку-

да было взять мало-мальски подходящее число военнопленных для выполнения работ, а теперь узники, те, кто еще не умер или не умирал, были в отвратительном состоянии. А тут еще вдобавок ко всему с неделю назад на голову свалилась холера, и даже избавление от мертвых тел становилось проблемой, для разрешения которой приходилось отвлекать годных к работе от железнодорожного строительства. Стало еще меньше еды, и не осталось почти никаких медикаментов, однако командование Железнодорожных войск ожидало, что делать он будет еще больше.

Накамура работал по японским картам, японским планам, японским схемам и японским техническим чертежам для внедрения японского порядка и японского смысла в бессмысленные и лишенные цели джунгли, в больных и умирающих военнопленных: вихрь без видимой причины и следствия, растянувшийся зеленый водоворот, бурлящий все быстрее и быстрее. А сам водоворот пополняли приказы и сами вытекали из него, нескончаемые потоки появляющихся и исчезающих ромуся[35] и военнопленных, такие

[35] Примечания: 35

Чернорабочие (*яп.*), использовавшиеся на принудительных работах, выходцы из азиатских стран, оккупированных японскими войсками во время Второй мировой войны.

же негаданные и такие же непостижимые, как река Квай или холерный вибрион. Временами какой-нибудь случайный японский офицер заезжал скоротать вечерок за выпивкой, сплетнями и новостями, и тогда мужчины подкрепляли друг друга россказнями про японскую честь, несокрушимый японский дух и неминуемую японскую победу. Потом и они исчезали в своем собственном аду где-нибудь на другом участке той постоянно удлинявшейся железной линии безумия.

Сырой ветер пронесся по хижине, ероша пропитанные влагой бумаги на походном столике. Накамура глянул на светящиеся стрелки часов. Три ноль-ноль. Два с половиной часа до подъема. Одолевало беспокойство, клещи злобствовали все больше, и Накамура все яростнее расчесывал себе грудь ногтями, пока Фукухара дожидался его приказаний. Майор не сказал ничего, пока капрал Томокава с низким поклоном и благоговением, присущим ему при всех его действиях по приказу или во имя тех, кто им командовал, не возвратился и не протянул, согнувшись в поклоне, полный пузырек филопона.

Схватив пузырек, Накамура проглотил сразу четыре таблетки. После второго приступа маля-

рии, когда ему, все еще слабому, приходилось надзирать за исполнением работ, он привык принимать по нескольку таблеток, чтобы оставаться на ногах. Теперь сябу сделался для него важнее еды. Построить такую железную дорогу… без техники да сквозь чащобу… задача превыше человеческих сил. Распаленный сябу, он обретал способность с удвоенным рвением вернуться к ее исполнению, переходя от одного изнурительного дня к следующему. Он опустил пузырек и поднял взгляд, убеждаясь, что оба подчиненных смотрят на него.

— Филопон помогает мне справиться с малярией, — сказал Накамура, вдруг ощутив неловкость. — Очень помогает. И после него эти чертовы клещи перестают кусаться.

Уже чувствуя, как оцепенение раннего утра, словно по волшебству, растворяется во вновь обретенных бодрости и силе, Накамура стал пристально глядеть на двух своих подчиненных, пока те не опустили глаза в пол.

— Филопон — все что угодно, только не опиат, — заявил Накамура. — К опиатам привержены только неполноценные расы вроде китайцев, европейцев и индусов.

Фукухара согласно кивнул. Этот Фукухара та-

кой зануда!

— Мы изобрели филопон, — произнес Фукухара.

— Да, — кивнул Накамура.

— Филопон — это выражение японского духа.

— Да, — кивнул Накамура.

Он встал и только тут заметил, что даже не удосужился раздеться перед тем, как лечь в постель. Даже его грязные обмотки все так же туго охватывали икры, хотя подвязка на одной ноге развязалась.

— Императорская японская армия снабжает нас сябу, чтобы помочь работать на империю, — подал голос Томогава.

— Да-да, — кивнул Накамура и обратился к Фукухаре: — Возьмите двадцать заключенных, отправляйтесь туда, к грузовику, и вытащите его.

— Сейчас?

— Разумеется, *сейчас*, — посуровел Накамура. — Надо будет — толкайте его руками до самого лагеря.

— А потом? — спросил Фукухара. — Даем им выходной день?

— Потом они отправятся и выполнят положенную на день работу на железной дороге, — сказал

Накамура. — Вы на ногах, я на ногах, мы не отдыхаем.

Позывы к чесотке у Накамуры стали стихать. Член в брюках словно распирало. Это давало приятное ощущение силы. Фукухара повернулся кругом, собираясь уйти, но Накамура окликнул его по имени:

— Вы инженер. Вы понимаете, что должны относиться ко всем людям как к машинам на службе у императора.

Накамура чувствовал, как сябу обостряет его чувства, дает ему силу там, где раньше он ощущал себя слабым, решительность там, где он так часто предавался сомнениям. Сябу избавил от страха. Дал необходимую дистанцию, чтобы разглядеть свои действия. Поддерживал в нем ясность мысли и твердость.

— А если машины барахлят, — наставлял Накамура, — если запустить их в работу можно только при неустанном применении силы… тогда, что ж, используйте силу.

Клещи, сообразил он, наконец-то перестали кусаться.

9

Шедший ему навстречу человек казался громоздким наброском чего-то несуществующего, силуэтом, и к этому несуществующему Дорриго Эванс в данный момент протягивал руку, приветствуя:

— Вы, должно быть, дядя Кейт.

Полуденное солнце сияло вовсю, грузное тело загораживало свет, а голова скрывалась в битумной тени его «акубры»[36], на вид обладателю тела было чуть больше сорока, от внешности его веяло угрозой. Что-то делало его похожим на ненадежный телеграфный столб. При этом ничто не было таким, каким виделось, все словно проглядывало сквозь старую оконную раму: искривленным, склоненным, дрожащим в волнах жары, от которой, казалось, по укатанной битумом дороге, бетонным бордюрам, пыли Уоррадейльского плац-парада, стальным полукружьям ниссеновских бараков, перед которыми и поджидал

[36] Примечания: 36

Изготовленная, как правило, из меха кролика шляпа с высокой тульей и широкими по бокам подогнутыми кверху полями. Является приметой бытовой культуры австралийцев, особенно в сельской местности.

Дорриго Эванс, проходила рябь.

Оказавшись в авто своего дяди (последняя модель «Форда»-кабриолета), Дорриго Эванс сразу понял, насколько велик телом его дядя Кейт и насколько лицо его принадлежит человеку, которому, наверное, лет пятьдесят. В машине с ним находилась маленькая собачка, джек-рассел терьер, которую дядя называл Мисс Беатрис. Собачка, казалось, затем и существовала, чтобы подчеркнуть громадность Кейта Мэлвани: широченную спину, толстенные в бедрах ноги и громадные ступни — за которым тяжко дышащая собачонка казалась небрежно брошенным куском замши.

Было слишком жарко, чтобы курить, но он все равно курил трубку. Дым, выходя, оплетал странную улыбку, которая, как позже разобрался Дорриго, была застывшей, призванной показать, что мир веселее, невзирая на все доказательства противного, какие предъявляла жизнь. Все это могло бы и испугать, не будь у Кейта слегка писклявого голоса, напоминавшего Дорриго ломкий голос подростка. В таком голосе великого было не больше, чем в нестерпимой аделаидской жаре. Дорриго Эвансу стало понятно, что Кейт Мэлвани — это свой особый мир, замкнутый, и что вра-

щается он вокруг трех солнц: гостиницы, своего места старейшины в местном муниципальном совете и жены.

Пока ехали до побережья, дядя сокрушался по поводу гостиничных дел, ни дать ни взять, по ощущению Дорриго, как это делают обожающие то, по поводу чего больше всего и сокрушаются. Мотористы (дядя выговаривал это слово с придыхательными свистящими «с») — это и его заработок, и его погибель.

— Эти *моторисссссты* только и знай что скулят про туалеты и еду, а сами в один день заваливаются на вечеринку по восемьдесят человек разом, и каждый рассчитывает, что его накормят, зато на следующее воскресенье тебе дай бог повезет продать какое-нибудь афганское печеньице в два с половиной пенса. Они всегда скулят, эти *моторисссты,* по своим автомобильным ассоциациям да по королевским чертовым автомобильным клубам, про то, в каком состоянии у тебя туалетные комнаты да какое грязное мыло. Постоянно скулят, орава на колесах. Хуже их только разъездные торговцы. Да вот нынче такой разъездной захотел снять номер под контору для отпуска снотворного и аспирина разных видов, только, подозреваю я, тут дело в сексе.

— В сексе?

— Ну, знаешь, такие штуки про то, как там у женщин все устроено, про роды и чтоб детей не было, всякие французские письмеца да английские свободных взглядов брошюрки, ну, ты знаешь, что за советы.

— Да, — проговорил племянник настолько неубедительно, что дядя почувствовал необходимость втолковать: что бы другие ни думали про «Короля Корнуолла», моральным омутом гостиница отродясь не бывала.

— Я, положим, человек широких взглядов, Дорриго, — продолжал Кейт Мэлвани, — только я не желаю, чтобы «Король Корнуолла» славился в мельбурнской «Истине»[37] и на слушаниях в аделаидских судах как *то самое* место любовных свиданий в Аделаиде. Я не ханжа, мне не по нраву те американские отели, где приезжих заставляют держать дверь номера открытой, если в нем находится леди, не являющаяся женой тому, кто снял номер.

— Знаешь, — сказал он вдруг, проникаясь темой супружеской неверности и проживания в гостиницах, — в Америке ты рискуешь нарваться

---

[37] Примечания: 37

The «Truth» — газетный холдинг, флагман желтой прессы в Австралии и Новой Зеландии.

на такое вот объявление, размещенное в твоем родном городе: «Вниманию всех, кого это касается! М-ра Х попросили убраться из «Вистерии» в Уотстории за то, что он принимал у себя в номере леди, не являвшуюся его женой». Представляешь? То есть, я говорю, сами позволяют людям встречаться в своих номерах, а потом шантажируют их такими вот объявлениями. Там отелями управляют так же, как Сталин управляет чертовым СССР.

Он продолжал разговор, перейдя к семье Дорриго, но его сведения (почерпнутые из той малости, о чем сообщал Том в поздравительных открытках к Рождеству) по большей части устарели, и лишь прыжок Мисс Беатрис на свистящий поток воздуха, из-за чего она чуть не вывалилась за окошко, спас дядю от постыдного замешательства, когда выяснилось, что мать Дорриго умерла. Он сидел в машине, подавшись вперед, навалившись на руль, точно сваленный вихрем ствол дерева, крупные руки без конца ходили вверх-вниз по рулевому колесу, словно оно было хрустальным шаром толкователя судеб, а он вечно выискивал что-то на протяженных, прямых, ровных дорогах Аделаиды, какую-нибудь иллюзию, которая, возможно, помогла бы ему жить.

Увы, движение на шоссе было редким и — ничего, кроме прямоты, ровности да искажающих все колебаний воздуха от жары. Кейт Мэлвани говорил без умолку, будто боялся, что повиснет молчание или что Дорриго примется о чем-то расспрашивать, а потому сам задавал Дорриго вопросы, на которые сам же сразу и отвечал. Очень часто разговор возвращался к битве, которую он как старейшина вел в местном совете, по поводу предложения мэра устроить систему канализации. Дело кончилось тем, что Дорриго принялся глазеть в окошко, высунув вспотевшую руку под поток воздуха снаружи, а дядя Кейт, не обращая внимания на столь явное отсутствие интереса, продолжал задавать вопросы, на которые сам тут же и отвечал, причем каждый ответ сопровождал под конец улыбкой, которая, казалось, не допускала никакого несогласия. Время от времени, наподобие соло кларнета, звучало в речи дяди имя Эми.

— Современная женщина. Очень современная. В приличной форме. Работает как зверь. Впрочем, война. Сейчас все по-другому. Она все рушит, эта война. До войны такого и не видели. Так ведь?

— Видите ли…

— Нет, думаю, не видели. Блицкриг не только

до Лондона добирается. Нет. То, что еще год назад вызывало скандал, нынче никто лишний раз и вспоминать не хочет. Я человек современный. Но я так признателен, что у меня какая никакая, а семья есть, и я могу держать жену в приличной компании.

Несмотря на застывшую улыбку, дядя казался совершенно жалким.

— Тут вечер провела с рыжеволосой одной, Типпи зовут. Не выношу ее.

— Типпи?

— Ну да, Типпи… знаешь ее?

— Видите ли…

— Я тебя умоляю! Это ж имя для волнистого попугайчика. А у меня эта чертова муниципальная конференция, и мне уехать придется на ночь. В Гоулер, несколько часов езды. Нынешним вечером. Такая жалость, что я не смогу с тобой побыть. Неожиданно получилось: мэру нужно, чтобы я представлял нас. С чего?

— По-видимому…

— Понятия не имею, с чего. Во всяком случае, Эми о тебе позаботится. И, буду откровенен, я рад, что ты присмотришь за Эми. Не возражаешь? — Ответ значения не имел, и в конце концов Дорриго бросил отвечать. — Что сказать, уверен,

ты хотя бы немного отдохнешь, — говорил Кейт Мэлвани. — И добрая постель — все лучше армейской койки.

В «Короле Корнуолла» Кейт отвел Дорриго в номер на четвертом этаже. Поднимаясь по широкой лестнице, они встретили шедшую вниз Эми с мешком грязного постельного белья. Дорриго ощутил странный восторг, столь же неуместный, сколь и неоспоримый. Она глянула на мужа: взгляд, в котором Дорриго уловил всю нечистую смесь вещей интимных, обычно невидимых миру: совместное спанье, запахи, звуки, привычки, умиляющие и обескураживающие, радости и печали, малое и большое — тот незамысловатый штукатурный раствор, который в конце концов кроет в два слоя, как в один.

Волосы у нее были убраны сзади в хвостик, рубиново-золотистый в свете внутреннего дворика. Пока его представляли, успело утвердиться ощущение соучастия, еще до того, как появилась замешанность хоть в чем-то. С одного взгляда Дорриго заметил, как неестественно разгорается ее лицо, выбившийся локон мухой-наживкой для форели улегся впереди ее правого уха, и он понял, что они молчаливо договорились пока ничего не говорить про книжный магазин.

— Так, Эми, — сказал Кейт, — надеюсь, ты позаботилась, чтоб чем-то развлечь нашего гостя.

Она пожала плечами, а он ощутил, как слегка перекатились под васильковой кофтой ее груди.

— Вам нравится Вивьен Ли? — спросила Эми. — В городе идет новый фильм с Вивьен Ли, называется «Мост Ватерлоо». Вы бы не хотели…

— Я его видел, — сказал Дорриго, который ничего такого не делал, и вдруг подумал, до чего ж он мерзкий человек, аж вся голова гудит. Испугался побыть с нею, что ли? Или пытался доказать свою власть над нею?

— Вот позорище, — сокрушался Кейт. — Только, уверен, это не единственное кино.

Дорриго уже самого себя не понимал, не понимал, и зачем он брякнул такое. Но ведь брякнул. А потом вдруг, так же неожиданно, услышал, как сам произнес:

— Но я бы с удовольствием посмотрел его еще раз.

Оттолкнул — притянул: вот шаблон, какому нужно следовать во множестве случаев.

Эми еще раз пожала плечами, и Дорриго Эванс с трудом отвел взгляд от нее и направил его вниз по лестнице, пока она вновь не попала в поле его зрения, спускаясь этажом ниже: пальцы

ее вытянутой руки порхали по лакированным перилам. Взгляд его маятником ходил за ее раскачивавшимся хвостиком, пока она продолжала спускаться в пустоту.

10

Многого ожидал в тот вечер Дорриго Эванс, но никак не то, что его повезут в ночной клуб возле Хиндли-стрит. Она сказала, раз он это фильм уже видел, то будет знать, что дальше случится, а от этого все удовольствие насмарку. Он был в форме, она надела восточную абрикосовую рубашку и свободные черные шелковые брюки. В результате получилось нечто переливчатое. Ее тело виделось ему таким четким, таким сильным, двигаясь, она скользила.

— Смысл в том, чтобы никогда не знать заранее, — сказала Эми. — Вы так не думаете?

Он не думал. Не знал. Ночной клуб размещался в большом зале, слабо освещенном, со множеством поднятых занавесок, заполненном тенями и военными в форме. Дорриго уловил какой-то дрожжевой запах, слегка пьянящий аромат весеннего разнотравья. Они пили мартини, играл джаз-оркестр. В воздухе носилось какое-то непонятное возбуждение. Через некоторое время огни в зале были погашены, все оркестранты зажгли свечу у себя на пюпитрах, а официанты зажгли свечи на столиках.

— Зачем свечи? — спросил Дорриго.

— Увидите, — улыбнулась Эми.

Она заговорила о себе. Ей двадцать четыре, на три года моложе, чем он. За несколько лет до этого переехала из Сиднея, где работала в универсальном магазине, и познакомилась с Кейтом, благо работала барменшей в «Короле Корнуолла». Дорриго рассказал ей про Эллу, каждое его слово звучало и защитой от всего, что он действительно чувствовал, и предательством всего, чем он был. А потом он отбросил эти чувства.

Дорриго убедил себя, что между ним и Эми непреодолимая преграда. Их дружеские отношения подпирались, с одной стороны, столпом ее мужа, его дяди, а с другой — его предстоящим обручением с Эллой. И в этом состояла его великая защищенность, которая позволяла ему чувствовать себя с Эми свободно, возможно, даже более свободно, чем он чувствовал бы себя в ином случае.

С нею он почувствовал себя необъяснимо счастливым, каким уже не помнил себя очень и очень давно. Он следил за тенями от пламени свечей, как прыгали они по лицу, которое привлекало его все больше и больше. Странно было, что когда он впервые встретил ее в книжном магазине, тогда

не внешность так его впечатлила. Зато теперь не представлял женщины более прекрасной. Он наслаждался близостью к Эми, даже тем, как завистливо, алчуще смотрят другие мужчины на ту, кого ошибочно считали его женщиной. Разумеется, увещевал он себя, она не его, но… ощущение не было неприятным. Оно ему льстило. Кончилось тем, что они разговорились с какими-то морскими офицерами, которые попозже перебрались на дальний конец стола и включились в свои разговоры, оставив парочку наедине. Эми наклонилась вперед и накрыла его руку своей. Он потупил взор, не совсем уверенный в том, что это значит. Почувствовал себя чудовищно неловко. Но руку не убрал.

— Это что? — спросил Дорриго.

И понял, что она тоже смотрит на их руки.

— Ничего, — слегка повела она плечами.

Ее касание словно било его током, сковывало всего, среди шума, дыма и гама это прикосновение было единственным, о чем он мог думать. Вселенная и этот мир, его жизнь и его тело — все сошлось в одной-единственной точке соприкосновения. Вместе с нею он не сводил глаз с их рук. И все же полагал, что это ничего не значит. Потому как это должно было ничего не значить.

Ее рука — на его. Его — в ее. Потому как верить во что-то другое было ошибкой. Уже завтра он снова станет ее племянником, который скоро обручится, а она — женой его дяди. «Но ведь это должно что-то значить!» — отчаянно хотелось ему думать…

— Ничего? — услышал он, как сам повторил ее ответ.

Он попытался успокоиться, но никак не мог отделаться от волнения, которое вызывало ее прикосновение. Указательным пальцем она прошлась по тыльной стороне его ладони.

— Я Кейтова, — произнесла она.

И продолжала рассеянно смотреть на его руку.

— Да, — сказал он.

Только она на самом деле не слушала. А следила за своим пальцем, за его длинной тенью, а он следил за ней, понимая, что она на самом деле не слушает.

— Да, — сказал он.

Он ощущал ее касание, и это ощущение прошивало все его тело, ни о чем другом он думать не мог.

— А ты, — произнесла она, — ты мой.

Пораженный, он поднял взгляд. Во второй раз она застала его совершенно врасплох. И во

второй раз он непонятно чего испугался, лишь очень медленно до него дошло, что она совсем не насмешничает над ним, что она искренна в своей откровенности. И все, что это означало, повергло его в ужас. Но она по-прежнему смотрела на свой палец, на их руки между полупустыми бокалами, на круги, какие чертила.

— Что?

И только тут она подняла взгляд.

— Я имею в виду, — заговорила она, — я говорю, ты — Эллин. Кроме нынешнего вечера. Нынче ты мой. — Она тихонько засмеялась, словно бы это ничего не значило. — Как случайный рыцарь. — Подняв руку, она махнула ею у себя за ухом, отказываясь этим жестом от сказанного. — Ты понимаешь, что я имею в виду.

Он, однако, не понимал. Вовсе никакого понятия не имел. И его охватили и восторг, и страх одновременно, что сказанное ею ничего не значит, что оно означает все. Она была неуловима. Он был в растерянности.

Официанты принялись гасить свечи, джаз грянул «За дружбу старую»[38] в темпе вальса. Мелодия лилась в сознание памятью о том, как

---

[38] Примечания: 38

Песня на слова Р. Бернса, ставшая традиционно-обрядовой для жителей Британской империи.

вместе пришли и как разошлись, круги совершались, только чтоб оказаться оторванными друг от друга. Всякий раз под конец нескольких тактов кто-то из музыкантов вставал, наклонялся и задувал свечу перед собой.

Дорриго понял, что танцует с Эми, и когда место для танцев неспешно погрузилось в темноту, она почему-то прильнула головой к его плечу. Ее тело, казалось, вовлекало его в податливое, совместное покачивание. Когда же тела их понемногу слились, он опять твердил себе, мол, это ничего, ничего это не значит и ни к чему не приведет.

— Что ты там бормочешь? — спросила она.

— Ничего, — шепнул он.

Пока они кружили, их прильнувшие друг к другу тела пребывали в странном покое, который к тому же отзывался самым жутким предвкушением и возбуждением. Он ощущал ее дыхание: легчайшее дуновение на своей шее.

Задута последняя свеча, бар погрузился во мрак, занавески неожиданно спали с окон и — среди восторженных ахов посетителей, затаивших дыхание при виде чуда, — полная луна хлынула в зал. Вальс завершал кружение, и Дорриго воспринял все представление как неосознанную ностальгию по будущему, которого, как боялись

оба, у них никогда не будет, по ощущению завтра, уже предсказанного и лишь сегодня вечером способного измениться.

Отливающий ртутью свет и синие тени, пары, неспешно разделяющиеся и аплодирующие. На миг их взгляды встретились, и он понял, что может поцеловать ее, что ему всего-то и нужно, что слегка податься вперед в ее тень, — и он пропал навеки. Тут, однако, он вспомнил, кто они, и как ни в чем не бывало спросил, не хочет ли она еще выпить.

— Отвези меня домой, — сказала она.

11

В гостинице она привела его в комнаты, где жила с Кейтом. Он сел в красновато-коричневое кресло. От салфетки на спинке кресла пахло бриллиантином Кейта, обивка была пропитана запахом его трубочного табака. Эми завела граммофон, поставила пластинку, сказав, что хочет, чтоб он послушал, опустила иголку и присела на подлокотник кресла Дорриго. Зазвучали перебираемые клавиши пианино, вступил и утих сакс вместе с бризом с океана, колыхавшим тюлевые занавески, и голос запел:

Бряцанье пианино у соседей за стеной,
Признанья-запинанья, открывшие тебе,
Что высказать хотело мое сердце,
На ярмарке качели расписные —
Из глупых этих мелочей
Вся память о тебе[39].

— Это Лесли Хатчинсон, — пояснила она. —

[39] Примечания: 39

Куплет из популярной песни «Глупые эти мелочи» («Моя память о тебе»), написанной Г. Линком и Х. Марвеллом в 1935 году для лондонского ревю «Разнеси это по всему миру». С тех пор и доныне песня входит в репертуар многих знаменитых исполнителей.

Знаешь, он как будто *в близких отношениях* с дамами из королевской семьи.

— Близких отношениях?

Она улыбнулась.

— Да, — выговорила очень мягко, глядя прямо на него. — В *близких*.

И снова засмеялась. Смех у нее шел прямо из горла, и он подумал, до чего же ему нравится ощущать свою полноценность, от которой так и веяло широтой души.

Песня кончилась. Он встал и направился к выходу. Она снова поставила пластинку. Он попрощался. У двери склонился, вежливо поцеловал ее в щеку, а когда отстранился, она уткнулась лицом ему в шею. Он ждал, когда она отведет голову.

— Тебе надо идти, — услышал он ее шепот. Но она не отнимала лица, прижатого к его телу. Граммофонная иголка зашипела, заскрежетала, крутясь на краю пластинки.

— Да, — сказал он.

Он ждал, но ничего не происходило.

Иголка застряла на пустой дорожке, оглашая ночь скрежетом пустых оборотов.

— Да, — сказал он.

Подождал, но она не шелохнулась. Через неко-

торое время он слегка обнял ее одной рукой. Она не отпрянула.

— Скоро, — сказал он.

Затаил дыхание, пока не почувствовал, как она чуть-чуть, едва ощутимо прижалась к нему. Он не шевельнулся.

— Эми?

— Да?

Он не смел ответить. Выдохнул. Переступил с ноги на ногу, сохраняя равновесие. Он понятия не имел, что говорить, опасаясь, как бы сказанное что-то еще не нарушило этого хрупкого уравнения. Он позволил руке скользнуть вниз, очерчивая ее талию, ждал, что она оттолкнет ее. Она же лишь прошептала:

— Ами, *amie*. Подруга по-французски.

Другая его рука отыскала пленительный изгиб ее ягодиц.

— Моя мама, — сказала она, — учила меня этому, когда я была маленькой.

И эту руку она тоже не оттолкнула.

— Эми, *amie, amour*, звала она меня когда-то. Эми, подруга, любовь.

— Выигрышная трайфекта[40], — сказал Дор-

[40] Примечания: 40

Термин тотализатора скачек, ставка на трех участников одного забега с указанием последовательности, в которой они придут к финишу.

риго.

Она потянулась губами к его шее. Он ощутил ее дыхание на своей коже. Чувствовал ее тело, слитое с его, теперь уже накрепко, и смутился, сообразив, что она, должно быть, и его чувствует тоже. Он не смел ни туда ни сюда двинуться, лишь бы не развеять эти чары. Он не понимал, что это значит и что следует делать. И не осмеливался ее поцеловать.

12

Дорриго почувствовал, как теплая рука ползет вверх по его ноге, и резко встрепенулся, проснувшись. Несколько секунд понадобилось, чтобы понять: это солнце с утра пораньше гуляет по его номеру. Под дверью он нашел записку от Эми, та сообщала, что днем будет занята гостиничными делами (предстоял дневной свадебный обед), так что не сможет с ним проститься.

Он обернулся полотенцем и вышел на высокий балкон, закурил сигарету, сел и сквозь викторианские арки стал смотреть туда, где Южный океан, бесконечный и открытый, зыбко колыхался перед ним.

«Ничего не произошло», — сказала она, когда он уходил из ее комнат. Ее точные слова. Они держали друг друга в объятиях, а она сказала, что ничего не произошло. Как это могло быть чем-то для него? Помимо объятий ничего и не произошло. В этой мере — все правда. Ничего не произошло и в книжном магазине. Объятие? Люди на похоронах и не такое делают.

— Эми, *amie, amour*, — прошептал он вполголоса.

Ничего не произошло, тем не менее все изменилось.

Он падал.

Он слушал, как бьются волны и шуршит песок, и падал. Легкий бриз поднялся из длинных теней раннего утра, а он все падал. Падал и падал, и это ощущалось дикой свободой. Что бы это ни было, оно так же непознаваемо и так же озадачивает, как она сама. Это-то он понимал. Но не знал, чем это может закончиться.

Он встал — возбужденный, сбитый с толку, решительный. Выбросил сигарету и пошел в номер одеваться. Ничего не произошло, и тем не менее он знал: что-то пришло в движение.

13

Дорриго вернулся в армейский лагерь, к жизни, подчиненной порядку и дисциплине. Только для него такая жизнь теперь не имела смысла. Она с трудом воспринималась как реальность. Люди приходили, разговаривали, люди говорили много всякой всячины, и ничто из этого не вызывало интереса. Говорили о Гитлере, Сталине, Северной Африке, блицкриге. Никто не говорил об Эми. Говорили о материальном снабжении, стратегии, картах, расписаниях, моральном духе, Муссолини, Черчилле, Гиммлере. А его так и тянуло выкрикнуть: «Эми! *Amie! Amour!*» Хотелось схватить людей за шиворот и рассказать им, что произошло, как он тоскует по ней, что она делает с его чувствами.

Однако как бы ему ни хотелось, чтобы все услышали, он не мог допустить, чтоб хоть кто-то узнал. Общие нудные разговоры, общее неведение об Эми и ее страсти к нему, а его — к ней были гарантией деликатности. День, когда разговоры перешли бы на него с Эми, стал бы днем, когда принадлежащая только им страсть сделалась бы идущей у всех на глазах трагедией.

Он читал книги. Ни одна из них ему не нравилась. На их страницах он выискивал хоть что-то про Эми. Ее там не было. Он ходил на вечеринки. Они нагоняли скуку. Он ходил по улицам, вглядываясь в незнакомые лица. И там Эми не было. Мир со всеми его бесконечными чудесами наводил на него тоску. В своей жизни он выискивал любое место для Эми. Только Эми нигде нельзя было найти. И еще он понимал: Эми замужем за его дядей, и его страсть — безумие, у нее нет никакого будущего, что бы это ни было, с этим следует покончить, и именно он должен положить этому конец. Он рассуждал так: раз уж он ничего не в силах поделать со своими чувствами, то обязан избегать действовать так, как они подсказывают. Не будет ее видеть — так и не сможет сделать ничего непотребного. А потому и решил: никогда больше не наведываться к Эми.

Когда подошел его следующий — на шесть суток — отпуск, он не поехал в дядюшкину гостиницу, а сел на ночной поезд до Мельбурна, где просадил все деньги на выводы Эллы в свет и подарки ей, стремясь потеряться в ней, делая все, чтобы избавить память от странной случайной встречи с Эми. Элла, в свою очередь, жадно всматривалась в его лицо, в глаза, и он (с растущей в сердце тре-

вогой, которая временами была близка к ужасу) видел, как ее лицо силится обнаружить на его лице и в его глазах ту же прожорливость. И лицо, некогда бывшее для Дорриго Эванса красивым и чудным, теперь казалось просто таким скучным, что и представить невозможно. Ее темные глаза (те, что он поначалу находил завораживающими) теперь виделись ему какими-то по-коровьи наивными в своей доверчивости, хотя он изо всех сил старался так не думать и еще больше презирал себя за то, что все-таки думает. Вот и ринулся с вновь обретенной решимостью в ее объятия, в ее разговоры, в ее страхи, шутки и истории, надеясь, что эта близость в конечном счете вытравит всякую память об Эми Мэлвани.

В последний день его отпуска они отправились ужинать в клуб ее отца. Майор королевских ВВС, с которым они были знакомы, раз за разом вызывал у Эллы смех своими шутками и анекдотами. Когда майор возвестил, что уходит, чтобы заглянуть в ближайший ночной клуб, Элла принялась умолять Дорриго пойти вместе с ним, потому что «он такой хохмач». Дорриго почувствовал что-то странное, не ревность, не благодарность, а непонятное смешение того и другого.

— Я люблю быть с людьми, — сказала Элла.

«Чем больше людей со мной рядом, — подумал Дорриго, — тем сильнее я чувствую себя одиноким».

14

Теперь его день начинался до того, как заключенные просыпались, до того, как оказывались на ногах главные силы охранников и инженеров, за несколько часов до того, как вставало солнце. Теперь, когда Накамура, шагая по грязи, вдыхал сырой ночной воздух, когда исчезли его кошмары, когда метамфетамин облегчил его сердце и сознание, майор пребывал в блаженном предвкушении. Этот день, этот лагерь, этот мир — его дело, какими им быть. Он нашел полковника Кота (как и доложил Фукухара) в пустой столовой, тот сидел на бамбуковой лавке за бамбуковым столом и ел рыбные консервы.

Полковник был ладно сложенным мужчиной почти такого же роста, как и австралиец, облик его не вязался с лицом, которое, по мнению Накамуры, походило на мешок и обвисало по обе стороны его острого, как акулий плавник, носа, режущего пополам обвислые морщинистые щеки.

Кота и не подумал ходить вокруг да около, а сразу заговорил о деле, сообщив, что уедет утром, как только удастся отыскать транспорт. Из мок-

рой кожаной сумки полковник извлек вощеную матерчатую папку и достал из нее лист с отпечатанными на машинке приказами и несколько чертежей, все они до того промокли, что облепили пальцы Накамуры, когда тот стал читать написанное на листке. В приказах не было ничего сложного, и приняты они были радушно.

Первый приказ носил характер технический. Невзирая на то что основная просека под железную дорогу была наполовину закончена, командование Железнодорожных войск изменило для Накамуры первоначальные планы. Теперь было необходимо увеличить просеку на треть, чтобы облегчить решение проблем со сведением откосов на следующем участке. Новая просека потребует дополнительной выемки и переноски еще трех тысяч кубометров скальных пород.

Пока Томокава наливал обоим офицерам чай, Накамура нагнулся и перевязал завязки на обмотках. Для расчистки джунглей у них не было даже пил и топоров. Заключенные рубили камень вручную при помощи кувалды и долота. У него даже и долот-то подходящих не было для работы заключенных, и когда те, что имелись, тупились, не хватало кокса, чтобы заточить их в кузнице заново. Накамура выпрямился на лавке.

— Пневмосверла с компрессорами были бы хорошим подспорьем, — заметил он.

Полковник Кота поглаживал обвислую щеку.

– Техника?

Он оставил слово повисшим в воздухе, предоставив Накамуре самому мысленно довершить невысказанное: ему известно, что техники нет, ему должно быть стыдно, что он выпрашивает, можно подумать, будто насмешничает. Накамура склонил голову. Кота снова заговорил:

— Поделиться нечем. Ничего не поделаешь.

Накамура понял, что допустил промах, заговорив об этом, но был признателен, что полковник Кота, похоже, отнесся к этому с пониманием. Он прочитал второй приказ. Крайний срок окончания железной дороги переносился ближе: с декабря на октябрь. Отчаяние Накамуры было непомерным. Теперь его задача стала невыполнимой.

— Я знаю, вы можете сделать это возможным, — сказал полковник Кота.

— Сейчас далеко не апрель, — произнес Накамура, надеясь, что сказанное будет понято как косвенное напоминание о том, когда штаб утвердил окончательные планы. — Уже август.

Полковник Кота по-прежнему смотрел глаза в

глаза Накамуре.

— Мы удвоим наши усилия, — отчеканил наконец смиренный Накамура.

— Не могу вам лгать, — заговорил полковник Кота. — Очень сомневаюсь, что произойдет соответствующее пополнение, будь то техника или инструменты. Возможно, прибавят чернорабочих-кули. Но даже этого не могу обещать. На этой железной дороге работает больше четверти миллиона кули и шестьдесят тысяч пленных. Я знаю, что англичане с австралийцами ленивы. Знаю про их жалобы, что они слишком устали или слишком голодны, чтобы работать. Что, копнув разок лопатой, они тут же устраивают себе отдых. Один удар кувалды — и они останавливаются. Что они жалуются на всякие несущественные мелочи вроде того, что их бьют по щекам. Если японский солдат недобросовестен в своей работе, он ожидает, что его отлупят. Что дает трусу право не быть битыми? Бирманские и китайские кули, присланные сюда, только и знают, что удирать или умирать. Тамилам, по счастью, чересчур далеко бежать обратно в Малайю, зато теперь они повсеместно мрут от холеры, так что даже при тысячах вновь прибывающих все равно остается нехватка рабочей силы. Просто не знаю. Ни с чем

из этого ничего не поделаешь.

Накамура вернулся к чтению машинописного послания. Третий приказ предписывал перевести сто пленных из его лагеря на работы в лагерь около перевала Трех Пагод, километрах в ста пятидесяти к северу на бирманской границе.

«У меня нет сотни пленных, которыми я мог бы поделиться, — подумал Накамура. — Мне нужно еще тысячу пленных, чтобы завершить этот участок в отведенный мне срок, а не терять еще больше». Он взглянул на полковника Коту.

— Сто человек должны отправиться туда маршем?

— В сезон дождей другого способа нет. Тут тоже ничего не поделаешь.

Накамура знал, что многие умрут, добираясь до нового места. Возможно, большинство. Но это необходимо железной дороге, император повелел проложить эту железную дорогу, и, таким образом, было решено, что железная дорога будет создана. Насколько он понимал, в действительности — той действительности снов и ночных кошмаров, в какой ему приходилось жить каждый день, — другого способа построить эту железную дорогу не существует. И все же он продолжал упорствовать.

— Поймите меня, — сказал Накамура. — Мои трудности — они практические. Без инструментов и при том, что людей с каждым днем все меньше, как мне строить железную дорогу?

— Даже если большинство умрет от истощения, вы должны завершить работу, — сказал, пожимая плечами, полковник Кота. — Даже если все перемрут.

И Накамура понимал, что и при таких жертвах нет иного способа исполнить повеления императора. В любом случае что такое военнопленный? Меньше, чем человек, просто матсредство, пущенное в ход, чтобы соорудить железную дорогу, как тиковые шпалы, стальные рельсы и путевые костыли. Если он, японский офицер, позволил бы себе попасть в плен, то все равно был бы казнен по возвращении на свою островную родину.

— Два месяца назад я прибыл из Новой Гвинеи, — сказал полковник Кота. — Остров Бугенвиль. Ява — блаженство, как говорится, Бирма — ад, но никому нет возврата из Новой Гвинеи. — Полковник улыбнулся, мешки на его лице приподнялись и опали, напомнив Накамуре склон холма с рубцами террас. — Я свидетельство того, что старые солдатские поговорки не всегда верны. Но там очень сурово. Американ-

ская воздушная мощь невероятна. Их «Локхиды» молотили нас день за днем. Круглые сутки — бомбежка и обстрел. Нам выдавали недельный рацион в расчете, что сражаться предстоит месяц. Нам бы только соль со спичками в районе боевых действий, мы бы со всем справились. А что мне сказать про американцев с австралийцами? Они могут похвастаться только своей материальной мощью, своими машинами, техникой. И мы непременно победим, потому что наш дух выстоит там, где их — рассыплется в прах.

И пока полковник говорил, его террасное лицо, как казалось Накамуре, вобрало в себя великое множество древней мудрости Японии, всего того, в чем Накамура находил благое и самое лучшее в своей стране, в своей собственной жизни. Накамура понимал, что полковник своим проникновенным голосом рассказывал ему нечто большее, чем просто историю. Слова его убеждали: какие бы ни выпали невзгоды, с какой бы нехваткой инструментов и рабочей силы ему, Накамуре, ни пришлось иметь дело, он выстоит, железная дорога будет построена, война закончится победой — и все это благодаря японскому духу.

Только вот что такое этот самый «дух», что в

точности это означает, Накамура выразить бы затруднился. Он достоин, и он чист, для самого майора это сила более реальная, чем колючий бамбук и тик, дождь, грязь, камни, шпалы и стальные рельсы, с которыми они работают каждый день. Так или иначе, он стал его сутью, и все же словами этого не выразить. И, объясняя, какие чувства им владеют, Накамура вдруг понял, что начал рассказывать уже целую историю.

— Вчера вечером я разговаривал с доктором-австралийцем, — говорил он. — Доктор хотел знать, почему Япония начала эту войну. Я объяснил, что нами двигала идея благородства всеобщего братства. И упомянул наш девиз: «Весь мир под одной крышей». Но не думаю, что это было понято. Ну, я и сказал вкратце, как ныне Азия для азиатов с Японией во главе азиатского блока. Рассказал ему, как мы освобождали Азию от европейской колонизации. Очень трудно пришлось. Он все талдычил про свободу. — По правде говоря, Накамура понятия не имел, о чем твердил австралиец. Слова — да, зато понятия не имели вовсе никакого смысла.

— Свободу? — переспросил полковник Кота.

Они засмеялись.

— Свободу, — кивнул Накамура, и оба офицера

вновь хмыкнули.

Собственные мысли были для Накамуры неведомыми джунглями, вероятно, для него познаваемыми. Кроме того, собственные мысли его ничуть не заботили. Его дело — быть уверенным, безошибочным. Для его больного разума слова Коты были как сяба. Накамуру заботили железная дорога, честь, император, Япония, а самого себя он считал добропорядочным и следующим законам чести офицером. Но все равно старался до конца постичь охватившее его смятение.

— Раньше, я помню, когда заключенные еще устраивали концерты, как-то вечером я стал наблюдать. Джунгли, костер, люди поют свою песню «Матильда кружит в вальсе». Это настроило меня на сентиментальный лад. Даже сочувствующий. Трудно было не растрогаться.

— Но железная дорога, — заметил полковник Кота, — не меньшее поле сражения, чем передовая на фронте в Бирме.

— Вот именно, — подтвердил Накамура. — Нельзя делать различие между человеческими и нечеловеческими деяниями. Нельзя указывать, нельзя говорить: вот тут этот человек — человек, а тот человек вон там — дьявол.

— Это верно, — согласился полковник Кота. —

Идет война, а война выходит за рамки всего этого. И железная дорога Сиам — Бирма имеет военное значение, но и не это главное. Именно эта железная дорога представляет собой великое эпохальное строительство нашего века. Без европейской техники в сроки, считающиеся невероятными, мы непременно построим то, что, как европейцы утверждали много лет, построить невозможно. Эта дорога знаменует момент, когда мы и наше мировоззрение становятся новой движущей силой мирового прогресса.

Они выпили еще кислого чаю, и полковник Кота взгрустнул, что он не на фронте, где мог бы умереть за императора. Они кляли джунгли, дожди, Сиам. Накамура говорил, как трудно стало выгонять австралийцев на работу, что, будь у них хоть чуть больше понимания (и приятия) той великой роли, что дарована им судьбой, не пришлось бы терзать их так безжалостно. Не в его натуре быть таким суровым. Но — приходится, сталкиваясь с упрямством австралийцев.

— Они лишены духа, — сказал полковник Кота. — Именно это я видел в Новой Гвинее. Мы шли на них в атаку, и они разбегались, как тараканы.

— Будь в них дух, — подхватил Накамура, — они предпочли бы смерть позору находиться в

плену.

— Помню, когда я впервые попал в Маньчжоу[41], прямо из офицерского училища, — стал рассказывать полковник Кота, сжав руку, словно собираясь драться или зажав рукоять меча. — Младший лейтенант, совсем зеленый. Пять лет назад. Кажется, так давно. Надо было провести полевые учения, чтобы подготовиться к боям. Однажды нас повели в тюрьму испытать нас на мужество. Заключенных-китайцев не кормили много дней. Они были совсем тощими. Их связали, завязали глаза, силой поставили на колени перед большим рвом. Командовавший лейтенант извлек из ножен меч. Зачерпнув рукой воды из ведра, сбрызнул ею обе стороны клинка. Я навсегда запомнил капавшую с его меча воду.

— Следите, — обратился он к нам. — Вот так рубятся головы.

---

[41] Примечания: 41

Марионеточное государство, образованное японской военной администрацией на оккупированной Японией территории Маньчжурии; существовало с 1 марта 1932 года по 19 августа 1945 года.

15

В следующий субботний день жара сделалась просто невыносимой. Закончив накрывать к обеду и убедившись, что к ужину все готово, Эми Мэлвани решила переодеться и пойти искупаться. Большая толпа народу растекалась вверх и вниз по пляжу от дороги, ведущей из «Короля Корнуолла», и, шагая по песку, прислушиваясь к волнам и повизгиваньям, Эми (соломенная шляпа на голове, голубые шортики, белая батистовая блузка) хорошо понимала, что ее пристально разглядывают и мужчины, и женщины.

Долгие, невероятно жаркие летние дни, сладострастные ночи, душная спальня, звуки и запахи Кейта наполняли Эми Мэлвани совершенно непонятным беспокойством. Ее переполняло желание. Уехать, быть другой, где-то в другом месте, начать двигаться и никогда не останавливаться. И тем громче ее потаенное нутро вопияло к движению, чем больше она сознавала, что вмерзла в одно место, в одну жизнь. А Эми Мэлвани хотелось тысячу жизней, и она не желала, чтобы хоть одна из них походила на ее теперешнюю.

Порой ей удавалось воспользоваться войной

и снисходительной натурой Кейта: вечерок тут, ночь там. Были маленькие приключения: после вечерних танцев офицер королевских ВВС прижал ее к стене, но, к ее огромному облегчению и легкой досаде, ограничился одними лишь буйными поцелуями да немного потискал. Она переспала с каким-то разъездным торговцем, иногда заходившим в бар гостиницы, которого однажды вечером встретила в городе у кинотеатра. Вышло все ужасно, такое, она почувствовала, раз уж началось, то закончиться могло лишь тем, что пустится на самотек. У торговца — по сравнению с Кейтом — тело было сильное, молодое, он был энергичен и внимателен — даже слишком. Вот и, оказавшись с ним в постели голой, она пришла в ужас: ей были невыносимы его прикосновения, его запах, тело. Жалела, что не ушла.

После ее вырвало, и она ощутила такую жуткую пустоту, что твердо решила: такого больше не никогда не повторится, — эта решимость помогла ей справиться с терзавшим ее чувством вины. По ее мнению выходило, что, вероятно, каким-то очень странным образом та неверность стала залогом ее последующей верности Кейту. А поскольку разъездного торговца она не любила, то и свыклась с мыслью, что по-настоящему никакой

неверности и не было. Ее любовь к Кейту (какой бы она ни была) — все равно любовь: она все равно не была равнодушна к нему, восторгалась им, ценила его мягкость, бесчисленные мелкие проявления доброты. Месяцы, последовавшие после той жуткой ночи, в чем-то были самыми лучшими из прожитых вместе. И все же, даже когда Эми Мэлвани спала долго и сладко, когда просыпалась в безмятежном настроении, а Кейт приносил ей чашку чая в постель, ей хотелось чего-то другого, правда, выразить, чего именно, она бы не сумела. Пока, потягивая чаек, она следила, как он, выходя, загромождает широкой спиной дверь, все никак не могла отделаться от мысли, что же это за желание ее снедает: желание, от которого сосет под ложечкой, желание, от которого она порой непроизвольно вздрагивает, жуткое, не имеющее ни вида, ни названия желание, которое, думала она со страхом, может, и есть самая суть жизни.

И так тянулось более или менее весь последний год. Она флиртовала, но очень осмотрительно, заводила себе друзей среди тех, с кем дружить, возможно, и не стоило, но опять-таки так, что и ей, и другим это представлялось если и не совсем приемлемым, то и не неприемлемым. Оттого-то,

чувствуя в себе странную свободу — и даже уверенность — в решимости не доводить никакое знакомство до чего-либо неприятного, она порой решалась говорить мужчинам что-то похожее на то, на что ее угораздило с тем высоким военврачом в книжном магазине. Но и тут она рассудила: видимо, в конечном счете в ее поведении ничего плохого не было, ведь, если разобраться как следует, никого из тех мужчин она не любила, а по-прежнему любила Кейта. У нее было такое чувство, будто она нашла баланс, который только усилит эту любовь, и она не понимала, зачем, почему, подходя тогда в книжном к высокому военврачу, она сняла обручальное кольцо.

И думая об этом, Эми понимала: то, что она сказала высокому военврачу, она прежде не говорила никому другому. Понять этого она не могла, как и не понимала, зачем в клубе накрыла его руку своей, как не понимала, зачем удерживала его, когда он собирался уйти из ее комнаты. Она просто решительно зареклась никогда больше не делать никаких таких глупостей. Старалась убедить себя: то, что было с ним, уже позади. Вот только в сердце поселился страх чего-то другого, и она изо всех сил старалась не позволить этому страху закрасться в ее слова или даже мысли.

Раскладывая полотенце на слепящем песке, а поверх него — соломенную шляпу, снимая одежду, Эми ощущала свою юность и тело как силу. И, невзирая на свою незаметность и незначительность, понимала: пусть и очень ненадолго, но все же она обрела какую-то особенность и значительность. Она побежала в воду. В отличие от многих женщин, робко заходивших в море по колено, Эми Мэлвани сразу же бросилась в волну, как раз когда та собиралась обрушиться на нее. А когда вынырнула, чувствуя соль на губах и невыносимый блеск неба, все ее смятение будто волной смыло, а на смену ему пришло странное ощущение, будто вынырнула она в какой-то новый центр жизни. На какой-то момент все оказалось в равновесии, все в ожидании.

Эми легла на воду. Далеко в море небольшая яхта вяло покачивалась на неподвижной воде. Развернувшись к берегу, Эми заметила на пляже средних лет мужчину в старомодном шерстяном купальном костюме, который не сводил с нее глаз. Был он безволос, а кожа его напоминала какую-то дичь перед тем, как ее отправили в духовку. Мужчина резко отвернулся.

И она вновь ощутила то странное, навязчивое чувство, которое не отпускало ее: только в чем

состояло ее желание, Эми Мэлвани выразить не могла. Сделав несколько взмахов, она отплыла еще дальше, и чувствовалось, будто море, солнце и легкий ветерок — все велят ей совершить что-то, все равно что, но — *что-нибудь*. Покачиваясь на волнах, она видела других людей, плывущих вровень с нею, так много людей, выжидающих, надеющихся, так же, как и она, ждущих, когда нахлынет следующая волна, чтобы оседлать ее и прокатиться до самого берега. Когда океан за ее спиной стал вздыматься катящейся стеной, она заметила, как по гребню волны длинной линией скользит какая-то желтоглазая серебристая рыба.

Насколько она видела, вся рыба устремлялась в одном направлении по передку волны, рыбешки неистово трепыхались, силясь избавиться от сокрушительной хватки. И всякий раз волна подчиняла их своей мощи, несла, куда хотела, и блестящая рыбья цепочка ничего не могла поделать, чтобы изменить свою судьбу. Эми почувствовала, как ее саму вздымает на гребень волны, она застыла в предвкушении и возбуждении, не ведая, удастся ли ей поймать волну, а если удастся, то чем для нее и для рыб это может закончиться.

16

Полковник Кота разжал руку и сказал:

— Лейтенант расставил ноги, поднял меч и, крикнув, что было сил рубанул. Голова, казалось, отпрыгнула. Кровь все еще била двумя фонтанчиками, когда пришел наш черед. Было трудно дышать. Я боялся выставить себя дураком. Кое-кто попрятал лица в ладонях, один нанес удар настолько неумело, что легкое наполовину выскочило. Голова же все еще оставалась на месте, и лейтенанту пришлось устранить оплошность. И все это время я наблюдал: какой удар был хорош, какой плох, где становиться рядом с пленным, как держать пленного в смирении и не давать ему двигаться. Думая об этом сейчас, я понимаю, что все время, пока смотрел, я учился. И не только рубке голов. Когда пришла моя очередь, я поверить не мог, что исполнял все так спокойно, поскольку внутри меня обуял ужас. Тем не менее я без дрожи извлек из ножен меч, подаренный мне отцом, смочил его, не уронив, так, как показывал наставник, и какое-то время смотрел, как капельки сливаются на клинке и медленно скатываются. Вы не поверите, как здорово помог-

ло мне это разглядывание воды. Я встал позади пленного, проверил равновесие, тщательно обследовал его шею: худую, старческую, грязную на складках — эту шею мне не забыть никогда. Еще и не начиналось, а все было позади, я же никак не мог понять, откуда на моем мече капельки жира, которые никак не оттирались выданной мне бумагой. Только о том и думал: откуда взялся жир у такого худого человека в худющей шее? Шея у него была грязная, серая, как грязь, на которую мочишься. Но стоило мне эту шею перерубить, как цвета оказались такими яркими, такими живыми: красный — от крови, белый — от кости, розовый — от плоти, желтый — от того самого жира. Жизнь! Те краски были самой жизнью. Я думал о том, как легко все получилось, как ярки и прекрасны краски, и был поражен, что все уже позади. Только когда следующий младший офицер выступил вперед, я заметил, что кровь все еще бьет из шеи моего пленного двумя фонтанчиками, точно так же, как и у жертвы лейтенанта, да только совсем слабо, так что, должно быть, после того, как я его убил, прошло время, пока я заметил. Больше к тому человеку никаких чувств у меня не было. Честно признаться, я презирал его за то, что он покорился участи своей настоль-

ко безропотно, никак не мог понять, отчего он не боролся. Только кто повел бы себя хоть как-то иначе? И все же я был сердит на него за то, что он позволил мне умертвить себя.

Накамура заметил, что, рассказывая свою историю, Кота сжимал и разжимал руку, привычную к мечу, будто репетируя или упражняясь.

— И то, что я чувствовал, майор Накамура, до того распирало мне нутро, словно я стал теперь другим человеком. Что-то такое я приобрел — вот что я чувствовал. Чувство это было огромным и ужасным. Словно бы я тоже умер, а теперь родился вновь. Прежде меня беспокоило, как я выгляжу в глазах своих солдат, когда стою перед ними. Зато теперь я лишь глянул на них. И этого хватило. Не стало у меня больше ни беспокойства, ни страхов. Просто я пристально смотрел и видел их насквозь: их страхи, грешки, вранье — я все видел, все знал. «У тебя глаза злые», — сказала мне как-то ночью одна женщина. Я мог просто поглядеть на людей, и этого хватало, чтобы нагнать на них страху. Однако через некоторое время ощущение это стало отмирать. Я стал чувствовать смятение. Потерянность. Солдаты вновь заговорили дерзко — потихоньку, у меня за спиной. Только я знал об этом. Никто меня больше

не пугал. Это как филопон: раз уж стал его принимать, то пусть тебе и делается от него паршиво, а все равно снова хочется проглотить. Могу я вам довериться? Заключенные были всегда. Если проходило несколько недель, а я никому не отрубал голову, так я шел и находил того, кому недолго оставалось пребывать в этом мире, чья шея мне нравилась. Заставлял его рыть себе могилу…

И Накамура, слушая пугающий рассказ полковника, понимал, что даже и при таких ужасных поступках не было другого способа осуществить повеления императора.

— Шеи, — продолжил полковник Кота, отведя взгляд туда, где открытая дверь обрамляла залитую дождем ночь. — Ничего другого, признаться, я теперь и не вижу в людях. Только шеи. Не годится так думать, верно? Не знаю. Такой я стал. Встречаюсь с кем-нибудь новеньким — смотрю на его шею, прикидываю ее размер: легко ли будет срубить или трудно. И больше мне от людей ничего не нужно, только их шеи, тот удар, эта жизнь, те цвета — красный, белый, желтый. Понимаете, ваша шея — вот первое, что я увидел. И такая отличная шея: я в точности вижу, куда должен упасть меч. Чудесная шея. Ваша голова на метр отлетит. Как ей и положено.

Потому как иногда шея просто чересчур тонкая или чересчур толстая, а то их обладатели начинают извиваться или визжат от ужаса: можете себе представить! — и ты тяпаешь небрежно, без всякой охоты, в ярости зарубаешь до смерти. У вашего капрала, впрочем, шея, как у быка, вот такие, понимаете ли, так себя и ведут. А мне, чтобы убить быстро, необходимо сосредоточиться на ударе и месте удара.

Все время, пока полковник Кота рассказывал, он продолжал сжимать и разжимать руку, поднимал и опускал ее сжатую, будто бы готовил меч к рубке очередной головы.

— Дело тут не просто в железной дороге, — сказал полковник Кота, — хотя и железная дорога должна быть построена. Или даже не в войне, хотя война и должна быть выиграна.

— Дело в том, чтобы доказать европейцам, что они не высшая раса, — сказал Накамура.

— И в том, чтобы мы усвоили, что мы такая раса, — добавил полковник Кота.

Некоторое время оба молчали, потом полковник Кота продекламировал:

Даже в Киото,
кукушку заслышав,

страстно хочу оказаться в Киото[42].

— Басё, — сказал Накамура.

За дальнейшими разговорами Накамура с восторгом обнаружил, что полковник Кота разделяет его страсть к традиционной японской литературе. Они все больше расчувствовались, обсуждая земную мудрость хайку Иссы, величие Бусона, чудо великого хайбуна Басё «Дорога далеко на север»[43], который, как сказал полковник Кота, в одной книге вобрал в себя весь гений японского духа.

Оба вновь погрузились в молчание. Просто так, без видимых причин Накамура ощутил внезапный прилив духа от мысли, что их железная дорога прокладывает путь к победе во вторжении в Индию, от идеи всего мира под одной крышей, от великолепия поэзии Басё. И все то, что казалось таким сумбурным и лишенным смысла, когда он пробовал втолковать это австралийскому полковнику, теперь в разговоре с таким добрым

---

[42] Примечания: 42

Перевод с английского.

[43] Примечания: 43

В русском переводе этот лирический дневник путешествий, где проза перемежается стихами (хайбун, жанр, создателем и классиком которого является Мацуо Басё), носит название «По тропинкам Севера» (*пер. Н.И. Фельдмана*). Название, как и некоторые жанровые особенности произведения Басё, легли в основу романа Р. Флэнагана.

и благородным человеком, как полковник Кота, представлялось таким ясным, очевидным и связанным, таким добрым и благим.

— За железную дорогу, — провозгласил полковник Кота, поднимая свою чашку.

— За Японию, — произнес Накамура, в свою очередь поднимая чашку.

— За императора! — воскликнул полковник Кота.

— За Басё! — подхватил Накамура.

— Иссу!

— Бусона!

Они допили остатки кислого чая Томокавы, потом опустили свои чашки. А поскольку они были незнакомцами и не имели ни малейшего понятия, о чем говорить дальше, вернувшееся молчание воспринималось Накамурой как взаимное и глубочайшее понимание. Полковник достал темно-синий портсигар, украшенный изображением белого солнца Гоминьдана, и протянул своему коллеге-офицеру. Они закурили и расслабились.

Они наизусть читали друг другу свои любимые хайку, глубоко тронутые не столько поэзией, сколько своей чувствительностью к поэзии, не столько гениальностью стихов, сколько собствен-

ной мудростью в их понимании. Душу им грело не то, что они знают стихотворение, а то, что знание стихотворения демонстрирует возвышенную сторону их самих и японского духа — того самого японского духа, которому вскоре ежедневно катить по их железной дороге без препон до самой Бирмы, того японского духа, который из Бирмы отыщет себе путь в Индию, того японского духа, которому оттуда предстоит завоевать весь мир.

«Вот так, — думал Накамура, — японский дух воплощается ныне в железной дороге, а железная дорога японского духа, наша тропа сквозь чащу на север, помогает донести великолепие и мудрость Басё всему миру вокруг».

И, ведя разговор о ренга, вака и хайку, о Бирме, Индии и железной дороге, оба офицера ощущали огромное удовлетворение от общих взглядов, хотя в чем именно состояла общность этих взглядов, ни один из них впоследствии выразить не мог. Полковник Кота продекламировал еще одну хайку Като, и оба согласились, что именно этот высший японский дар: изображать жизнь так немногословно, так изысканно — они и помогают своей работой на железной дороге донести до всего мира. И эта беседа, которая на самом деле вылилась в череду обоюдных соглашений,

позволивших обоим со значительно большей легкостью отнестись к собственным лишениям и той жестокой борьбе, какой являлась их работа.

А потом Накамура взглянул на часы.

— Вы должны извинить меня, полковник. Времени уже три пятьдесят. Я должен до подъема перераспределить работу бригад, чтобы выполнить новые установки.

Майор уже стоял на пороге, когда полковник положил ему руку на плечо.

— Я мог бы всю ночь проговорить с вами о поэзии, — признался высокий человек.

В темноте и пустоте хижины Накамура почувствовал накал чувств полковника Коты, когда тот обвил рукой Накамуру и приблизил свое похожее на акулий плавник лицо. От него несло лежалой килькой. Губы его были приоткрыты.

— Еще словечко, — начал полковник Кота. — Мужчины… мужчины *любят*.

Он мог не продолжать. Накамура отшатнулся. Полковник Кота вытянулся в струнку и надеялся, что был неверно понят. В Новой Гвинее они забивали и ели и американских пленных, и своих собственных солдат. Они умирали от голода. Он помнил трупы с обтянутыми кожей бедренными костями, выпиравшими, точно обгрызенные

барабанные палочки. Цвета. Коричневый, зеленый, черный. Он помнил сладковатый вкус. Ему хотелось, чтобы еще какое-нибудь человеческое существо узнало, что они голодали и выбора у них не было. Сказать, что с этим все было в порядке. Удержать его. И…

— Ничего с этим не поделаешь, — сказал Накамура.

— Ничего, — ответил полковник Кота, сделав шаг назад, он раскрыл свой гоминьдановский портсигар и предложил Накамуре еще одну сигарету. — Разумеется, не поделаешь.

Пока майор закуривал, полковник Кота произнес:

Даже в Маньчжоу,
подходящую шею завидев,
страстно хочу оказаться в Маньчжоу.

С щелчком захлопнул портсигар, улыбнулся, сжал руку в кулак, повернулся и вышел, с ним вместе в шуме дождливой ночи исчез вскоре и странный его смех.

17

Эми Мэлвани поражало, как легко ей давалось теперь вранье, причем ее новая способность доставляла ей и стыд, и радость. За ужином Кейт завел свою обычную пластинку про политику муниципального совета, но она, перебив его, сообщила, что следующий день проведет у своей старинной подруги: они отправятся на машине на какой-нибудь удаленный укромный пляж, поплавают, устроят пикник, — для чего она одолжит «Форд»-кабриолет.

— Конечно, — кивнул Кейт и тут же вернулся к своему рассказу о новом сотруднике совета и его допотопном представлении о канализации.

«Да скажи же ты хоть что-то стоящее!» — едва не выкрикнула Эми. Только что такое это стоящее, как бы оно прозвучало, она сказать не могла, а кроме того, по правде говоря, ей совсем не нужно было внимание мужа. И чем больше Кейт бубнил про стоки и настоятельную необходимость канализационных коллекторов, правил современного планирования, смывных туалетов для всех, про государственные механизмы, регулирование и научное управление, тем больше

она сгорала от желания ощутить в темноте легкое прикосновение пальцев Дорриго Эванса.

В ту ночь ей не спалось. Кейт дважды просыпался, спрашивал, не заболела ли она, но, не успевала она ответить, как тут же засыпал снова, бурча открытым ртом, с пятнышком соли от высохшей пены в уголке под губами.

Следующий день начался с того, что она дважды заново накладывала макияж, прежде чем осталась им довольна, потом несколько раз переодевалась, прежде чем остановилась на том, с чего и начинала: темные шорты и легкая хлопчатобумажная блузка, скроенная на манер шали, которая выгодно подчеркивала ее достоинства. Потом сняла блузу из хлопка, сменив ее на красную блузку с низким вырезом, походившую, как она считала, на наряд Оливии де Хэвилленд[44] из фильма «Одиссея капитана Блада». Только юбки, которая бы к ней подходила, у нее не было. И когда (чуть позже десяти) она встретила Дорриго Эванса, вышедшего из казарменной проходной (того Дорриго Эванса, кто, по ее мнению, ни улыбкой, ни носом, ни тем, что волосы носил чуть длиннее

[44] Примечания: 44

Одна из самых популярных и востребованных голливудских актрис 1930–1940 годов, обладательница двух «Оскаров» за лучшую женскую роль.

положенного, вовсе не напоминал Эррола Флинна[45]), то была одета довольно непрактично, зато, по ее ощущениям, во все под стать: голубую цветастую юбку и кремовый коротенький топ.

Теперь, когда Дорриго шел рядом, все, казавшееся Эми скучным и глупым, стало восхитительным и интересным, все, что еще вчера воспринималось как невероятно давящая тюрьма, из которой хотелось вырваться, сейчас представлялось расчудеснейшим фоном ее жизни. Однако нервничала она до того сильно, что машина у нее то и дело глохла. Кончилось тем, что за руль сел Дорриго.

«Боже, — думала она, — до чего же я жажду его! А как неприличны и невыразимы способы, какими я его жажду!» Думала, до чего ж она бесстыдная, какая порочная в глубине души и как мир ее накажет. И эта мысль почти сразу же сменялась другой: «Моя бесстыдная, порочная душа храбрее этого мира». В тот момент Эми казалось, нет ничего в мире, чего бы она не достигла и не одолела. И хотя она понимала, что эта мысль — глупее некуда, она придавала ей еще больше

[45] Примечания: 45

Голливудский актер австралийского происхождения, исполнитель главной роли в фильме «Одиссея капитана Блада», кинозвезда и секс-символ 1930–1940 годов.

задора и смелости.

«Форд» был явно не в себе. Двигатель ревел, коробка чудовищно скрежетала всякий раз, когда Дорриго переключал скорости. В общем шуме-грохоте ей было свободнее говорить: слова не значили ничего, смысл, какой они несли, значил все.

— Он хороший, — говорила она. — Такой добрый. Ты даже не представляешь. Я про то, что я люблю Кейта. Так сильно. Кто не любил бы? Хороший человек.

— Лучший из всех, — подтвердил Дорриго Эванс не совсем неискренне.

— Вот именно, — подхватила Эми. — Хороший человек. А этот его сотрудник совета! Вообще ни бельмеса в канализации не смыслит.

Она понимала, что болтает ерунду, что на самом деле ей хотелось рассказать Дорриго, что Кейт ни разу не произнес ни словечка, которое нашло бы отклик в ее сердце. Всякое слово было маской. Ей хотелось рассказать Дорриго, как же жаждала она, чтобы Кейт заговорил о вещах стоящих. Ну хоть бы о чем-то стоящем.

Но вот что ее сердце сочло бы по-настоящему стоящим, Эми не знала. То, что хотела услышать Эми Мэлвани, просто никак не было связано ни

со смывными туалетами, ни с городами-садами, ни с необходимостью обстоятельного канализационного планирования. Она понимала: ее желания противоречивы. По правде говоря, ей хотелось, чтобы ее муж вообще не говорил. А вот с Дорриго Эвансом… ей хотелось, чтоб он рассказал ей так о многом, и хотелось, чтобы он не говорил ничего, что могло бы разрушить чары. К примеру, возьмет да и ляпнет, что они только подышать свежим воздухом отправились, что она — всего-навсего долг, вмененный ему отчасти тем, что произошло, отчасти — в такой-то дали от дома! — его пониманием семейных уз. И она выразила все это путаное, противоречивое смятение, весь этот океан чувств к человеку, за которым не была замужем, сказав о человеке, за которым была:

— Кейт есть Кейт.

Когда они добрались до начала дорожки к пляжу, Дорриго закурил сигарету, однако не вынул ее изо рта, когда Эми неловко тянулась, оберегая и свою юбку и собственное достоинство, когда, перешагивая через просевшую колючую проволоку ограды, вытянула бедро и вскрикнула. Вывернув ногу, посмотрела. Медленно набухавшие капельки крови цепочкой покатились по

внутренней стороне ее бедра, три блестящих красных шарика.

Дорриго Эванс отшвырнул сигарету и присел на корточки.

— Прошу прощения, — церемонно произнес он и пальцем приподнял край голубой юбки немного повыше, открывая ногу. Промокнул ранку носовым платком, остановился и внимательно осмотрел. Три шарика крови набухли опять.

Дорриго склонился. Уперся рукой в икру ее другой ноги, удерживая равновесие. Он чувствовал запах моря. Поднял взгляд на Эми. Она ответила ему пристальным взглядом, который он никак не мог разобрать. Лицо его было уже совсем близко к ее бедру. Он услышал пронзительный крик чайки. Снова повернулся к ее ноге.

Подхватил губами самый маленький из шариков крови.

Рука Эми опустилась и легка ему на затылок.

— Что ты творишь? — спросила голосом открытым, натужным.

Зато в странном щекочущем противоречии с ним пальцы ее перебирали его волосы. Он взвесил натужность ее голоса и легкость касающихся пальцев, ошеломляющий аромат ее тела. Очень медленно, краешками губ лишь слегка касаясь ее

кожи, поцелуем убрал шарик крови, оставив на бедре темно-красное пятнышко.

Ее рука оставалась у него на голове, пальцы ерошили ему волосы. Он склонился, еще чуть ниже огибая ее ногу, подняв руку, слегка подхватил ладонью ее бедро сзади.

— Дорриго?

Стали расти другие капельки, а первая вновь принялась набухать. Пока он ждал, что она примется протестовать, встряхнет ногой, оттолкнет его, даже даст пинка, никак не осмеливался поднять взгляд. Разглядывал эти идеальные шарики крови, три камелии желания, а они все росли и росли. Тело ее было поэмой, какую невозможно заучить на память. Он поцеловал второй шарик крови.

Ее пальцы застыли в его волосах. Третий шарик крови он слизнул языком — как раз за краем тени от юбки, где бедро утолщалось. Кончики пальцев Эми впились ему в голову. Он опять поцеловал ее ногу, уже чувствуя вкус ее соли, закрыл глаза и замер, прижавшись губами к ее бедру, вдыхая ее запах, ощущая ее тепло.

Не спеша, нехотя отпустил ее ногу и поднялся во весь рост.

18

Дальше с четверть часа, подхваченные жутковатым шквалом молчания, они шли по заросшей дорожке к пляжу. День становился жарким, и она, и он обливались потом, и оба радовались той отраде, которую давали пустой пляж и океан, его шум, его стремление, его уединение. Переодевшись в дюнах на тактичном расстоянии друг от друга, они вместе побежали к воде.

У Эми было такое чувство, словно вода преобразила ее во что-то цельное и сильное. То, что еще день назад, казалось, составляло основу ее жизни, растворилось пустяками, которые и вовсе унесло потоком: меню ужина для постояльцев на следующую неделю, трудность обеспечения гостиничных номеров новыми шерстяными одеялами, дурной запах от главного бармена, мерзкие хлюпающие звуки, которые издает Кейт, раскуривая свою вечернюю трубку.

За линией волн они обернулись — с мокрыми лицами, с глазами-бриллиантами. Над нескончаемой равниной океана виднелись только их головы, они держались в воде на месте, шевеля ногами, посматривая друг на друга. Она почув-

ствовала, что он подплывет к ней снизу и всем телом протрется по ее телу, выходя на поверхность. Что тюлень, что мужчина.

После они отдыхали в расселине дюны, где рев бьющихся волн был не так громок и куда ветер не достигал. Когда тела обсохли, жара вновь навалилась на них дурманящим пылом, Эми распласталась на песке, и Дорриго последовал ее примеру. Она предоставила спине впитывать в себя жар и улеглась лицом в темную тень, которую отбрасывала ее голова. Через некоторое время развернулась по песку и угнездилась головой у него на животе. Он закурил еще одну сигарету.

Дорриго вытянул руку к голубому в белых прожилках небу и подумал, что никогда еще не видел ничего столь совершенного. Зажмурил один глаз, а другим следил, как палец его касается красоты облака.

— Почему мы не помним облака? — проговорил он.

— Потому что они ничего не значат.

«И все же они все», — подумал Дорриго, однако эта мысль была слишком огромна, чтобы задерживаться на ней, а то и вообще уделять ей внимание, и он позволил ей проплыть мимо

него вместе с облаком. Время шло медленно или быстро. Трудно сказать. Перекатившись, они обнялись, крепко прижались.

— Дорри?

Дорриго пробурчал что-то.

— Знаешь, я не выношу Кейта, когда остаюсь с ним наедине, и себя ненавижу, — сказала она. — Это почему?

У Дорриго Эванса ответа не было. Он щелчком отправил окурок в дюну.

— Это потому, что я с тобой быть хочу, — сказала она.

Время пропало, и все замерло.

— Вот почему, — проговорила она.

Теперь пропало все, что держало их врозь, все, что до того сдерживало их тела. Если Земля вращалась, она запнулась, если дул ветер, он затих. Руки напали на плоть — плоть, плоть. На своих ресницах он чувствовал невероятный вес ее ресниц, он целовал легкий розоватый след от резинки, проходивший у нее по животу, как огибающий земной шар экватор. Уйдя с головой, ушли в кругосветное плавание друг по другу, а где-то поблизости раздались почти пронзительные взвизгивания, завершавшиеся более утробным рыком.

Дорриго поднял голову. На верху дюны стояла большая собака. В сочащейся кровью пасти она сжимала дергающегося кроху-пингвина. У Дорриго возникло странное ощущение, будто Эми оказалась где-то далеко-далеко от него, что он воспарил над ее обнаженным телом. Чувства его разом переменились. Эми, чье тело лишь за мгновение до этого едва не опьяняло своим запахом, своим касанием, своей неистощимостью открытий, своим соляным налетом, Эми, которая за секунду до этого, как ему казалось, стала еще одной частью его самого, теперь удалена и отъята от него. Они понимали друг друга лучше, чем понимал их бог. А мгновение спустя это понимание пропало.

Собака склонила голову набок, тельце пингвина, уже безжизненное, безвольно обвисло, и собака повернулась и пропала. Зато утробный рык пингвина, жуткий и долгий, резко оборвавшийся под конец, остался у Дорриго в памяти.

— Смотри на меня, — услышал он шепот Эми. — *На меня одну*.

Когда он вновь перевел взгляд вниз, глаза у Эми сделались другими. Зрачки, казалось, с блюдца, потерянные — в нем, догадался он, потерянные. Почувствовал, как чудовищное притяжение ее

страсти к нему тянуло обратно к ней, в историю, что не для него, и теперь, когда он получил все, что ему в последнее время грезилось в снах, хотелось как можно быстрее сбежать. Он боялся потерять себя, свою свободу, будущее. То, что всего за секунду до этого возбуждало его до крайности, теперь лишилось очарования, представлялось обыкновенным, и ему хотелось удрать. Но он не удрал, а закрыл глаза и, когда вошел в нее, услышал, как с губ ее сорвался стон, — и не узнал голоса.

Их любовная игра обрела дикий, почти буйный нрав, все, что было неведомого в их телах, слилось в единое целое. Он забыл те короткие резкие вскрики, тот ужас непрерывного одиночества, свой страх перед безымянным будущим. Для него ее тело вновь преобразилось. Оно больше не влекло и не отталкивало, а стало еще одной частью его самого, без которой он не был целым. В ней он ощущал сильнейший и необходимый ответный порыв. Без нее же чувственно он уже вовсе не воспринимал свою жизнь как хоть какую-то жизнь.

Впрочем, даже тогда его память пожирала истину о них. Впоследствии ему помнились только их тела, вздымающиеся и падающие под грохот

волн, овеваемые морским бризом, который ерошил верхушки песчаных дюн и сгребал пепел, который приканчивал брошенную сигарету.

19

Испускающий дух бриз дремал в коридорах «Короля Корнуолла». В сумеречном свете повисла какая-то усталость. На гостиничной кухне, казалось, пахнет газом, хотя никаких утечек не обнаруживалось. На этажах повыше и замысловатых лестницах с их пыльными ковровыми дорожками поднимались и опадали запахи, которые для Эми служили знаком разочарования: пахло комочками сухой пыли вперемешку со стылым жиром испорченных блюд да обреченными случками коммивояжеров с женщинами, которых донимает скука или отчаяние, или то и другое разом. «И я одна из таких женщин? — раздумывала Эми по пути на самый верхний этаж. — Я тоже такая?»

Но стоило войти в угловой номер, который они оба уже считали своим (тот, где стеклянные двери от потолка до пола, висящие на поржавевших петлях и нещадно скрипящие замком, выходят на океан и бесконечный свет через дорогу, где внутри пахнет морем и воздух, казалось, кружит в танце, где все кажется возможным), как она сразу поняла: нет, не такая. Она заранее пригото-

вила для него лед и две бутылки пива, но когда пришла, они так и стояли неоткрытыми.

Дорриго Эванс указал на зеленые бакелитовые часы на каминной полке. Хотя минутная стрелка невесть когда пропала с циферблата, часовая показывала, что он прождал уже три часа с того времени, когда она обещала прийти.

— Пришлось дожидаться, пока уйдет дневная смена, — пояснила она. — Пока не появилась возможность пройти сюда незамеченной.

— А кто остался?

— Две барменши, главный бармен, повар. Милли, официантка. Никто из них никогда не поднимается наверх. Сегодня здесь вроде никого не будет. Всю бронь я разместила на два этажа ниже, так что здесь только мы.

Они вышли на далеко выступающую веранду, уселись в тронутые ржавчиной кресла за такой же поржавевший металлический столик, выпили бутылку пива.

— Ты хваткий делец, — усмехнулся Дорриго, — по мнению Кейта.

— Ха, — буркнула Эми. — Взгляни на этих птиц.

И указала туда, где морские птицы стремглав, будто мертвые, падали в океан. Она подошла к

чугунной балюстраде, с которой давным-давно облезла вся краска, осталась лишь коричневато-желтая пыль. Эми провела рукой по затвердевшей ржавчине, рыжей, точно замшелый камень.

— Кейт считает, что у тебя чутье, как у охотника, — сказал Дорриго.

Птицы вздымались вверх с рыбешками в клювах. Эми пощипывала крошащуюся ржавчину кончиками пальцев. Взгляд ее был устремлен на полоску пляжа, тянущуюся на несколько миль до самого мыса, древнего, изъеденного ветром, лишенного всякой растительности, кроме самых жестких низеньких кустиков. В голове ее, казалось, бродят мысли о чем-то совсем далеком. Он подошел, хотел взять ее за руку, но та ее отдернула.

— Кейт так сказал?

— Он сказал, что ты всегда знаешь все ходы и выходы, знаешь, что почем и на что лучше всего ставить.

— Ха, — выдохнула она и вернулась к собственным мыслям. Снизу, с улицы, донеслось поразившее ее тявканье собаки. Она беспокойно оглянулась.

— Это он, — сказала она, и Дорриго уловил растущую панику в ее голосе. — Приехал на день

раньше. Мне надо идти, он…

— Это большая собака, — остановил ее Дорриго. — Послушай. Большая собака. Не шавка вроде Мисс Беатрис.

Эми затихла. Тявканье прекратилось, было слышно, как мужской (не Кейта) голос разговаривает с собакой, а потом стало тихо. Немного погодя она опять заговорила:

— Ненавижу эту псину. То есть собак-то я люблю. Но он пускает ее на стол после того, как мы поедим. Язык просто непотребно свисает, точно какая-то жуткая змея.

Дорриго рассмеялся.

— И слюни распускает, пыхтит вовсю, — продолжала Эми. — Собака на столе! Можешь себе представить?

— Каждый раз?

— Хочешь, я тебе что-то скажу? Только тебе?

— Разумеется.

— Это не про Мисс Беатрис — не смей никому рассказывать.

— Разумеется.

— Обещаешь?

— Разумеется.

— Обещай!

— Обещаю.

Она вернулась в затененный уголок веранды и села. Пригубила бокал с пивом, потом припала к нему надолго, поставила бокал на стол, бросила взгляд на Дорриго, потом опять уставилась на покрытое бисеринками влаги стекло.

— Я забеременела. — Она смотрела на пальцы, кончики которых перетирали уже повлажневший налет ржавчины. — От Кейта.

— Ты его жена.

— Это было до. До того, как мы поженились.

Эми умолкла, по-журавлиному выгнула шею и повела головой, оглядываясь, словно выискивала на просторной тенистой веранде еще кого-то. Наконец, удостоверившись, что никого больше нет, опять заговорила:

— Потому-то и поженились. Он просто не мог… это звучит до того ужасно!.. он просто представить не мог, что будет правильно иметь ребенка вне брака. Ты понимаешь?

— Не совсем. Могли пожениться. И поженились. Он хороший человек.

— Это точно. Но… когда я забеременела… он не хотел жениться. А я хотела. Чтоб защитить ребенка. Я … — Эми вновь запнулась. — Не любила его. Нет. Не любила. А кроме того…

— Что кроме того?

— Ты не станешь думать, что я дурная женщина?

— С чего это?

— Порочная? Я не порочная.

— С чего это? Почему я должен думать что-то подобное?

— Потому что я сказала, что еду в Мельбурн посмотреть на скачки Кубка. Сказала людям, с которыми всегда общалась. Ну, я была здесь новенькой, что они могли знать? Но…

— Но не поехала.

— Да нет. Не то. Я поехала. Но я еще… — Она быстро потерла пальцы, стараясь избавиться от ржавчины. Внезапно вытерла их о подол платья, оставив рыжий след. — Еще я поехала в Мельбурн повидаться с одним человеком… с врачом… это Кейт устроил. Кейт уверял, что это лучший способ в нашем положении. Стоял ноябрь. Вот. Он это устроил.

Повисло молчание, которое не мог заполнить даже грохот прибоя.

— Лошади меня никогда ни капелюшечки не интересовали, — сказала Эми.

— Да, но ты выбрала Старину Роули как победителя в Кубке. Сто к одному. Знаешь, должно быть, что-то.

— Я выбрала его как раз потому, что у него *и был* один шанс из ста. Я поставила на него как на неудачника. Почти ждала, что он свалится прямо у стартовых ворот. Я выбрала его, потому что ненавидела этот чертов Кубок. Ненавидела все, связанное с ним.

Эми опять встала.

— Не хочу говорить об этом здесь. — Они зашли в номер и легли в постель. Она положила голову ему на грудь, но было слишком жарко, и через некоторое время она отодвинулась, они улеглись рядом, касаясь друг друга только кончиками пальцев. — Он сидел там с Мисс Беатрис на коленях и говорил, что подыскал в Мельбурне человечка, который обо мне позаботится. Человечка. Что это значит? Человечек? — Какое-то время казалось, она вся ушла в этот вопрос, потом снова заговорила: — И гладил собачку. Ничего я так не ненавидела до того, как эту собачонку. До меня он даже не дотронулся, а вот, поди ж ты, собачку треплет и гладит.

— Так что произошло?

— Ничего. Я пошла повидалась с человечком в Мельбурне. А он знай себе наглаживал свою чертову собаку и ворковал с нею.

20

Время от времени шумы с дороги и пляжа издалека снизу возносились и кружили под потолком, подгоняемые лопастями вентилятора, неспешно шелушившего время. Он понял, что прислушивается к ее дыханию, к волнам, к тиканью часов на каминной полке. Вот до него дошло, что голова Эми опять у него на груди, а сама она уснула, потом — что он тоже засыпает с нею. Послеполуденный морской бриз набирал силу, занавеска пузырилась, жара спадала, клубами подступал дымчатый свет сумерек. Когда он шевельнулся в следующий раз, то понял, что уже ночь, горит лампа, а Эми не спит и смотрит на него.

— А после этого? — прошептал он.

— После чего?

— После человечка в Мельбурне?

— А-а. Да, — начала она и умолкла, глядя в потолок, а то, может, и куда-то за него. Во взгляде ее слились удивление и смирение, словно она и ждала, что мир всегда будет возвращаться к тому таинственному месту на потолке или среди звезд за ним. — Да, — повторила еще несколько раз, все еще глядя вверх. Наконец снова перевела

взгляд на него. — Пришлось притвориться, будто я поехала в Мельбурн на скачки. Я прилежно вызубрила все про лошадок, про то, как делают ставки, и все такое. Может, даже чуточку и во вкус вошла. Было над чем голову поломать, я так полагаю. А потом… мне было все равно. Было похоже, как с лошадками. Я просто притворялась. Не знаю. Во всяком случае, потому-то я время от времени и рискую ставить по маленькой.

— А Кейт?

— Когда я вернулась, он был заботлив. Такой заботливый! Наверно, чувствовал себя виноватым. А я же была ужасно расстроена. И он хотел жениться на мне, хотя никакого ребенка уже не предвиделось… может, чтоб вину загладить. Может, его стыд сильнее грыз, чем меня. Не знаю.

— И ты отдалась любви?

— Просто отдалась. Один сплошной снег был. У меня в голове. Ты когда-нибудь чувствовал такое? Весь мир твой, а потом все твои мысли обращаются в снег. Кейт был так заботлив, а я — снег сплошной. Может, меня совесть мучила. Может, просто решила, что я дерьмо. Знаю: старой девой я быть не хотела. Может, думала, стерпится, мол, слюбится, у нас получится. Опять забеременею. И на этот раз все будет как надо. Только все это

было не так. Я ненавидела его за эту заботливость. Ненавидела, пока и он в ответ не стал меня ненавидеть. Говорил, что я заманила его в супружество. И как-то так выходило, что так оно и было. Он говорил, что я взяла его хитростью, что жуткие вещи вытворяла, потому-то и беременность. Может, теперь он на самом деле так и не думает. Но порой кое-что говорится — и это не просто слова. Это целый приговор одного человека другому в одном предложении. Всего в одном предложении. «Ты меня хитростью взяла, — говорил он, — вот и поженились». Есть слова и слова, и ни одно ничего не значит. А с другой стороны, есть предложение, которое значит все.

Эми повернулась на бок, устремив взгляд к морю. Привалившись к ее спине, он ревновал ее к подушке. Долгое время они молча лежали вместе. Пальцем он убрал упавшие ей на лицо волосы за ухо. Форма ушной раковины всегда вызывала у него волнение. Он почувствовал, как у него голова пошла кругом, будто его подхватил гигантский водоворот, которому конца-края не видно. Темнота поглотила зеленые бакелитовые часы, оставив лишь фосфоресцирующие часовую стрелку и цифры, призрачный плавучий круг, который, казалось, парил над ними под звучное

тиканье. Она перевернулась, прижавшись к нему, и Дорриго ощутил у себя на груди ее щекотное дыхание. Увидел, как глаза ее открылись, внимательно вглядываясь куда-то за его тело, словно высматривая что-то в далекой дали, а потом закрылись.

Много позже он проснулся от звука ее голоса.

— Ты слышишь? — сказала она.

Через открытое окно он слышал волны, слышал, как четырьмя этажами ниже мужчины говорят про футбол, выходя из бара, слышал шаги, неспешный шорох шин редкой машины на почти всегда пустой прогулочной улице, как женщина разговаривает с ребенком. Люди вместе, им позволяется быть вместе.

— Волны, — проговорила она, — часы.

Волны, часы.

Он опять прислушался. Через некоторое время слух настроился, улица внизу стихла, и он расслышал медленный подъем и удар у берега и бархатное тиканье часов.

— Время моря, — сказала она вслед за грохотом очередной волны. — Время человека, — сказала вслед тиканью часов. — Мы следуем за временем моря, — сказала она и засмеялась. — Вот о чем я думаю.

— Если он так отвратителен, зачем же ты остаешься?

— Он не отвратителен, вот в чем штука. Может, я даже и люблю его по-своему. Только это не мы.

— Однако любовь есть любовь.

— Разве? Порой я думаю, что это проклятье. Или наказание. Когда я с ним, я одинока. Когда просыпаюсь среди ночи, лежа рядом с ним, я так одинока. И я этого не хочу. Он любит меня, и не могу сказать… Это было бы слишком жестоко. Он, по-моему, меня жалеет, а этого недостаточно. Может, я жалею его. Ты понимаешь?

Он не понимал и не был способен понять. Не понимал он и того, почему, раз уж Эми ему нужна, он все больше позволяет себе привязываться к Элле, причем чем больше она ему нужна, тем сильнее он привязывается. Не в силах был понять, как же так: ведь то, что у нее с Кейтом, это *любовь*, а ее эта любовь, похоже, делала лишь несчастной и одинокой. Тем не менее узы той любви почему-то оказывались крепче, чем их, которая делала Эми счастливой. И пока она продолжала говорить, начинало казаться, будто все происходящее с ними уже никогда не распутать, будто они живут в мире множества людей и множества уз и ничто из этого не позволяет им быть

друг с другом.

— Нас не просто двое, — выговорил он.

— Конечно, нас двое, или мы ничто, — возразила Эми. — Ты что имеешь в виду, говоря, что нас не двое?

А он и сам не понимал, что имеет в виду. В тот момент он, так ему казалось, существует в чужих мыслях и чувствах. Кто он такой, он вообще не представлял. Не было у него ни слов, ни понятий, чтобы обрисовать, кто они такие или что с ними станется. Ему представлялось, что мир попросту какие-то вещи позволяет, а за какие-то карает, что нет ни оправдания, ни объяснения, ни справедливости, ни надежды. Было просто сейчас, и уж лучше смириться с этим.

А она все говорила и говорила, пытаясь расшифровать мир, который расшифровать невозможно, все расспрашивала о его намерениях, о его представлениях, о желаниях. Его же чувства — все как одно — говорили ему: она пытается заманить в ловушку, добиться от него какого-то обязательства, которое потом смогла бы с порога отвергнуть как невозможное. Она будто хотела, чтоб он назвал чтó бы меж ними ни было, но, сделай он это, тем самым он это и убил бы.

В сумеречном свете слышал он, как она кля-

нется:

— Настанет день — и я уйду. Однажды я уйду, и он меня никогда не отыщет.

Трудно было поверить ей. Он ничего не сказал. Она умолкла. Он чувствовал, что должен что-то сказать.

— Зачем ты мне все это рассказываешь?

— Затем, что я не люблю Кейта. Ты что, не понимаешь?

И эти слова поразили обоих как какое-то новое тревожное откровение.

Некоторое время оба хранили молчание. Не считая зеленого круга времени, поджидавшего их напротив, они находились в полной темноте, в которой растворились их тела. Во тьме они находили не друг друга, а части, ставшие иным целым. Он чувствовал, что мог бы разлететься на миллион кусочков, если бы не ее руки и тело, державшие его.

— Слушай, — сказала она. — Мы время моря.

Но море уже замерло, и звук шел только от бакелитовых часов с одной стрелкой. Он понимал: это не было правдой, когда он целовал раковину ее уха, она спала, единственное, что в тот момент было правдой во Вселенной, — это то, что они вместе в постели. Но покоя он не ощущал.

21

Солнце еще и не взошло толком, а утренний воздух был уже как из печки. Она помогла Дорриго застелить постель, чтоб следы их распутства не попались на глаза горничной. И смотрела, как он умывается: влажный ковшик сложенных ладоней, из которого исходящим парком пудингом вываливалось его светящееся лицо. Прежде всего ее внимание притягивали его руки с загоревшей кожей, то, как берет он ими и держит в них всякие вещи — кувшин холодной воды, помазок для бритья, безопасное лезвие. В этих руках мягкое могущество, не грубая сила. Его подтянутость. Его отличительная черта.

Он нагнулся, погрузил лицо в тазик с водой, вывернутая рука, похожая на шаткие ноги ягненка, поочередно споласкивала щеки. Но он-то вовсе не похож на ягненка, скорее уж на волка, подумалось ей, уверенного в себе, напружинившегося, поджидающего, — черный волк при своих роскошных черных кущах под мышками, прилизанных мылом. Грудь его. Его плечи, когда он держит руку вверх, будто останавливает что-то: машины, поезда, ее сердце, — а потом резко

опускает, словно ничего и не было.

Ей хотелось зарыться лицом в эти подмышки, прямо там и тогда, попробовать их на вкус, укусить, вжаться в них. Хотелось, ничего не говоря, просто пройтись лицом по нему всему. Жалела, что на ней не ситцевое платье… зеленое, что за цвет ужасный, такое дешевое платье, совсем ей не идущее… хотелось, чтоб груди лезли вверх и наружу, а не пропадали, скрытые, под тканью. Она не сводила с него глаз, с мышц, этих спрятавшихся маленьких зверьков, пробегавших по его спине, следила за его движениями, ей хотелось поцеловать эту спину, эти руки, плечи, она смотрела, как он поднял взгляд и увидел ее.

Глаза, черные глаза. Невидящие и зоркие.

Она что-то сказала, торопясь уйти от этого взгляда, но осталась. О чем он думал, ей не узнать никогда. Однажды она спросила, он ответил, что понятия не имеет. Позже она подумала, что он перепугался. Он был красив. И это ей тоже в нем не нравилось. Слишком уверен, чувствовала она, слишком сведущ (еще одно, как она поняла позже, в чем она ошибалась). Знающий и несведущий.

Он. Во всей красе.

Заметив, что она все еще не сводит с него глаз, Дорриго отвел взгляд, потупился, лицо его за-

рделось.

Ее снедало желание узнать о нем все, все рассказать ему о себе. Но кто она? Когда-то приехала сюда из Сиднея навестить подругу, жившую с семьей в Аделаиде, да так и осталась, получив работу за стойкой бара «Короля Корнуолла». Там познакомилась с Кейтом Мэлвани. Человек он был скучный, но добрый на свой лад, оно и случилось, а кто же она? Дочь художника-оформителя из Балмейна, умершего, когда ей было тринадцать, одна из семи детей, пробивавших себе путь в жизни как могли. Такого человека, как Дорриго, она не встречала никогда.

— Что, пол интереснее, чем я? — произнесла она.

Ну вот, зачем она это сказала? Она женщина злая, зазорная: это она знала, и порой ей было все равно, известно ли это всему свету, сама бы она о том не пожалела, даже окажись сейчас на смертном одре. Она не жалела ни о чем. Подала ему рубашку.

— Нет, — ответил он.

Улыбнулся. У него улыбка, бицепсы перекатывались под кожей, когда он забрал у нее полотенце и зарыл в него свою улыбку. Волнующий и непоколебимый.

Но ей показалось, что он вроде как не уверен. Все мужчины лжецы, и он, без сомнения, ничем от них не отличается: всего один язык, а сказочек больше, чем у кобеля сучек. Она пережила удары судьбы, все попробовала, все испытала. Сейчас ей очень хотелось взять в рот прелестный его член — на глазах у всех, сидящих там, внизу, в обеденном зале, то-то добавилось бы им сливок в кофе!

Неожиданно ей захотелось, чтоб он просто исчез. Захотелось вытолкать его вон — и вытолкала бы, да только ужаснулась тому, что могло бы произойти, если б она до него дотронулась.

— Дорри?

Вопрос и надобность.

Этого не могло быть и это было. Она все гадала, уйдет ли когда-нибудь оно, это чувство, это понимание, это самое *«мы»*.

— Дорри?

— Да.

— Дорри, так и было бы?

— Что так и было бы?

— Ты бы перепугался, — сказала Эми, — если б я сказала, что люблю тебя?

Дорриго не ответил и отвернулся, Эми же выискивала на синем постельном покрывале торчащие ниточки и обрывала.

О, она была женщиной грешной, лгала самой себе и Кейту, но не жалела ни о чем, если все вело к этому. Не нужна ей была любовь. Ей нужны были *«они»*.

Еще стояло утро, но они все равно опять улеглись вместе в только что заправленную постель. Рука его прошлась по ее груди, ладонь свернулась гнездышком у нее под подбородком. Носом он водил по ее шее — вверх, вниз. Она выгнулась. У него раскрылись губы, ее шея потянулась им навстречу.

— Нет, — сказал он.

Когда он уже спал, она встала, споткнулась, удержалась на ногах, потянулась и вышла в тень на балкон. Где-то вдалеке на пляже детишки визжали в волнах. Жара, словно требовательная мамаша, требовала: садись. Сидела она долго, слушая, как гремят и бухают волны. Когда она почувствовала, что тень укоротилась, забравшись на ее вытянутые ноги, она наконец-то отправилась на три этажа вниз, в комнаты, где жила со своим мужем.

Запах Дорриго преследовал ее повсюду, даже после того, как она приняла ванну. Он придавал аромат ее миру. Она легла на супружеское ложе и проспала до тех пор, когда уже достаточно

сильно стемнело, а когда проснулась, то все, что почувствовала, — его запах.

22

По полдня, по целым дням, в свободные ночи — всякое время, которое Дорриго Эвансу удавалось приписать к отпуску, он теперь проводил с Эми. Теперь у него появилось средство передвижения в виде микролитражки «Остин» для развоза хлеба. Офицер-однополчанин выиграл ее в карты, а поскольку у него уже была своя машина, эту он с радостью давал Дорриго напрокат в любое время. Кейту наезды Дорриго нравились, он сам говорил, мол, рад, что его племянник сопровождает Эми, когда он в разъездах по своим разнообразным важным делам, которых с каждой неделей лета, похоже, становилось все больше и больше.

Жизнь Дорриго в «Короле Корнуолла», отмеряемая часами, которые, если сложить их вместе, вряд ли составили бы несколько недель, казалось, была единственной жизнью, какой он когда-либо жил. У Эми в ходу были такие выражения, как: «Когда мы вернемся к своим настоящим жизням», «Когда снам придет конец», — однако только эта жизнь, это время с нею представлялись ему настоящими. Все остальное было иллюзией, которую он обходил тенью, безо всякой связи с ним

или заботы о нем, только сердился, когда другая жизнь, другой мир пытались заявить свои права на него, требуя, чтобы он действовал или думал о чем-то, о чем угодно, только не об Эми.

Армейская жизнь, когда-то поглощавшая его целиком, теперь даже интереса у него не вызывала и того меньше воодушевляла. Когда он проводил осмотр пациентов, те были для него просто окнами, в которых он видел ее и только ее. Любую операцию, любой разрез, любую манипуляцию и сшивание он выполнял, казалось, второпях, неловко, необдуманно. Даже находясь далеко от Эми, он ее видел, обонял ее мускусную шею, заглядывал в ее блестящие глаза, слышал ее хриплый смех, пробегал пальцами по ее тяжеловатым бедрам, выискивал взглядом какое-нибудь несовершенство в ее прическе. Ее руки вряд ли были хотя бы чуть-чуть наделены той таинственной женственной полнотой, которая не делает их ни тугими, ни дряблыми, но для него они были великолепными. Несовершенства ее множились всякий раз, когда он смотрел на нее, и вызывали у него еще больший восторг, он ощущал себя открывателем новой земли, где все вверх тормашками, а оттого еще более прекрасно.

Не было в ней разных соответствий, что так

очаровывали в Элле и выдерживали сравнение со всякими голливудскими звездами: у Эми для этого был куда больший избыток плоти и крови. Вдали от нее он старался побольше вспоминать ее совершенные несовершенства. Вспоминал, как они возбуждали его, как услаждали, и чем больше он предавался таким воспоминаниям, тем больше совершенного отыскивалось в несовершенствах. Родинка над губой, завораживающая улыбка, открывавшая зубы, что росли как попало, легкая неуклюжесть походки — словно на тормозах, вразвалочку, едва не развязная, словно бы она старалась управляться с неуправляемым, притвориться тихоней, не выставляя при этом напоказ чего-то женственного и животного одновременно. Она то и дело ненароком терзала свою блузку, подтягивая декольте повыше, словно боялась: если она этого не сделает, груди ее в любой момент возьмут да и выскочат.

Ему вспоминалось: чем больше она старалась упрятать и прикрыть свое естество, тем большее буйство во взглядах это вызывало. Она была ходячим парадоксом: ее смущало и в то же время приятно возбуждало то самое, чем она красовалась. Смеясь, она заходилась в кашле, похожем на кудахтанье, двигаясь, раскачивалась, и для него

она всегда пахла мускусом и тем изменчивым дыханием морского ветра, которое прокатывалось клубком по гостиничной веранде и мягко дребезжало открытой стеклянной дверью. В постели она иногда пробегала рукой по частям своего тела и со странным недоумением разглядывала бедра или ляжки: для нее самой, как и для него, ее тело было тайной за семью замками. О своей внешности она говорила, словно описывая неудачное строение: форма ног, ширина талии, разрез глаз.

Поначалу он не хотел верить в ее чувство к себе. Позже отмахнулся от него, сочтя похотью, и, наконец, когда отрицать это чувство стало уже невозможно, все больше и больше поражался его животности, его мощи и свирепости, в которую едва верилось. И если эту жизненную силу человек с такой низкой самооценкой, как у Дорриго Эванса, порой воспринимал как слишком огромную и слишком необъяснимую, то понемногу он понял, что сила эта к тому же неумолима, неизбежна и сокрушающа. И сдался ей.

Желание обуревало их теперь неустанно. Они стали опрометчивы, при любой возможности предавались любовным утехам, жадно используя укромные уголки и минуты, которые в один миг могли привести к разоблачению, позволили бы

всему миру, подглядев, удостовериться, что они это *«они»*, увидеть их. Отчасти они сами к этому стремились, отчасти хотели этого, отчасти избегали и отчасти скрывали, но всегда у них от этого захватывало дух. Океан вздымался и пробивался сквозь толстые базальтовые стены «Короля Корнуолла», а внутри их усилия медленно сливались в единое целое, тела покрывались бисеринками и сплетались, оскальзываясь в поту. Утехам любви они предавались на пляжах, в океане и (с меньшими удобствами) в кабриолете на улице позади «Короля Корнуолла», над пивным бочонком в прохладном укромном уголке подвала, а однажды даже на кухне очень поздно ночью. Противиться напору ее прибоя он не мог.

После утех его преследовало ее лицо, лишенное всякого выражения, такое близкое, такое далекое, вглядывающееся в него и сквозь него — далеко за него. Казалось, в таких случаях она впадает в какой-то транс. Брови так четко очерченные, такие сильные, сияющая голубизна ее глаз, серебряная в ночном свете, взгляд, кажется, не сосредоточен ни на нем, но направлен прямо на него, губы слегка приоткрыты, но не в улыбке, а в легчайшем замирающем дыхании, приходилось склоняться и приближаться щекой, чтобы ощу-

тить на коже это еле заметное дуновение, чтобы убедиться, что это не видение, это она — она в постели с ним. И чувствавал он не радость или гордость, а удивление. В погруженном во тьму гостиничном номере он думал, что еще никогда не видел ничего настолько прекрасного.

Однажды, когда Кейт рано уехал в город на встречу, она пришла к Дорриго в номер утром. Они поболтали, а когда она поднялась уходить, обнялись, поцеловались и упали на кровать. Она раскинула ноги, он, наполовину оставаясь на ногах, наполовину согнувшись, оказался в ней. А когда глянул на ее лицо, то ему показалось, что она витает где-то, а то и вовсе не замечает его.

Глаза ее разгорались все ярче и ярче, но странным образом смотрели в никуда. Губы раскрылись ровно настолько, чтобы дать выход ее учащенному поверхностному дыханию: короткий повторяющийся каскад вздохов, — частью вызываемых ее ответной страстью, а частью — каким-то исступлением, которое владело ею одной. Его напугала отрешенность, которая виделась на ее лице. Будто на самом деле, если она и ждала от него чего-то, так именно этого стирания памяти, забвения, а их страсть должна была привести к ее исчезновению из этого мира. Будто он был для

нее всего лишь средством перенестись в другое место, такое далекое, настолько ему неведомое, что в нем на какое-то время поднялось гнетущее чувство обиды. А когда она принялась неистово вздыматься, затягивая его в себя, он понял, что его собственное тело проделывает тот же путь. «Неужели она считает, что все это и есть я?» — раздумывал он. Это не был он. Для него это тоже было загадкой.

Так и шло оно, то нескончаемое лето, и завершилось, как лихая поездка угонщиков машины, налетевших на столб: в одну из воскресных ночей Кейт сообщил Эми, что все знает, что все время знал.

23

Кейт Мэлвани начал с самого начала, и стало ясно: от него ничего не ускользнуло. Ехал он еще медленнее, чем обычно, поскольку в соответствии с правилами затемнения уличные фонари не зажигались, в окнах домов не было видно света, а фары всех машин были укрыты чехлами с щелями-прорезями.

— Я знаю, — сказал он. — Все время знал. — Днище машины тряслось под ногами Эми. Она старалась забыться в этой тряске, но в каждом потряхивании ей, казалось, только и слышалось: «ДОРРИ — ДОРРИ — ДОРРИ». Она не в силах была поднять глаза на мужа и неотрывно глядела прямо в надвигающуюся ночь.

— С самого начала, — говорил он. — Когда он заявился в бар и спросил меня.

Казалось, между предложениями пролетали мили. Машина, похоже, затерялась в бесконечной тарахтящей черноте. Она изо всех сил старалась выбросить это из головы, но ощущала только одно: исходящую от Кейта печаль, печаль, от которой мир, казалось, пустел. Хотя машина тряслась и подпрыгивала, все вокруг, казалось,

сплошь молчание, одиночество и гробовой покой. Таким она видела мужа всего один раз, когда прошлым лето умерла от туберкулеза его любимая сестра.

Наверное, подумала она, это тоже вид печали. Нет ни радости, ни чудес, ни смеха, ни сил, ни света, ни будущего. Надежда и мечты — лишь остывший пепел от угасшего огня. Нет ни разговора, ни спора. Ведь если по правде, о чем тут говорить? Это смерть. «Смерть любви», — подумала Эми. Вот сидит, вперед подался, столько расщепленных колышков отчаяния выпирает из сидящей мешком неуклюжей одежды: коричневые оксфордские штаны, зеленая рубаха из твида, замызганный шерстяной галстук.

— По-моему, это наглость, — сказал Кейт.

Эми Мэлвани возражала изо всех сил, не говоря правды, той правды, что к тому времени ничего уже не было. Говорила, что тогда они были незнакомы, если не считать одной случайной встречи: в книжном магазине, о чем, напомнила она Кейту, она ему уже рассказывала, там (что до некоторой степени было правдой) ничего не произошло.

– *«Ничего»?* — повторил Кейт. Он, как всегда, улыбался, улыбка ужасала ее и в равной мере

стыдила. — У тебя нутро узлом не стянуло? — продолжал он. — Ты никакого волнения не почувствовала, нервишки не заиграли, когда с ним говорила? — Не желая врать, она ничего не сказала, зная, что молчание означает признание, черт его подери, только слова были бы еще хуже.

— Вот видишь, я же знаю тебя, Эми. И знаю, что — чувствовала.

«Откуда ему знать? — думала она. — Откуда он мог бы знать, когда мы сами не знали?» И все же он — знал.

Будь он другим, она бы решила, что он блефует. Но Кейт Мэлвани был бесхитростен. У него установились прискорбные отношения с истиной, от которых она заставила себя избавиться с тех пор, как встретила Дорриго. Она никогда не говорила первое, что придет в голову, скорее уж третье, а то и четвертое, да и то только после того, как все было выверено на предмет несуразностей и нестыковок. Зато когда говорил Кейт, он выкладывал именно то, что было у него на уме. Он давно знал, он все время знал и носил свое ужасное знание, как и многое другое, молча, терпеливо, не жалуясь, до той самой ночи, когда они возвращались от Робертсонов, когда что-то открылось ему в кромешной тьме и сдерживать-

ся дальше не стало сил.

Брак их и после лета оставался вполне уютным, наверное, даже стал еще уютнее, казалось Эми, когда она задумывалась об этом. Представлялся чем-то вроде мебели эпохи короля Эдуарда с набивкой из конского волоса, заменить которую после женитьбы он отказывался, несмотря на все ее просьбы: просевшая, уютная, если кто успел пригреть для себя мягкое местечко и не садился там, где жестко. Кейт был бескорыстен, и он был добр. Увы, он не был Дорриго. И ей все труднее и труднее давалось обманывать себя тем, что это любовь. Она чувствовала: их брак увядает. Она вновь примирилась, что он рядом, с их постелью и с истертым желтым бархатным покрывалом, которое складывала каждую жаркую ночь, дружелюбно, тихо, но тая в себе свою внутреннюю жизнь, кутерьму, уносившую ее куда глаза глядят. Порой ей становилось невмочь от желания пасть на колени и признаться. В своей вине, пережить которую могла днем. Зато ночью, в предрассветные часы виной этой полнился желудок и грудь подпирало так, что приходилось задерживать дыхание, чтобы справиться с гнетущей тяжестью. Ей не нужно было его отпущение грехов, хотелось всего лишь чистоты в согласовании

ее правды с ее жизнью, а согласовав, надо было встать, отвернуться и уйти навсегда.

24

Если, было дело, в первые месяцы работы в «Короле Корнуолла» Эми радовали знаки внимания, подарки и льстивые комплименты стареющего медведеподобного общественного деятеля (неосознанно она, вероятно, даже поощряла это), то они же начали ей и досаждать. Кончилось тем, что однажды вечером, после того как бар уже был закрыт, она осталась с Кейтом наедине. Поступила она так потому, что рассчитывала улучить удобный момент и по-доброму высказать ему, что его дурацкие знаки внимания должны прекратиться, что ничего у них не получится да и не может получиться. Однако вместо этого обнаружила, что попала в лабиринт ласк и прикосновений. Она не знала, когда и как отделаться от него, и в конце концов ей просто показалось проще и мудрее поддаться всему этому, а чтобы высказать ему все это, дождаться другого момента.

И одно, как порой случается, привело не к другому, а к тому, что мир содрогнулся.

После аборта, когда Кейт исполнился чувством вины и задумался о женитьбе, Эми была слишком опустошена и слишком потеряна, чтобы что-то

решать, Кейт усердно потрудился над тем, чтобы настолько ввести ее в свой мир и мир гостиницы, что у нее оставалось мало времени на что-то другое. В извращенном свете его предложение сочетаться браком (по-своему определенное и по-своему респектабельное) выглядело единственным выходом из этой трясины. Она убедила себя, что различий между ними, казавшихся столь явными, на самом деле, наверное, не больше и не меньше, чем у любой другой пары.

И вероятно, так оно и было. Нашелся для нее мягкий, щедрый, заботливый человек. Впервые в ее жизнь вошли надежность и умеренный достаток. Принимая во внимание разницу в возрасте (около двадцати семи лет), Кейт предоставил ей определенную свободу приходить и уходить когда вздумается, и она не оставалась неблагодарной. Нет, их брак не был адской пыткой.

Она понимала: в Кейте многое вызывает приязнь. С ним легко ужиться. Он строго следил, чтобы гостиница содержалась в хорошем состоянии, чтобы жена ни в чем не знала отказа, обеспечивал заготовку дров для каминов и плит зимой, снабжение кухни льдом летом. Заботился о ней. Эми чувствовала: она для него, как и гостиница, это часть жизни со своими нуждами,

которые следует удовлетворять, ко всему этому он относился с участием, но без видимой страсти. Пустоту из их жизни он гнал прилежанием, усердной заботой о гостинице, а то немногое время, что оставалось, тратил на исполнение обязанностей секретаря нескольких спортивных клубов и муниципального старейшины.

Только вот Эми требовалось больше, чем содержание, удобства, дрова на растопку и молоко со льдом, больше, чем облезлое желтое бархатное покрывало, протирающееся по аккуратным складкам в одних и тех же местах, образовавшимся на ткани за годы единообразного складывания. Ей хотелось разора, приключений, неясности. Не уюта, а пекла.

Иногда ночью он ложился, прижавшись к ее спине, оглаживал ей бедра, ноги. Она чувствовала его руку на своей груди и думала о жирном пауке-охотнике. Потом те же пальцы окажутся у нее между ног, якобы чтоб доставить ей удовольствие. Она никогда не отзывалась. Поняла, что лучший способ обходиться с его знаками внимания — не делать ничего. Она и не противилась, и не воспринимала. Когда он клал одну ногу сюда, когда входил в нее там, она просто поддавалась, ничего не говоря. Но все время отвергала его по-

целуи. Ее рот, ее губы принадлежали только ей.

Иногда это выводило его из себя, он хватал ее за подбородок, притягивал лицо к своему и прижимался своими губами к ее, тычась языком в ее стиснутый рот (как ей представлялось, это было все равно что лизать дверной замок). А потом выпускал ее лицо из рук и порой стонал, непонятно, утробно, по-животному мычал.

Со временем Кейт смирился с покладистостью Эми на ее условиях. Наступал конец, она отбрасывала одеяло и, не удостоив его ни словечком, ни жестом, плелась, охваченная угрюмой злостью, в ванную.

Ей было больно причинять ему боль, но чувства подсказывали ей, что это как-то правильно и необходимо. И если ему только и оставалось, что ощущать себя грязью, слизью, отталкивающей мерзостью, так на то была причина, чудная, противоречивая причина. Эми хотелось, и чтобы муж узнал, и узнал все, и не меньше хотелось сделать все, что в ее силах, чтобы сохранить в тайне от него свою связь с Дорриго, не причинять мужу такую боль. Ей хотелось взрыва, который покончил бы со всем этим, и хотелось, чтоб ничего не менялось, ей потребно было позлить его и отчаянно хотелось, чтобы он никогда не злился.

Когда она возвращалась, то никогда не притрагивалась к нему, не заговаривала с ним, а ложилась в постель, повернувшись к нему спиной. Тогда он перегибался через нее, так и сяк пытался поцеловать в лоб, возможно, паникуя, возможно, надеясь уловить какое-то подтверждение, что он не ошибся, что она все-таки любит его, испытывает к нему те же чувства, что и он к ней. Но никакого подтверждения не было.

Затаив дыхание, Эми ощущала за спиной его тело и всякий раз понимала, что любовь не блаженство да и не счастье. Она не была непременно или постоянно несчастна с Кейтом, да и ее чувства к Дорриго не всегда и не во всем сводились к счастью. Для Эми любовь была касанием вселенной, взрывающейся внутри одного человека, а этого человека разносило взрывом по всей Вселенной. То была аннигиляция, уничтожение миров.

И, лежа в постели с молчаливо посапывающим за спиной Кейтом, она понимала: любовь не кончается, пока все ее могущество в той же мере не претворится в страдание, жестокость и забвение, как в блаженство и радость. Каждую ночь, лежа так, она чувствовала, как перекатываются у нее внутри осколки битого стекла — и режут, и

режут, и режут.

25

Не было никого, с кем Эми могла бы поговорить о подобных вещах. «Любовь открыта, — сказала как-то одна из ее подружек за вечерней игрой в карты, от которой теперь они с Кейтом и возвращались, — или это не любовь. Любовью делятся с другими, иначе она умирает».

Раз в месяц, вечером в первое воскресенье, Кейт и Эми играли с Робертсонами в «пять сотен», и тогда они обсуждали недавний скандал, вызванный тем, что хорошо известный адвокат оставил жену, уйдя к дочери врача. Это потащило за собой несколько историй о зловещих разрывах и достойных презрения супружеских изменах. Симпатии сидящих за карточным столом неизменно оказывались на стороне того или той, кого бросали. Тот же из супругов, кто находил другого или другую, делался объектом позора, издевательства и экзорцизма. Экзорцизма — больше всего. Изгнания бесов.

Эми дождаться не могла такой волнующей завершенности. А вместо этого — только кровянило. Все кровоточило и кровоточило, кровью сочилось не переставая. Не будет никакого волну-

ющего конца, догадалась она, только медленное умирание. Таким оказалось у сестры Кейта угасание от туберкулеза. Истекала и еще больше истекала.

Было столько всякого, о чем ей хотелось расспросить, узнать. «Вы и вправду считаете *так*? — порывалась она спросить. — Разве потаенная любовь не любовь вовсе? Неужто она и впрямь обречена никогда не существовать? Неужели она так и не перестанет кровоточить, пока не умрет?»

Ей хотелось опрокинуть карточный стол, развеять карты по ветру, встать и потребовать, чтобы игравшие признались, что они думают на самом деле. «Ответьте мне, — готово было сорваться у нее с языка, — может ли любовь, не имеющая названия, не быть любовью? А может, она еще больше любовь?» — «Я люблю другого мужчину», — хотелось ей объявить им всем. Пока карты, трепеща, будут лететь на землю, пока карты в руках у каждого будут становиться пустышками, пока каждое выигранное очко будет превращаться в бессмысленную шараду, она поведает им, как великолепен этот другой мужчина, как она все равно будет его любить, даже если в следующие тридцать лет ни разу его не увидит, как все равно

будет его любить, даже если он умрет и она тоже умрет.

Но вместо всего этого она следила, как Гарри Робертсон сыграл козырным валетом, и они с Кейтом (а они всегда играли в паре) выиграли кон.

«Обманывать так легко, — говорила Элси Робертсон, смешивая карты и тасуя колоду для следующей сдачи. — Это так жалко. Просто лжешь и злоупотребляешь доверием».

Эми решила, что речь идет о любви. И подумала: «Обманывать не так-то легко. Это трудно, еще как трудно-то. Это не какой-то порок характера. Это просто есть. Это даже и не обман. Ведь если не обманывать, это значит быть правдивой перед собой, тогда разве настоящий обман не та шарада, которую разыгрываешь со своим супругом? И разве не за это, не за настоящий обман ратуют весь мир и Робертсоны?»

Она ждала какого-нибудь сигнала, прозрения какого-нибудь, каких-то слов от другой женщины, что она не одна такая. Ничего этого не было. В тот самый день Дорриго сказал ей, что его часть выходит в море в среду. И возможно, он погибнет, а возможно, выживет, но никогда не вернется к ней. Она вновь вдумалась в сказанное им про греков и троянцев: грекам опять суждено победить?

И она ломала голову: была ли ее любовь такой большой, что и не любовь вовсе? И почему, когда она чувствует, что может существовать только через другого человека, она ощущает такое ужасное одиночество?

Уж это-то Эми знала: она одинока.

Когда они уехали с карточного вечера, Эми обратила внимание, что Кейт несвойственно для себя тих. Обычно он был болтлив, но в последнее время говорил все меньше и меньше, а за время игры в «пять сотен» вообще едва слово проронил. Печаль, исходившая от Кейта, казалось, опустошает мир. Эми попробовала избавиться от своих мыслей, вслушиваясь в тарахтенье боковых окошек кабриолета, в шум на дороге, в легкий рокот мотора. Но в голове было только то, что Кейт ушел глубоко в себя, а тарахтение, бренчание и рокот оставались сами по себе.

— Волшебство ушло, — произнес он.

— Совет распознает смысл того, что ты отстаиваешь, — сказала Эми, продолжая ранее начатый вечером разговор.

— Совет? — воскликнул Кейт, глядя на нее так, будто он бакалейщик, а она покупательница, зашедшая в его магазинчик и необъяснимо потребовавшая мешок здравого смысла. — Совет

тут вообще ни при чем, — буркнул он и вновь перевел взгляд на дорогу.

И хотя она понимала, что делать этого не следует, все ж бросила звонко:

— Кто же тогда при чем?

То была ложь своего рода. Теперь все было большей или меньшей ложью.

На секунду Кейт повернулся и посмотрел на нее. В темноте она мало могла разобрать, но увидела, что смотрит он на нее не гневно (что было бы понятно), не обвиняюще (что было бы полезно), а жутко оценивающе, и оценки этой ей не избежать, пока он будет смотреть на нее — с жалостью, с ужасом, с болью, которых темнота скрыть не в силах и которые, опасалась она, так и останутся с нею потом навсегда. Неожиданно она очень испугалась.

— Знаешь, а я ведь не знал, — выговорил он. — Честно, не знал.

Она не может его любить, сказала она себе. Не может, не должна и никогда-никогда не сможет его любить.

Он продолжал, ни разу не повысив голоса:

— Надеялся, что я во всем не прав. Что ты докажешь, какой я ужасный, ревнивый старик, раз допускаю такие ужасные вещи. Что ты присты-

дишь меня за то, что мне такое пришло в голову. Но теперь. Что ж, теперь я знаю. Все… *ясно*. — На некоторое время он, похоже, запутался в мыслях, подсчетах, каком-то исчислении измены. А потом заговорил невнятно и неспешно: — А потом ты рассказываешь мне кое-что, и это как… *как*…

Он глянул через плечо на дорогу.

— Это как услышать, как лязгает взведенный на ружье курок.

Ей хотелось остановить его. Но она не стала — да и не сделала бы такого никогда.

— Наверное, мне следовало бы предпринять что-то, что-то сказать, — продолжил Кейт. — Но я чувствовал, ну, что тут скажешь? Он ей ровесник, убеждал я себя, более или менее, а я старый толстый дурак. У меня…

Он умолк. Неужели у него слезы на глазах? Эми знала: он не заплачет. «Он смелее меня, — думала она. — И лучше». Только ей была нужна не добродетель, а Дорриго.

— Были подозрения. Да, — произнес Кейт тоном, будто разговаривает с сидящей на коленях Мисс Беатрис. — И я подумал, вот что, Кейт, старина, улепетывай-ка потихоньку, когда он сюда заявляется. Они смогут побыть вместе, перегорит это дело, и она к тебе вернется. Впрочем, то была

моя не первая ошибка.

Мимо проехал военный грузовик, он ненадолго высветил кабриолет тусклым светом, и она украдкой глянула на мужа. Но его лицо, укрытое в тени, напряженное, пристально вглядывающееся куда-то в конец длинной прямой аделаидской улицы, не поведало ей ничего.

— Надо было дать сохранить тебе ребенка, — сказал он.

Он переключил скорость, и пол машины затрясся у Эми под ногами. Его дребезжание, казалось, так и кричало ей: «ДОРРИ!.. ДОРРИ!.. ДОРРИ!..»

— Были, полагаю, у меня мысли. Что тебе, мне… — У него язык заплетался. Каждое слово было вселенной, бесконечной и непознаваемой. — *Нам*, — продолжил он.

Она признавала: у нее есть глубокое чувство к нему. Только что бы и как бы сильно она ни чувствовала, чувство это не было любовью.

— Кейт, ничего уже нет.

— Да-да, — закивал он. — Конечно. Конечно же, нет.

— Что ты хочешь, чтобы я сделала?

— Сделала? Сделала? Что тут сделаешь? — отозвался он. — Волшебство ушло.

— Ничего и не было, — солгала она второй раз.

– *Мы,* — заговорил он и повернулся к ней. — Мы? — переспросил. Но сам казался неуверенным, потерянным, таким же разбитым, как Франция. — Мы *могли бы* сделать. Могли бы стать чем-то. Да, — сказал Кейт.

— Да, — сказала она.

— Могли бы. Да не смогли. Разве мы смогли, Эми? Я убил ребенка, и это убило нас.

26

Утром в понедельник Дорриго Эванс уже собирался в привычный путь среди Аделаидских гор, когда его срочно вызвали в штаб полка к телефону. Звонили из дому. Штаб располагался в большом ангаре из рифленого железа, где штабные офицеры работали при температурах, неведомых за пределами хлебопекарен и мастерских по обжигу керамики. Адская жара удерживалась и душила еще больше из-за того, что помещение было разделено стенками из оргалита на конторки и кабинетики, работать в которых было просто невозможно. Стены были выкрашены в угрюмый горчичный цвет. От безысходности каждый, казалось, курил еще больше, отчего все вокруг тонуло в тумане, ядовитость дополнительно обострялась вонью: смесь табачного дыма, пота и застарелого, отдающего аммиаком запаха битком набившихся живых существ, — что заставляло всех беспрерывно кашлять.

Телефон, к которому вызвали Дорриго, крепился на стене напротив стола дежурного офицера, мимо потоком шли те, кто под любым предлогом

стремился наружу.

Отъявленная невозможность уединения сопровождалась к тому же сумасшедшей какофонией клацающих клавиш пишущих машинок, треска и звоночков откатывающихся кареток, телефонных звонков, людских криков и кашля, жужжания там и сям понатыканных вентиляторов, которые перелопачивали невыносимую жару в нестерпимо горячие потоки.

Дорриго взял наушник и, склонившись к торчавшему из аппарата рупору, кашлянул, обозначая свое присутствие. Какое-то время не раздавалось ни звука, а потом он услышал, как ее голос (ошибиться было невозможно) пробормотал два слова:

— Он знает.

Ему почудилось, будто он летит неведомо куда, через весь космос, и нет ничего, что могло бы его остановить. Где-то там, далеко внизу, осталось его тело, соединенное с наушником, который крепился к проводу, который через все другие провода тянулся до самого того места в «Короле Корнуолла», где стояла Эми Мэлвани. Он видел, как его тело повернулось спиной к остальным в помещении. Он еще раз кашлянул, на этот раз непроизвольно.

— Что? — переспросил Дорриго. Он обхватил ладонью наушник, и для того, чтобы лучше слышать Эми, и для того, чтобы никто другой не смог ее услышать.

— О нас, — донесся голос Эми.

Дорриго прошелся пальцем между влажным воротником и шеей. Жара висела невыносимая. Он делал долгие затяжные вдохи, пытаясь набрать побольше воздуха.

— Откуда?

— Я не знаю, — сказала она. — Откуда, что… я не знаю. Только Кейт знает.

Дорриго понимал: вслед за этим Эми скажет, что уйдет от Кейта или, может, что Кейт вышвырнул ее. В любом случае теперь они с Эми начнут совместную жизнь. Все это он понимал и знал, что ответит на это «да»: да, он порвет с Эллой Лансбери, и да, он немедленно примется так устраивать свои дела, чтобы они с Эми смогли стать настоящей парой. И все это казалось ему неизбежным, как тому и следует быть.

— Эми, — шепнул Дорриго.

— Возвращайся, — сказала она.

— Что?

— К ней.

Дорриго показалось, что он закувыркался, па-

дая обратно в похожий на духовку штаб. Он готов был говорить с ней где угодно, только не здесь: в пропыленном книжном магазине, на пляже, в угловом номере, о котором он теперь думал как о «нашем», с его облупившимися стеклянными дверями, бризом и нежно ржавеющим чугунным балконом.

— Возвращайся к Элле, — сказала Эми.

Он ответил как мог ровно и безо всяких эмоций, разбивая фразу на слова так, чтобы сидящий сзади дежурный офицер не понимал, о чем он говорит.

— Что. Ты имеешь в виду. Говоря. Возвращайся?

— К ней. Это я и имею в виду. Ты должен, Дорри.

Она не хочет этого, подумал он. Не может быть, чтоб хотела. Зачем же тогда говорит так? Совершенно непонятно. Лицо его пылало. Телу было слишком жарко и слишком тесно в форме. Он рассердился. Ему нужно было сказать так много, а он не сумел сказать ничего. Просто ощущал, как горчичные оргалитовые стены смыкаются вокруг, как давит груз хаки вокруг — груз дисциплины, уставов и власти вышестоящих. Он чувствовал, что задыхается.

— Ступай к Элле, — велела она.

Телу просто хотелось выскочить из ужасного этого помещения-духовки, вырваться и…

— Эми, — позвал он.

— Ступай, — долетело в ответ.

— Я…

— Что — я? — спросила Эми.

— Я думал, — ответил он. — Что…

— Что — что? — спросила Эми.

Все теперь вывернулось наизнанку. Чем больше он желал ее, тем упорней она отталкивала его прочь. А потом Эми сказала, что слышит, как идет Кейт, что просит извинить, что ей нужно идти. Он будет счастлив, бросила она.

И хотя Дорриго Эванс не был счастлив, он испытал самое неожиданное и огромное облегчение. Всего через какой-то миг он выберется из этой печки полкового управления, и больше не придется распутывать жуткую путаницу, едва не повязавшую его накрепко по рукам и ногам, которую Эми Мэлвани внесла в его жизнь, а стало быть, можно будет идти по жизни с Эллой Лансбери на своих условиях — прямо и честно. Он понял, что окажется свободен, больше не придется нестись по течению в потоке бурливой лжи и обманов, что он сможет всем сердцем посвятить

себя такой задаче, как поиски любви с Эллой Лансбери. Так что впоследствии он никак не мог понять, зачем тогда сказал то, что он сказал, понимал только, что был искренен в каждом слове. Что одним предложением он отверг свободу, а с нею и разумную надежду на возведение любви.

— Я вернусь, — сказал Дорриго Эванс. — Когда это окончится. За тобой, Эми. И мы поженимся.

Он понимал: эта дорожка ведет к страданию и даже к проклятию. То, о чем секунду назад у него и мысли не было, теперь казалось неизбежным. Будто и не могло никогда быть по-другому: их встреча в книжном с дикой пляской пылинок, спальня с шелушащейся краской и ленивым колыханием штор от океанского бриза, жестяной ангар штаба, где жара, как в коптильне. Телефонный наушник так намок от пота, что соскальзывал с уха, и прошла секунда-другая, прежде чем он понял, что она повесила трубку и, возможно, не слышала ни слова из того, что он только что сказал.

Надо ее увидеть — он не мог думать ни о чем другом. Он должен ее увидеть. В одну из двух оставшихся ночей он как-нибудь выберется из казармы и договорится о встрече, чтоб они смогли поговорить.

— Разговор окончен, Эванс, — раздался голос за спиной. Обернувшись, он увидел штабного офицера 2/7-го с планшеткой. Мозг Дорриго в тот момент бешено работал, соображая, как выбраться из Уоррадейла без разрешения, где отыскать машину, где они могли бы тайком встретиться. — Эвакопункт 2/7 сегодня вечером грузится на поезд до Сиднея. По прибытии вас препроводят на судно, на котором вы выйдете в море. О конечном пункте будет сообщено где-нибудь посреди Тихого океана, будь он проклят. Вам приказано свернуть всю запланированную деятельность и быть готовым к отъезду в семнадцать ноль-ноль.

Мозг Дорриго тормознул, разболтанно шатаясь. Смысл сказанного начал доходить до сознания.

— Но я думал… разве это не в среду должно быть?

Штабной только пожал плечами. И сказал:

— Если вас интересует мое мнение, то будь я проклят, если оттого, что все пришло в движение, не станет легче. У вас еще пять часов. — Офицер повернул кисть руки и глянул на часы и прибавил: — А то и меньше.

И Дорриго понял, что, возможно, никогда больше не увидит Эми. И, зная это, понимал, что ему придется работать, оперировать, ложиться спать

и опять просыпаться, а еще жить. Теперь же отправляться туда, куда не заведет его война, и ни единая душа не будет знать, что он носит в самой глубине своего сердца.

27

Ночью жаре, похоже, не было конца. Впрочем, и не так, как летом два года назад. Война уже плотно вошла в жизнь, семьи на пляже по большей части сидели без отцов, среди пьющих в баре военная форма теперь преобладала над костюмами и майками, а их разговор изобиловал новыми словечками, названиями мест, доселе неведомых ни в переднем, ни в заднем баре «Короля Корнуолла»: Эль-Аламейн, Сталинград, Гуадалканал. Шел одиннадцатый день жары, и в барах «Короля Корнуолла» было оживленно, как в День Кубка до войны. Человек, убивший жену кочергой, сваливал убийство на жару, а Эми только что вернулась домой раньше времени, порезав ногу об осколок пивной бутылки во время вечерней прогулки по берегу. Она обмыла ногу в ванной, забинтовала ее и зашла в комнату, служившую им гостиной, где нашла Кейта Мэлвани, склонившегося над радиоприемником, который он как раз выключил.

— Сейчас передавали отличный эпизод, — сказал он под мягкое замирание радиошумов. — Тебе бы понравилось.

Эми и впрямь это когда-то нравилось, но теперь ей стало уже невыносимо придерживаться мужниных домашних ритуалов, и не в последнюю очередь этого — молчаливого прослушивания его любимого еженедельного радиосериала (прерывался он только чирканьем спичек, да чавканьем раскуриваемой трубки, да еще собачкой, распускавшей слюни), и теперь она, как могла, старалась этого избегать. Ей ненавистны были и радиосериал, и мужнина трубка, и его старческие движения, вонь в воздухе, которую она выветривала каждый день.

Кейт уселся в кресло, Мисс Беатрис запрыгнула к нему на колени, тяжко дыша и пуская слюни, пока он набивал трубку. Все окна были распахнуты, но Эми все равно было душно после морского дыхания на берегу. Она села. Болела нога. Вечерний бриз долетал, но, похоже, только затем, чтобы усилить запах бриллиантина, въевшегося в салфетку на спинке кресла, еще больше разнести душок застарелого трубочного табака в обивке подлокотников и напомнить, как воняет немытая собака, отчего Эми всегда хотелось уйти куда глаза глядят, причем — навсегда.

— После сегодняшнего заседания совета, — начал Кейт Мэлвани, и Эми глянула вниз, на

собачью шерсть на ковре, со страхом ожидая очередного рассказа о тяготах муниципальной работы. — Клерк совета, Рон… ты помнишь Рона?

— Нет, — сказала Эми.

— Конечно же, помнишь. Рон Джарвис. Ты помнишь Рона Джарвиса.

— Нет.

— Рон Джарвис рассказывал, что слышал, и не раз, про то, как плохи дела у наших парней на Яве.

Эми подняла взгляд. Улыбчивый рот Кейта ничего не выдавал: вид мечтательный, получокнутый, как ей показалось. И все же в тот момент она поняла, что он всегда видел дальше, чем ей представлялось.

— Я никогда не слышала о Роне Джаверсе, — сказала Эми, хотя в сознании уже это имя потащило за собой некое маленькое личико, похожее на собачью или кошачью мордочку. Не собирается ли Кейт приукрасить что-то очень дурное хоть каким-то подобием хорошего? А тот раскурил трубку, попыхал ею, пока табак как следует не разгорелся, после чего с улыбочкой, не покидавшей его губ, подался в кресле вперед. Мисс Беатрис, свернувшаяся в клубок у него на

коленях, взвизгнула, готовясь улечься Кейту на живот.

— Я расспрашивал, — сказал Кейт Мэлвани. — В общем-то даже больше того. Сказал Рону, что у меня есть племянник, Дорриго Эванс, — не мог бы он выяснить что-то о нем или о его части? Сообщил ему подробности. В общем, вчера он вернулся. Суть в том, Эми, что вести не такие уж добрые.

Эми встала, морщась, и заковыляла к створке окна.

— Да, — продолжал муж, — вовсе не такие уж добрые. Страшные на самом-то деле. Потому-то все и замалчивается. Все очень секретно.

Она стояла у окна, и хотя у ночного воздуха снаружи температура была ниже, чем у того, что внутри, внешний жар все еще казался чем-то жестоким, грозящим бедой. Слух ее улавливал тревожные, едва слышные звуки того, что высыхало, трескалось, разбивалось: трава, дерево и бог знает что еще. Ей было слышно, как далеко в вышине громко выгибается гофрированное железо на крыше, сжимаясь после избытка температуры, вызванного солнцем. Она тяжело оперлась на порезанную ногу, заставляя боль поглубже впиться в нее.

— Страшные? — переспросила Эми Мэлвани. — Что там страшного? Они в плену, это известно. А япошки варвары. Зато они целы.

— С австралийцами, которые в плену в Германии, можно переписываться. У них, коли на то пошло, даже выходные бывают. А вот военнопленные в Азии… ну, тут картина не такая радужная. Никаких вестей, никаких достоверных свидетельств. По-настоящему о них никто словом не обмолвился со времени сдачи Сингапура. Девять месяцев о его части не было ни слуху ни духу. Полагают, что там сгинули тысячи военнопленных.

— Может быть. Только нет никаких доказательств, что Дорриго мертв.

— Сообщили…

— Кто сообщил? Кто это сказал? Кто, Кейт?

— Я… Разведка, полагаю. Я хочу сказать…

— Кто, Кейт?

— Не могу сказать. Зато Рон… в общем, он знает. *Люди.*

— Люди?

— Хорошо устроившиеся люди. Из министерства обороны. — Кейт Мэлвани умолк. Его похожая на маску улыбка, казалось, изображала что-то иное: жалость? неуверенность? ярость? А

потом он продолжил с неумолимой силой: — И, по их расчетам, очень немногие из них выживут и расскажут правду об этом.

Эми заметила, что муж бросил свое обыкновение задавать вопрос только для того, чтобы тут же на него и ответить. Он не старался победить в споре. А пытался рассказать ей что-то. Получалось, будто он уже победил.

— Он написал нам, — сказала Эми, но сама услышала, как пронзительно прозвучал ее голос.

— Та открытка?

— Открытка, да. И брат твой, Том, написал, что его семья на Тасмании тоже получила одну после нас. — Голос ее, она это чувствовала, звучит тонко и неубедительно даже для нее самой.

— Открытка, которую он прислал нам, Эми, датирована маем 1942-го, а мы получили ее в ноябре. Это было три месяца назад. Скоро год, как у нас нет ни строчки от него. Ни словечка…

— Да, — произнесла Эми Мэлвани. — Да, да. — Быстро, твердо, словно это как-то доказывало ее правоту, а не рвало ее в клочья.

— Ни слова с тех пор.

— Да, — кивнула Эми Мэлвани. Хоть она еще сильнее налегала на ногу, та на самом деле вовсе не так сильно и болела-то. Привычки и обстоя-

тельств, уверенности и защищенности в браке — теперь ей этого уже не хватало. Она бы ушла от него. Только, уже прокрутив в голове эту горькую мысль, сразу же смешалась. Как? Куда? И на что она станет жить? Открытка, которую его семья получила в декабре, была отправлена в апреле.

— Да, Кейт, — произнесла Эми Мэлвани. — Да, да, да.

Тело ее крутило и шатало, она пыталась ухватиться за слова, чтобы сохранить равновесие. Она не сказала, что написала Дорриго больше сотни писем с тех пор, как они услышали, что он попал в плен. Наверняка, думала Эми Мэлвани, хоть одно, да прорвалось бы.

Еще Рон Джарвис сообщил, что есть сведения из других источников. Нехорошие. Сообщается, что люди в плену — кожа да кости, голодают до смерти.

— В газетах ничего не писали.

— Писали. Зверства. Массовые казни.

— Кейт, это пропаганда, — сказала Эми Мэлвани. — Нас заставляют их возненавидеть. — Она перенесла весь свой вес на порезанную ногу, но едва ощущала боль.

— Если это пропаганда, — сказал Кейт Мэлвани, — то это очень плохая пропаганда.

— Но ведь больше ничего, никаких подробностей.

— Идет война, Эми. Плохие вести — это не новости. Солдаты исчезают. Почитай, добрая пятая часть австралийской армии пропадает без вести, и только за немногими удается надежно проследить.

— Это не означает, что мертв, Кейт. Похоже, что тебе хочется, чтоб он погиб. Он не погиб. Я знаю. Знаю.

Морской бриз, она поняла, стих. Весь мир силился глотнуть свежего воздуха. Ей показалось, она расслышала, как снаружи хрустнул высохший лист. Кейт кашлянул. Он еще не закончил.

— Рон Джарвис еще кое-что выведал для меня, — сказал он, утирая губы носовым платком. — Одному военнопленному удалось бежать. Семьям они пока не сообщают. Моральный дух нации, я полагаю. И, полагаю, ждут подтверждения по другим каналам. Красный Крест и так далее.

— Сообщают семьям — что, Кейт?

— Так и знал, что тебе захочется узнать, Эми. Никак не могу заставить себя сообщить его семье… в любом случае с моей стороны это неуместно. Я бы нарушил доверие. Не говоря уж о национальной безопасности. Это строго между нами.

— Так сообщать-то нечего, Кейт. К чему ты клонишь?

— Сбежавший сообщил, что Дорриго Эванс умер в одном из лагерей.

Мысли Эми были какие-то далекие и странные. Ей пришло в голову, что Кейт любит ее, ни о чем таком она очень давно не задумывалась.

— Эми, поверь мне, Дорриго мертв. Он умер полгода назад.

Слова Кейта Мэлвани, его мальчишеский голосок полился по плиткам пола в коридоре в черно-белую шашечку.

— Я знал, что тебе захочется узнать, — сказал он.

Его слова понеслись к пустой прихожей и над ее потертой плетеной дорожкой из кокосовой пальмы, отыскивая Эми. Но она уже ушла из гостиной.

Кейт Мэлвани чувствовал себя мужиком, который убил кого-то, чтобы наесться. Ему хотелось еще что-нибудь сказать, что-нибудь настолько правдивое, что оправдало бы ту чудовищную ложь, которую он только что произнес. Ему хотелось сказать: «Я люблю тебя». Вместо этого он свистом позвал Мисс Беатрис к себе на колени.

— По-моему, этого достаточно, — сказал Кейт

Мэлвани собачке, почесывая у нее за ухом. — Да, этого ей хватит.

Его утешало то, что он не солгал. Что правда, то правда: смерть еще не подтверждена — но Рон Джарвис дал понять однозначно, что в списке фамилий, переданном военнопленными властям, значился и некий майор Д. Эванс. Они, подумалось ему, могли бы быть счастливы вместе. Это только вопрос времени и усилий.

— Наверняка, — сказал он Мисс Беатрис. — Наверняка.

Позже вечером он наткнулся на Эми, которая в одиночестве наводила чистоту в кухне обеденного зала. Стойкий запах этого помещения, похоже, только усилился, зато влажная кремовая плитка и металлические поверхности сияли в электрическом свете. Безо всяких эмоций она сообщила ему, что ей еще многое предстоит сделать, и вновь принялась чистить и оттирать, пока он смотрел на нее, стоя в дверном проеме.

Только после того как он ушел, Эми бросила тряпку, которой орудовала, и беспомощно сникла. Уселась на пол, как ребенок. Била ногой сверху вниз по плиточному полу. Но ничего не чувствовала. Ей хотелось молиться кому угодно, кто, может, и существует. Но она знала, что он мертв,

что мир не допускает чудес, что люди умирают, что она не в силах избавить их от смерти. Они покидают тебя, ты любишь их еще больше, и все же тебе нипочем не избавить их от смерти.

Кейт Мэлвани, сидя в порыжелом кресле в гостиной, набивал трубку, готовясь выкурить ее на сон грядущий, голова его откинулась на салфетку на спинке, по левому виску, он чувствовал, стекает струйка пота. Он так и не услышал взрыва, который вместе с последовавшим пожаром превратил изящную четырехэтажную каменную гостиницу с фасадом на обе стороны в груду дымящихся обломков и обгоревших балок.

III

Наша жизнь – росинка.
Пусть лишь капелька росы
Наша жизнь, и все же...
Исса

1

Упала капля.

— Кроха, — прошептал Смугляк Гардинер.

Шум муссонного дождя, хлеставшего по брезенту крыши длинного, шалашиком поставленного укрытия (на бамбуковых стойках, без боковых стен), не давал Смугляку Гардинеру нормально слышать даже самого себя. Шум дождя делал такие ночи еще более гнетущими, дурными, чем в те дни, когда Смугляк попросту старался выжить (это он по крайней мере делал не один, а в компании). Джунгли содрогались от шума, дождь с барабанной дробью врезался в грязь, непрестанно вспенивая ее, рождая шлепки и тычки невидимых потоков воды — все это нагоняло на него тоску.

Упала еще одна капля.

— Сыпь, приятель, — прошипел Смугляк Гардинер. — Вали отсюда.

Гардинер понятия не имел, сколько времени прошло с тех пор, как он вернулся в свою палатку после того, как помог управиться с брошенным японским грузовиком. Поискав свое место среди двадцати военнопленных, спавших по всей

длине палатки на двух кишащих вшами бамбуковых настилах, обнаружил только, что Кроха Мидлтон, заключенный, лежавший справа от него, перекатился и занял почти все его спальное место на настиле. Смугляку оставалось только бочком притиснуться рядом с Крохой, прямо под бамбуковой стойкой, по которой катились капельки воды и падали ему на лицо. Крохе почудилось, что на него обвалилась кирпичная стена, а ведь, подумал Смугляк, он в лучшем случае на шесть стоунов[46] тянет. Теперь, когда Кроха был сплошь покрыт стригущим лишаем, Смугляку было противно касаться его. И он снова прошипел:

— Кроха, *твою ж мать*!

Ясно было, что Кроха Мидлтон ничего не слышал. Смугляк поднес руку к лицу посмотреть, сколько времени. Смотреть было не на что: свои светящиеся часы он продал за банку португальских сардин еще несколько месяцев назад. Уронил руку. То хорошо, говорил себе Смугляк, что все еще темно. Он промок до нитки и устал, зато мог отдохнуть еще несколько часов. Смугляк всегда обращал внимание на хорошее, каким бы

[46] Примечания: 46
Чуть больше 38 килограммов.

махоньким оно ни было, а стало быть, зачастую и находил его. Хоть сейчас он и не спал, хорошо было то, что ему не надо вставать и отправляться вкалывать на железную дорогу, а можно подольше поспать. Это было хорошо, поспал бы он с удовольствием, если бы еще и удалось сдвинуть с места Кроху. Выбросив из головы мысли о лишае, он пихнул лежащее рядом тело.

— А ну, подвинься, мудила толстый.

Через некоторое время Смугляк смирился и улегся на бок спиной к Крохе, голову же так поджал к телу, что она больше не попадала под капли. Ему представлялось (сам понимал: глупо), что спиной меньше шансов подцепить лишай, чем передом. Свернувшись калачиком в собственной темени, уверенный, что никто не заметит, Смугляк через голову дотянулся до своего вещмешка и подттащил его по настилу к груди. Неловко повозившись во тьме, достал то, что почитал за два чуда: вареное утиное яйцо и банку сгущенного молока.

«Сгущенку или яйцо? — гадал он. — Что из них?»

Кончилось тем, что решил: молоко (которое он украл с японского грузовика) может храниться бог весть сколько и не испортится, а потому его

лучше попридержать, пусть и всего на несколько дней. Кролик Хендрикс сторговал ему утиное яйцо за кисточку для рисования, а ту Смугляк стянул из полевой сумки японского офицера, бывшего в лагере проездом к полям сражений в Бирме. Его тактика воровства основывалась на быстроте и благоразумии: он никогда не крал столько, что привело бы к расследованию, только столько, сколько хватит, чтобы помочь ему *«протянуть подольше»*.

Кролик Хендрикс, в свою очередь, получил два утиных яйца от японского коменданта лагеря в обмен на карандашные рисунки его и некоторых из его подручных для почтовых открыток — их, вероятно, собирались послать своим любовницам и семьям в Японии.

Время от времени японцы таким образом извлекали пользу из таланта Кролика, вместе с тем они почти наверняка убили бы его, если бы увидели его рисунки и акварели о повседневной жизни лагеря: ужасный рабский труд, избиения, пытки — а потому Кролик Хендриксон их тщательно прятал. Однако работа его подходила к концу. Прошлым вечером, закончив смену на этой Дороге, Кролик почувствовал, как его прошила зверская судорога, и он тут же против своей

воли испражнился. Он еще и подняться не успел, как работавший рядом Друган Фахи уставился на него. Кролик Хендриксон отвернулся. Под собой он увидел, какую судьбу начертали ему его же внутренности в виде лужицы дерьма цвета рисовой водички. Военнопленные уже привыкли страшиться этого больше, чем японцев: девять дней назад в лагере началась холера.

Друган Фахи и еще двое помогли Смугляку дотащить Кролика до подобия носилок, сооруженных на скорую руку, а потом и вниз по Узкоколейке (тропке в джунглях, соединявшей Дорогу с их лагерем, до которого было три с половиной мили). То было болезненно медленное продвижение, которое нисколько не ускорили поиски в темноте зубных протезов Кролика, которые он выронил изо рта при диком приступе рвоты. С трудом они одолели этот путь по ночным джунглям, где единственными указателями дороги к дому были грязные колеи да отдаленные стоны больных заключенных, шедших впереди, и в конце концов возвратились в лагерь незадолго до полуночи, покрытые грязью и водянистой блевотиной. Кролик Хендрикс (вместе со своими акварелями и красками, альбомом зарисовок и тайными рисунками) исчез тогда в холерном бараке, куда

попадали многие и многие, а вернулась оттуда лишь горсточка. От него только и осталось, что вот это почерневшее утиное яйцо, с которого Смугляк Гардинер умело, всего в три движения, счистил скорлупу.

Дождь снова припустил могучим потоком, и это вызвало свежий влажный ветерок, который насквозь продул жалкое убежище, служившее им бараком, вымыв вонь дерьма и гнилья, каким были все эти люди, что спали вповалку на двух длинных, из конца в конец, бамбуковых настилах. Смугляк воспринял ветерок как своего рода знак надежды и старался убедить себя, что это еще одно хорошее. Но дождь опять принялся молотить его по лицу каплями, а когда он попытался перекатиться, Кроха по-прежнему мешал, и, когда Смугляк его снова толкнул, тот остался недвижим, безучастный ко всему миру.

— Кроха, черт, ты не мог бы чуток подвинуться?

— Смугляк, твою мать, заткнись! — крикнул кто-то с того конца настила.

Ничего у Смугляка с Крохой не получалось. Тот еще и вонял. Дождь опять припустил, в пылающей голове шумело так, что порой трудно было понять, что у него в самой голове творится, а что

— снаружи. Он вспоминал время, когда впервые встретился с Крохой, мужиком-бычиной, который разоблачился и расхаживал с важным видом, красуясь великолепным телом, изгибался, вытягивал голову, кукарекал. «Ну, чисто петух кур топтать вышел воскресным утром», — заметил тогда Друган Фахи.

Даже на том голодном пайке, на каком их держали, потеря Крохой веса, казалось, только подчеркивала великолепие его тела. Стать свою он, похоже, не столько терял, сколько оттачивал. Тело Крохи восторжествовало над всем: над малярией, дизентерией, пеллагрой и бери-бери. Ни одна из этих болезней, что прочно обосновались и принялись косить заключенных, на него как будто не действовала, словно великолепие Крохи само по себе служило ему иммунитетом. Как бы то ни было, ни лагеря его не укатали, ни японцы не сломили.

Работа Крохи состояла в том, чтобы делать отверстия в скале, понемногу вбивая в нее кувалдой стальной пробойник, пока дыра не достигала нужной глубины. Когда пробивалось достаточно отверстий, японский инженер заполнял их взрывчаткой и подрывал этот скальный участок. Смугляк работал подручным в паре с Крохой,

держал стальной пробойник и после каждого удара кувалды поворачивал его на четверть оборота, чтобы инструмент вгрызался глубже. Кроха работал с энтузиазмом, не свойственным никому из остальных заключенных, и гордился собой, выполняя рабочую норму раньше всех. То было его торжество над японскими поработителями.

«Покажем этой желтой швали, каков есть белый человек», — говаривал он.

Тогда он, похоже, не замечал, что японцы потом требовали такой же выработки от каждого.

— Этот дрюченый Тарзан всех нас угробит, — говорил Баранья Голова Мортон. Если Кроха устанавливал новый рекорд (а это, похоже, постоянно входило в его намерения), японские инженеры тут же делали это новой ежедневной рабочей нормой, и другие, не такие сильные, рвали пупок, стараясь ее выполнить. — Ты уж дрючь его тем пробойником с разворотом, — просил Баранья Голова Смугляка, — скажи ему.

— Что сказать-то?

— Кон…мать его…чай. *Хорош.*

— Хорош с чаем или просто хорош?

— Хорош базарить.

— Старик, — сказал позже Смугляк Крохе, — может, сбавишь обороты?

Кроха улыбнулся. А Смугляк добавил:

— Так, чуток. Не каждый может вкалывать в твоем темпе.

Кроха был преданным евангелистом-начетчиком.

— Господь, — изрек он с едкой улыбочкой, — дал нам тело наше, дабы трудиться им в радости.

— Ага, вот и еще один мудозвон, кого по нынешним временам не шибко-то слышно. Зато все мы довольно скоро предстанем пред Ним, если ты не уймешься.

— Господь нас рассудит. Я так на это смотрю.

И Кроха, мускулистый христианин, принял позу бегуна после финиша в спринте на сто десять ярдов: руки на бедрах, слегка расслаблены, тело на полпути от полной нагрузки к расслабленности, тело подтянутое, совершенное, — поглядывал на Смугляка Гардинера со своей легонькой, с ума сводящей улыбочкой.

Понемногу Смугляк накапливал ненависть к Крохе. Каждую новую норму, которую требовали японские инженеры в чужеродном метрическом измерении: сначала метр в день, потом два метра, потом три, — Кроха выполнял за меньшее время, чем дозволяли японцы, а после все без исключения остальные (горячечные, голодающие,

умирающие) должны были вытягивать такую же сумасшедшую рабочую нагрузку. Все остальные старались управляться медленно, делать поменьше, беречь убывающие силы на исполнение совершенно необходимой задачи — выжить. Только не Кроха — живот бугрится, грудь колесом, ручищами машет зверски. Он относился к этому, как к сезонной стрижке овец, чем ему довелось как-то заниматься, словно бы и тут все еще идет какое-то глупое состязание и, как придет вечер, ему опять быть лучшим среди стригалей. Увы, тщеславие его шло на пользу только японцам и убивало остальных лагерников.

Настала Гонка. Означало это только одно: теперь японцы били их куда больше, а кормили куда меньше, гнали работать еще несносней и еще дольше в течение дня. Поскольку военнопленные все больше отставали от японских расписаний, темп взвинчивался еще неистовей. Однажды вечером, когда обессилевшие заключенные валились на свои бамбуковые настилы, чтобы поспать, пришел приказ вернуться назад к просеке. Так начались ночные смены.

Просека представляла собой прорезь в скалах: шесть метров в ширину, семь в глубину и полкилометра в длину. При свете костров из бамбука

и грубых факелов, сооруженных из тряпья, запиханного в бамбуковые палки и пропитанного керосином, голые грязные рабы работали теперь в странном адском мире пляшущих языков пламени и скользящих теней. От молотобойцев это требовало куда большей сосредоточенности, чем прежде, ведь после удара кувалдой стальной пробойник исчезал в темноте.

В ту первую ночную смену Кроха впервые за все время выбивался из сил. Его трепала малярия, тело била дрожь, движение же рук с кувалдой не было красивым взлетом и падением, а давалось болезненным усилием воли. Несколько раз Смугляку Гардинеру приходилось отскакивать в сторону, когда кувалда не слушалась рук Крохи. Меньше чем через час (а может, часов через несколько, сколько времени прошло, Смугляк не помнил) Кроха поднял кувалду лишь наполовину и уронил ее из рук на землю. Пораженный Смугляк смотрел, как Кроха, шатаясь, потопталася, словно прыгая в танце взад-вперед, и рухнул на землю. Подошел охранник, низенький, с мускулистым телом и пятнистым лицом — Варан. Одни говорили, что у Варана болезнь кожи, потому-то он и бешеный, а другие говорили, что он просто бешеный, и лучше всего в любом случае

держаться от него подальше. Были и такие, кто называл его самим дьяволом — необъяснимым, неизбежным, безжалостным, а также склонным порой пускать в ход, словно последнюю муку, поразительную доброту. Но поскольку там, на той Дороге, никто уже больше не очень-то верил в Бога, было трудно верить заодно и в дьявола. Варан просто *был*, как бы многим ни хотелось, чтоб его не было.

Секунду-другую Варан смотрел, как они работают, и уже медленно поворачивался, чтобы идти посмотреть где-то еще, потом подумал и так же медленно повернулся обратно. Такие странные, ходульные движения неизбежно предшествовали взрыву жестокости. Он молотил Кроху длинной тяжелой бамбуковой палкой минуту, а то и две, а потом несколько раз почти без разбора ударил его ногой в голову и живот. Взбучку, устроенную Вараном, Смугляк не считал чем-то слишком дурным. Иное дело — Кроха Мидлтон.

Еще недавно, стоило напрячься, удары и пинки воспринимались им так, что это граничило с наглостью, будто тело его было крепче любого битья, а теперь он катался по продолбленной взрывами в скале просеке, словно мешок, набитый тряпьем или соломой. Он и удары с тычками принимал

как мешок. А под конец избиения Кроха и вовсе учудил. Он принялся рыдать.

Варан остолбенел. Как и Смугляк, с удивлением воззрился на него. Никто никогда не плакал на той Дороге. «Это никак не от боли или унижения, — подумал Смугляк, — и не от отчаяния или ужаса, потому как с ними все уже сжились». Теперь, тряся головой, Кроха, покрытое потом и грязью тело которого стискивали тени языков пламени, то ли шлепал, то ли царапал себя по груди, будто пытался отбиться от теней, а не получалось. Смугляку показалось, будто Кроха корит свое тело, потому что могучее это тело прежде всегда торжествовало, до сих пор выручало этот маленький мозг и крохотное сердце, и только сейчас (в этой чужой дьявольской ложбине в камне с ее языками пламени, тенями и болью) оно жестоко и нежданно предало его. А стоило его телу заметаться, как Кроха пропал.

— Меня! — кричал он, колотя и рвя себя самого. — Меня! Меня!

Вот только, что́ он имел в виду, никто из них на самом деле не понимал.

— Меня! — все выкрикивал и выкрикивал Кроха. — Меня! Меня!

Смугляк помог ему подняться на ноги. Не вы-

пуская из поля зрения Варана, Смугляк взял кувалду и сунул Крохе стальной пробойник. Кроха сел на корточки, сунул пробойник в дыру, с которой они возились, его водянистые глаза твердо уставились на железку, а Смугляк вздымал и опускал кувалду. Когда он поднял ее во второй раз, пришлось напомнить Крохе, чтоб повернул железку на четверть оборота. Кувалда упала и поднялась, Кроха сидел недвижимо, цепляясь за стальной пробойник, будто за какой-то якорь, без которого не обойтись, и опять Смугляк попросил Кроху повернуть пробойник на четверть оборота. Просил он Кроху так ласково, как попросил бы малыша дать ему руку, и тем же голосом он твердил Крохе всю оставшуюся ночь: «Поверни-е… поверни-е, братан… поверни-е». Так они и продолжали работать, словно все было нормально. «Поверни-е… поверни-е, братан, — причитал Смугляк Гардинер, — поверни-е».

Только что-то изменилось.

Смугляк это понял. Он следил, как за несколько следующих недель великолепное тело Крохи стало исчезать. Япошки поняли это и, похоже, теперь взялись истязать Кроху постоянно и более остервенело. А Кроха, похоже, и на это тоже не обращал внимания. Поняли это и вши. У всех были

вши, но Смугляк заметил, как с того дня они стали полчищами накидываться на Кроху. А Крохе, похоже, было уже все равно, что его тело сплошь покрыто мерзкими насекомыми, он больше не беспокоил себя ни мытьем, ни выбором места, где дристануть. Потом пришел черед стригущего лишая. Будто даже грибки все поняли, уловили момент, когда человек махнул на себя рукой и стал уже ничуть не лучше трупа, гниющего по пути обратно в землю. И Кроха это знал. Кроха знал, что внутри у него не осталось ничего, чтобы остановить то, что подступало.

Смугляк не отходил от Крохи, но что-то в нем восставало против этого бывшего здоровяка, этого когда-то гордого человека, теперь превратившегося в дрищущий скелет. Что-то в Смугляке не могло отрешиться от мысли: Кроха опустился, а это изъян характера. И мысль такая, Смугляк понимал, просто позволяет ему чувствовать себя лучше, заставляет думать, что ему еще жить да жить, а не умирать, потому как у него все еще достает сил выбирать в таких делах. Зато в сердце у него, Смугляк понимал, такой силы нет. Ведь по Крохиному тошнотворному дыханию он чуял правду. Что бы ни вызывало вонь, он боялся этим заразиться и просто хотел от этого уберечься.

Но ему приходилось помогать Крохе. Никто не спрашивал, зачем он это делает: все знали. Он был братаном. Смугляк Гардинер презирал Кроху, считал его дураком, но сделал бы все, чтобы тот остался в живых. Потому как мужество, выживание, любовь — все это не жило в одном человеке. Это жило во всех них, не то они перемрут, и с ними — каждый. Они выстрадали убеждение: бросить одного значило бросить самих себя.

2

Когда яйцо (влажное и как воск скользкое в пальцах) было готово, Смугляк учуял запах того, что оно обещало до того неотразимо и сытно, аж слегка подташнивало. Он уже почти поднес его ко рту, но остановился, подумал и вздохнул. Тряхнул спящее тело Крохи не сильно, но настойчиво.

Кроха наконец-то пробудился, Смугляк поднес яйцо к его носу и шикнул: тише, мол. Кроха всхлипнул, и Смугляк ложкой разделил яйцо пополам. Кроха держал ладони сложенными в горсть, будто не меньше, чем причастие, получал: хотел увериться, что ни крошки желтка не пропадет. И в сложенные горстью ладони Крохи Смугляк добавил еще и половинку шарика жареного риса, сохраненную под одеялом с прошлого перекуса.

В мокрой тьме, где никто их не видел и не слышал, в черном уединении, где никто не спросит, откуда у них еда, они принялись за тайную трапезу. Смугляк ел неспешно, наслаждаясь каждым кусочком, рот его до того наполнился слюной, что он тревожился, как бы громкое чавканье его не выдало. Но оно растворилось во всех остальных

мокрых звуках той ночи.

Он слизал подгоревший жир с пальцев. Яйцо и рисовый шарик прогорклым комом легли в желудок, застряли в горле кислым, сальным пламенем. Он умирать не собирался. И ему уже плевать было, что Кроха занимает большую часть его места. Он все еще ощущал на своих губах зернышки риса, все еще чувствовал во рту вкус восхитительного жира и сытного желтка, мозги затуманило, потом и в сон потянуло. Никак не разобрать, то ли он тонет, то ли в какой-то постели лежит, которая к тому же еще и стол, на каком тесно от лангуста и яблок, абрикосового пирога и жаркого из бараньих ножек, — сухая постель с чистыми простынями и согревающий ноги огонь возле нее, а поодаль дождь со снегом хлопает форточкой маленькой спальни. Он поел, жаль, что не съел побольше, он уходил все глубже и глубже, он лежал на столе — и он спал.

Когда снова проснулся, у него желудок свело в кулак. Во рту стоял вкус мыла, жуткая затяжная боль кривила сморщенный живот. Он сел, постанывая и еле дыша от усилия, подхватил жестянку из-под керосина, которую держал у своего спального места полной воды, и босым

побрел сквозь тьму, грязь и дождь к «бендзе»[47], как японцы настоятельно требовали именовать лагерный сортир.

На некотором отдалении от палаток под «бендзе» использовалась канава длиной в двадцать и глубиной в два с половиной ярда[48], у края которой заключенные опасливо присаживались на осклизлую бамбуковую обшивку, чтобы испражниться. Поверхность пузырящихся внизу экскрементов была сплошь покрыта личинками — «как ламингтон[49] кокосовой крошкой», заметил Друган Фахи. Ужас мерзостный. Когда заключенные состязались в придумывании способов расправы с самыми ненавистными из охранников, они в шутку грозились утопить Варана в «бендзе». Даже им вообразить смерть ужаснее было трудно.

Костры от тигров, которые японцы приказали жечь всю ночь напролет, давно были разметаны

---

[47] Примечания: 47

Слово это не японское, но на сленге гавайских японцев означает туалет.

[48] Примечания: 48

Соответственно чуть более 18 и около 2,3 метра.

[49] Примечания: 49

Популярное в Австралии лакомство: продолговатая толстая лепешка размером с ладонь, облитая шоколадной глазурью и обсыпанная измельченным кокосовым орехом; названа по имени барона Ламингтона, губернатора штата Квинсленд с 1895 по 1901 г.

и затушены непрестанным дождем. Мир погрузился во мрак, муссонные тучи перекрывали почти весь свет от звезд и луны, а джунгли всасывали в себя почти весь его остаток. Смугляк Гардинер проделывал свой путь коротенькими неуклюжими прыжками, обхватив живот свободной рукой, силясь каким-нибудь широким или резким движением не заставить свои кишки начать очищаться слишком рано. Скорчившись, он брел, вглядываясь в смутные черные очертания, по барачному строю покосившихся бамбуковых укрытий. Изнутри доносились стоны, храп и резкие захлебывающиеся вздохи заключенных, вызванные то ли болью, то ли горем, то ли воспоминанием, то ли приближением смерти. Или всем вместе. И каждый звук истощения, тоски и надежды подхватывал и мешал с грязью неумолчный гул тропического дождя.

Теперь уже совершенно проснувшись от боли, стягивавшей ему живот, и тяжело дыша от натужного усилия шагать, не облегчившись, Смугляк все еще был на некотором расстоянии от «бендзе», когда съехал с осклизлой обочины дорожки прямо на ее грязную середину и оказался по колено в мерзкой грязи. Он сразу же запаниковал. Его резкие, дерганые порывы выбраться обратно

на твердую почву раззадорили его внутренности. Внезапно ушло непомерное напряжение, и на волне облегчения он понял, что обделывает себя дерьмом прямо посреди главной дороги лагеря.

Жуткое изнеможение овладело им, задний проход горел огнем, голова дико кружилась, только и хотелось, что улечься в грязь с дерьмом и спать без просыпа. Но он не поддался этому позыву, потому как желудок опять будто удавкой стянуло, и он опять почувствовал, как рвется из него вонючая струя. Дышал он уже с трудом: опорожнившись полностью, тут же чувствовал тяжесть вновь переполненных кишок.

Он поддался своему телу, еще раз напрягся и возненавидел себя за то, что натворил такое, что не смог даже до «бендзе» дотерпеть, что залил своими нечистотами дорогу, по которой утром пошагают другие. Он вспомнил про требования Матерого соблюдать строгую гигиену, как все они теперь следили за чистотой (насколько это было возможно), считая ее необходимым условием выживания. Пусть ничего с этим поделать было нельзя, все равно его жег стыд от такого проступка.

Никак невозможно было отделить поток его дрисни от глубокой грязи, того бесконечного,

нескончаемого мира грязи и дерьма. Там уже молотил дождь, взбивая и обращая во что-то другое неизбежную и мертвящую гниль, которая была всем и вся и всех их уносила обратно в джунгли. В следующий раз, говорил он себе, что бы ни случилось, он доберется до этой гребаной сральни. Наконец последовал еще один неудержимый позыв, который, он понял, вынес всего лишь немного слизи, испещренной прожилками маслянистой крови.

Опустошенный, голова кружится от усилий, Смугляк понемногу вновь распрямился в полный рост, сделал, шатаясь, несколько волочащихся шагов с дорожки и принялся старательно обмывать себя из керосиновой жестянки. На ощупь ягодицы у него были немногим толще канатов. Он провозился с отмывкой заднего прохода, который до того странно выпирал среди утраченных мышц, что вызвал глубокое отвращение. Вдруг стало холодно, ляжки и икры била дикая дрожь, пока он их обмывал. Он подавил крик, судорожно глотнув, когда плеснул водой на тропическую язву на ноге размером с чайную чашку, и утешил себя тем, что содержать рану в чистоте — дело полезное. Ее надо обязательно держать чистой. Сознание у него мутилось: малярия, подумал

он, — чувства одновременно слишком обострились и слишком расплылись. Но пока что по-прежнему жили в нем и жили крепко, уж что-что, а это он понимал: сдаться легко. А такое, по мнению Смугляка, было бы не просто никудышним делом, а делом, хуже какого не бывает. Путь к выживанию лежал через то, чтобы никогда не сдаваться в мелочах. Сдаться значило не добраться до сортира. В следующий раз, дал он себе слово, он туда доберется, как бы трудно ни пришлось.

Ступни, ушедшие в грязь, обречены были оставаться в слякоти, а потому, очистив их, насколько только получилось, он пошагал по грязи с нечистотами обратно к себе в палатку, на свое место на бамбуковом настиле. Смугляк заполз под свое грязное и вонючее одеяло, подтянув под него и измазанные в дерьме ноги. Последнее, о чем он подумал перед тем, как обдристанное истощение затащило его в сон, было: до чего же он опять голодный.

3

С последними звуками горна Джимми Бигелоу, возвестившего «Подъем!», которые всосал в себя промозглый рассвет, Петух Макнис открыл глаза. Расползавшийся серый свет красил все вокруг: палатку без стенок, в которой он спал, грязь, слякоть, безысходность лагеря военнопленных в джунглях — ровными оттенками стали и сажи. А еще дальше черной стеной стоял тиковый тропический лес.

Еще не проснувшись как следует, Петух начал день, как проделывал каждое утро, с нескольких первых упражнений на самодисциплину, которые, как ему было известно, создадут основу его выживания — умственного, физического и морального. Начал он с бормотания вполголоса заученной наизусть прошлым вечером страницы из «Майн кампф». Как убедился Петух, части книги, где речь шла о евреях (в книге они занимали много места), были самыми простыми. Их отличал галопирующий ритм, что делало их менее трудными для запоминания, слово «еврей» служило опорным, часто повторяющимся рефреном. Зато сейчас он завяз в ранней истории

нацистской партии в Баварии, и приходилось поднатужиться. Ну и где же эти евреи, подумал Петух Макнис, когда в них и вправду нужда?

Бомба упала на Букингемский дворец, известил рядом чей-то голос. Накрыло короля и певичку Грейси Филдз. Петух Макнис, подтянувшись к краю бамбуковой лавки и почесав себе бедро, а потом еще сильнее — в паху, все продолжал бубнить про себя про отвагу первых штурмовиков. Наткнулся у себя в паху на что-то твердое, похожее на ракушку, и раздавил, потом еще раз наткнулся, потом еще, и только тогда расчувствовал, как чешутся покусы вшей, гнездившихся в бамбуковых рейках.

— Одно скажу в пользу япошек, — сказал какой-то старик, заметив, как Петух чешется, — они до того замудохают тебя работой, что спишь даже тогда, когда вши твои яйца едят на завтрак.

Петух узнал в говорившем Баранью Голову Мортона. Выглядел тот как изможденный человек лет семидесяти, в действительности же ему было не больше двадцати трех — двадцати четырех.

— По-моему, кто-то говорил, что Грейси Филдз с каким-то макаронником спуталась, — произнес вернувшийся в палатку Джимми Бигелоу, держа

зубной протез в руке. — Они что, к Муссолини переметнулись?

— Слухи — это все, — вступил Друган Фахи. — На этот раз я добыл хорошего масла у каких-то голландцев, что проходили на днях через лагерь. Такие же голландцы, как и я. Полукровки-итальяшки, большинство из них. Сказали, что русские потерпели поражение под Сталинградом, янки вторглись на Сицилию, Муссо свергли и новое правительство макаронников призывает к миру[50].

У Петуха Макниса, отрастившего реденькую рыжеватую бородку, была привычка в задумчивости засасывать верхнюю губу под нижнюю и пожевывать ее. Пожевывая свои усики, он припомнил, что на прошлой неделе ходили слухи о том, что русские победили под Сталинградом. Ну, то была явная пропаганда большевиков, подумал он. Скорее всего Смугляк Гардинер наболтал. Он еще и не такое скажет. Петух Макнис ненавидел большевиков, но Смугляка Гардинера не любил еще больше. Малый из простых и нечистых, дове-

---

[50] Примечания: 50

Пример своеобразия исторического сознания скорее нашего времени, нежели 1940-х годов. Когда войска союзников высадились на Сицилии, а Муссолини свергли, стоял июль 1943 года, разворачивалась битва на Курской дуге, ставшая такой же победной для Советской армии, как и Сталинградская битва за полгода до этого.

рять ему, как и большинству полукровок, нельзя. Невыносимо для него было и обыкновение Смугляка (до Гонки, положившей конец всему, что не работа или сон) иногда забираться на пень тикового дерева на краю лагеря и распевать «Без песни»[51], пока заключенные плелись вечером с той Дороги. Другим мужикам это, похоже, нравилось, но Петуха Макниса просто бесило.

А ненависть для Петуха Макниса была мощной силой. Это было для него как еда. Он ненавидел черномазых, макаронников, цыган с египтянами и всяких латиносов. Ненавидел китаез, япошек и вообще узкоглазых, а будучи малым справедливым, ненавидел заодно англичашек, вздумавших переехать в Австралию, и янки. В собственном роду австралийцев он находил столь немногих достойных почитания, что порой замечал за собой, как доказывает: таких и надо бы покорить. Он вернулся к декламации «Майн кампф», наизусть и вполголоса.

— Ты что это там бормочешь, Петух? — спросил Джимми Бигелоу.

Петух Макнис повернулся к горнисту, лишь недавно переведенному в их барак, а потому не

[51] Примечания: 51

Песня, написанная в 1929 г. Винсентом Юмансом на слова Б. Роуза и Э. Элиску и ставшая очень популярной.

ведавшему про его утренний ритуал. Петух считал, что Джимми Бигелоу свой, с континента, из Виктории, а потому откровенно поделился с ним, мол, чтобы уберечь разум от застоя среди ссыльного отродья, этих картежников, обожателей футбола, пристрастившихся к скачкам, словом, среди этого сброда с Тасмании (они оказались в палатке выходцев с Тасмании, а те были кем угодно, только не теми, кем полагалось бы быть австралийцам), он взял себе за правило заучить наизусть целую книгу, по странице в день.

— Лады, — сказал Джимми Бигелоу, не отваживаясь уведомить Петуха Макниса, что он из Хаон-Велли и призывался вместе с Галлиполи фон Кесслером. Только заметил, что в смысле войну переждать есть много чего похуже, чем вчетвером в криббидж перекинуться.

— Разум! — воскликнул Петух Макнис. — Разум, Джеймс!

Галлиполи фон Кесслер поинтересовался, уж не собирается ли он в «пять сотен» сыграть, заметив при этом, что, хотя некоторые и утверждают, будто «пять сотен» игра помудреней, чем криббидж, он с этим не очень-то согласен, но, может, она Петуху больше по душе. Если по правде, это тот же бридж, только без дурной компании.

— Само собой, я не уверен, что хоть какая книга им на пользу пойдет, — сказал Петух Макнис, оглядывая своих соседей по бараку и избегая смотреть на фон Кесслера. — На них *роковое клеймо*.

— Лады, — кивнул Джимми Бигелоу, понятия не имея, о чем толкует Петух. А Петух знай себе говорил и говорил про то, как ненавидит «Майн кампф», как ненавидит Гитлера, как ненавистно ему было заучивать по странице этой чепухи немца-перца-колбасы каждый день. Но в японском лагере для военнопленных в то время, когда он приступил к такому упражнению по умственной дисциплине, это была единственная доступная книга, кроме того, сказал Петух, поблескивая слюнявой бородкой, полезно знать аргументы врага, в любом случае для его упражнений содержание запоминаемого не имеет никакого значения. Он не признался, что был удивлен тем, как много в манифесте Гитлера для него было исполнено смысла.

— Я тут, признаться, с одним из этих голландских макаронников сговорился, — сказал Друган Фахи. — Поверил ему. Шинель свою ему продал.

Петух Макнис спросил, что Друган получил за шинель.

— Три доллара и немного пальмового сахара. Еще книгу.

— Шинель самое малое десятку стоит, — сказал Петух Макнис, который ненавидел голландцев любого происхождения. — А что за книга?

— Приличный вестерн.

Это возмутило Петуха Макниса.

— Тебе, может, и не надо ничего лучше, чем «Убийство на Красном ранчо» или «Солнце садится в корраль», — выпалил он, — но боже спаси Австралию, если таков австралийский склад ума.

Друган Фахи спросил, не сменял бы Петух Макнис свою «Майн кампф» на это? И протянул сильно захватанный и весьма потрепанный экземпляр книжки «Сиу восстают, когда садится солнце».

— Нет, — поморщился Петух Макнис. — Нет, не сменял бы.

Утренний свет, хотя все еще смутный, понемногу окутывал их палатку позволяющей перевести дух синевой. Поднявшийся было разговор пробудившихся заключенных вдруг резко оборвался, и все повернулись в одну сторону, глядя куда-то за спину Петуха Макниса. Сдавленный смех волной прошелся по настилу, и узники один за другим

принялись тереть глаза, чтобы убедиться, что видят именно то, что видят. Петух Макнис повернул голову. Страннейшая и совершенно неожиданная штука! Он опять засосал усы под нижнюю губу.

Многие мужики уже стали тревожиться о том, что их послевоенные мужские способности навсегда сведутся на нет — после того, как голодание и болезни практически всех наделили полным отсутствием желания. Врачи разубеждали их, говоря, что это всего лишь вопрос рациона: как только с этим наладится, все у них получится прекрасно. Но узники все равно гадали, останутся ли они полноценными мужиками, когда придет конец выпавшим им испытаниям. Никто из них и припомнить не мог, когда у него в последний раз была эрекция. Кое-кто волновался: смогут ли доставить своим женам радость, когда окажутся дома. Галлиполи фон Кесслер утверждал, что он уже не месяц и не два ни единого малого не знает, у кого торчала бы шишка, а Баранья Голова Мортон и вовсе уверял, что у него уже больше года *хлябь не твердела*.

Так что, стало быть, вид пречудеснейший (его так же пропустить нельзя, как нельзя не восхититься) вставал прямо у всех на глазах.

— Гля на старину Кроху, — выговорил Галли-

поли фон Кесслер. — Вот ведь, того и гляди дуба врежет, а у самого вымахал, как едрен бамбук под дождем.

Из все еще сладко спящего тельца-скелета Крохи Мидлтона вздымался, стоял, торчал, точно полковой флагшток, здоровенный елдак, при этом сам былой богатырь-христианин спал себе на спине, не ведая ни о каком внимании к себе, счастливо гоняясь во сне за чем-то порочным, и на его греховности нимало не сказывались ни голод, ни болезнь.

Такое, все согласились, греет душу, тем более принимая во внимание, как низко скатился Кроха Мидлтон за последние недели. Вид восхищал настолько, что, будя других, узники сдерживали голоса и жестами предлагали проснувшимся взглянуть. Среди сдерживаемого смеха, непристойных шуток и общего веселья, вызванного увиденным, лишь один человек шел наперекор.

— Что, ни на что получше мы не способны? — вопрошал Петух Макнис. — Ржать над человеком, когда он сник?

Друган Фахи заметил, что, на его взгляд, у Крохи просто красота как воспрял.

— В вас, мужланах, нет ни капли порядочности, — бормотал Петух Макнис. — Никакого

уважения. Не как у былых австралийцев.

— Да прикрою я его, коли тебе хочется, Петух, — сказал Смугляк Гардинер. Подобрав валявшийся возле его бедра целый конус яичной скорлупы, он перегнулся и аккуратно пристроил его на конце вскинувшегося от возбуждения пениса.

Кроха знай себе спал. Его околпаченный елдак возносился среди них, словно свежий лесной гриб, этак легонько-легонько подрагивающий под ветерком раннего утра.

— Гадко насмехаться, — сказал Петух Макнис. — Мы, выходит, ничуть не лучше этих вшивых япошек, если поступаем так.

Смугляк Гардинер указал на скорлупу, которая больше была похожа на какую-то митру, и возгласил:

— Его произвели в папы, Петух.

— Иди к черту, Гардинер, — сказал Петух Макнис. — Оставь бедолагу в покое и не лишай его последней порядочности.

Рывком сев в постели, он вскочил на ноги и подошел к месту, где спал Кроха Мидлтон. Склонившись поверх раскинутых ног Крохи, Петух протянул руку, чтобы убрать то, что он считал унизительной шуткой.

Стоило пальцам его сомкнуться вокруг яичного

конуса, как Кроха Мидлтон проснулся. Взгляды их встретились, рука Петуха Макниса застыла на скорлупе, может, та даже и малость смялась. Кроха Мидлтон вскочил, охваченный яростью и ретивостью, каких никак нельзя было ждать от его изможденного тела.

— Ну ты, Петух, извращенец дрюченый!

Когда Петух Макнис, униженный, сделавшийся общим посмешищем (самым же большим насмешником, в частности, был Смугляк Гардинер), возвратился к своему месту на спальном настиле, он сделал огорчительное открытие. Роясь в вещевом мешке в поисках «Майн кампф» (хотелось проверить заученное наизусть), он обнаружил, что утиное яйцо, купленное три дня назад и спрятанное в вещмешке, пропало. Сопоставив пропажу яйца со скорлупой от утиного яйца, которую Смугляк Гардинер водрузил на Кроху Мидлтона, он пришел к выводу, что яйцо у него украл Черный Принц.

Ничего с этим, разумеется, поделать было нельзя: Гардинер стал бы отрицать кражу, остальные заржали бы еще громче, возможно, даже эта кража доставила бы им удовольствие. Но в тот момент он ненавидел Гардинера — гада, который его обокрал, а потом еще и использовал украден-

ное, чтобы унизить его, Макниса, — такой лютой ненавистью, что превосходила все его дурные чувства в отношении японцев. А ненависть была для Петуха Макниса — всем.

4

Смугляк Гардинер оделся, а поскольку у него, как и у всех остальных, никакой одежды, кроме форменной фетровой шляпы, не было, он нахлобучил ее на голову, херову же обмотку (набедренную повязку из неопрятных лоскутов, что разве член прикрывала и мало что другое) и так носил днем и ночью, — времени такое одевание не требовало. Заправил постель, а поскольку постелью это не было, то и это у Смугляка Гардинера не отняло времени: свернул одеяло, как то предписывалось правилами Имперской японской армии, затем уложил его на место, определенное правилами Имперской японской армии, — в ногах спального места на бамбуковом настиле. Дождь перестал. Звук барабанящих по листьям капель сменился перекличкой птиц, цедивших свое пение джунглям.

Смугляк подхватил один из восьми все еще принадлежавших ему предметов, свой походный набор посуды: два побитых оловянных котелка, вложенные друг в друга, служившие и тарелкой, и кружкой, и хранилищем для еды, — и прилаживал его проволочную ручку, похожую на заколку

для волос, к своей крестообразной обмотке, когда послышался крик. Несколько охранников направлялись к палатке для внезапной проверки. Тут же поднялась отчаянная суета: складывались одеяла, вещмешки приводились в приличный вид, разного рода контрабанда пряталась как можно лучше.

Два охранника во главе с Вараном прошли по центральному проходу барака мимо стоявших по обе стороны перед общими нарами заключенных, замерших по стойке смирно. Варан вытряхнул содержимое одного вещмешка в грязь за дверь, без всякой видимой причины дал оплеуху какому-то заключенному, а потом остановился напротив Смугляка Гардинера.

Варан снял с плеча винтовку, долгим медленным движением подцепил кончиком дула одеяло Смугляка и сбросил его на заляпанный грязью пол. Какое-то время он сверлил взглядом неопрятное одеяло, потом вновь поднял голову. Громко заорал и со всей силы врезал ружейным прикладом Смугляку Гардинеру по скуле.

Заключенный упал, но запоздал поднять руку, чтобы защититься, и другой охранник пнул его ногой в лицо. Смугляку удалось боком заползти под защиту бамбукового настила, но еще раньше

Варан успел сильно ударить его ногой по голове. На том экзекуция так же внезапно, как и началась, прекратилась.

Варан пошел дальше по проходу своей необычной важной походкой, дал за здорово живешь оплеуху Другану Фахи, после чего вышел с другого конца барака со всем своим эскортом. Смугляк Гардинер с трудом, пошатываясь, поднялся на ноги, в голове все еще шумело, во рту было солоно от крови, тело вымазалось в грязи, набившейся под спальный настил.

— Складка, — сказал Джимми Бигелоу.

— Не так уж и плохо вышло, — сказал Смугляк.

Он имел в виду побои. Выплюнул сгусток крови. Тот был чересчур солон и чересчур жирен для такого истощенного тела, как его. Голова кружилась. Сунув палец в рот, он пощупал клык, на который пришлись удары. Зуб шатался, но, если повезет, устоит. А вот с головой нехорошо.

— Ты про складку забыл, — сказал Баранья Голова Мортон.

— Да сложил я эту, мать ее, херню, — отмахнулся Смугляк Гардинер.

Джимми Бигелоу указал зажатым между большим и указательным пальцами дымящимся окурком, который он только что прикурил, на

собственное одеяло и произнес:

— Глянь.

Складка была подогнана наружу.

— А ты подогнал складку внутрь, — заметил Баранья Голова Мортон. — Против правил япошек.

— Ты и сам знаешь. Варан подумал, что ты нассал на правила, — сказал Джимми Бигелоу, выпуская дым. — Держи, — он протянул Смугляку размокший окурок.

Рука Джимми Бигелоу была покрыта потрескавшимися цыпками, по ней ползало множество насекомых, сплошь желтых и красных. От заразы Смугляк приходил в ужас. Болезнь вцеплялась в тебя и уже никуда не отпускала.

— Держи, — предложил Джимми Бигелоу. — Бери.

Смугляк Гардинер не шевельнулся.

— Тут вокруг одна только смерть заразна, — хмыкнул Джимми Бигелоу, — а у меня ее нету. Лады?

Смугляк Гардинер взял курево и (не давая ему коснуться губ) поднес к открытому рту.

— Пока нету, — уточнил Джимми Бигелоу.

Смугляк затянулся. Он смотрел, как четверо пленных несут, спотыкаясь, бамбуковые носилки к лазарету.

— Это, кажись, Цыган Нолан, — проговорил Друган Фахи.

Дым перекатывался во рту Смугляка. Он был кислым, крепким и приятным.

— Накрылись, значит, медным тазом наши схватки в криббидж вчетвером, — печально проронил Баранья Голова Мортон. И обернулся к Петуху Макнису: — У тебя есть желание его место занять?

— Что? — воскликнул Петух, все еще приходя в себя после унижения с яичной скорлупой.

— Цыган. Он… Он… как бы сказать… Ушел. А в криббидж играть любил. Ему даже думать противно было, что он попросту…

— Умирает?

— Как сказать. Вроде того. То есть малый, может, и был идиотом. Но карты обожал. Вот такого цыгана я и помню. Еще я знаю, что он хотел, чтоб мы продолжали играть.

— В криббидж? Почему бы и нет? На бридж Цыган никогда не тянул.

Смугляк Гардинер сделал долгую медленную затяжку с кончика окурка во второй раз, глубоко вдыхая дым и удерживая его в себе. На какой-то миг мир сделался недвижим и безмолвен. С обильным маслянистым дымом пришел покой,

и он ощущал его, словно бы мир застыл и будет оставаться застывшим до тех самых пор, пока дым держится у него во рту и в груди. Он закрыл глаза и, держа окурок в протянутой руке, чтобы Джимми Бигелоу взял его обратно, целиком отдавался небытию, которое влилось в его тело с обильным дымом. Но с головой у него было плохо.

— Терпеть не могу карты, — сказал Петух Макнис.

Снова полил дождь. От него шел шум и никакого уюта. Дождь не сеял приглушенно по тиковым деревьям и бамбуку, не вздыхал, не водворял упоительной тишины. Скорее он обрушивался на колючий бамбук, и этот ливень звучал для Смугляка Гардинера, как грохот множества разламывающихся вещей. Ливень грохотал так, что говорить было невозможно.

Он вышел из палатки и стоял под этими потоками, смывая с себя грязь. Вокруг его ног потекли грязные ручейки, дождь, раз за разом обшаривая лагерь, прокладывал бороздки и русла для них. Он разглядывал походную кухню-каталку возле их палатки, а спустя секунду увидел одноногого австралийца с Запада, догонявшего ее, прыгая на бамбуковых костылях.

Но с головой у него было плохо.

5

Дорриго Эванс бреется каждое утро, потому как убежден, что обязан (ради них обязан!) выглядеть подтянутым, — ведь если он будет выглядеть так, будто его больше ничего не заботит, какой тогда спрос с них? И когда он смотрится в маленькое казенное зеркальце, в мутном отражении нечетко видит лицо мужчины, который больше не он: старее, худосочнее, костлявее, жесткий, каким он никогда не бывал, более далекий и выезжающий на каких-то жалких подпорках вроде офицерской фуражки, лихо заломленной набекрень, красного шарфа, косынкой повязанного вокруг шеи, — нечто цыганское, скорее для самого себя, нежели для них.

Три месяца назад по пути в лагерь ниже по реке, где он надеялся раздобыть лекарств, он набрел на тамила-ромуся в рваном красном саронге, сидевшего у ручья и ожидавшего смерти. Старику было не до того, чтобы ждать от Дорриго Эванса какой бы то ни было помощи. Он ждал смерть, как турист — попутный автобус. Месяц назад, вновь идя той же дорогой, он опять набрел на старика — теперь уже это был скелет, добела

объеденный зверями и насекомыми. Он снял со скелета саронг, отстирал, порвал пополам и повязал кусок получше вокруг шеи. Когда к нему придет смерть, он надеялся встретить ее так же, как и старый тамил-ромуся, хотя и сомневался, что у него получится. Он не принимает велений жизни и не примет, как считал, власти смерти.

Дорриго замечает, что и они, его солдаты, тоже куда старше, чем были бы, если б выжили и старели бы на воле. Где-то в глубине души знают ли они, что должны только страдать, но не причинять страданий? Он понимает, что культ Христа обращает страдание в добродетель. Когда-то он спорил об этом с падре Бобом. В нем живет надежда, что Христос прав. Только он не согласен. Никак не согласен. Он — врач. Страдание есть страдание. Страдание не добродетель, и оно не порождает добродетель, и вовсе не обязательно, что добродетель проистекает из него. Падре Боб умирал, крича, охваченный ужасом, болью, безнадежностью. Ухаживал за ним пленный, о котором Дорриго Эванс знал, что тот до войны был безжалостным громилой в Дарлингхерст-

ской банде[52]. Добродетель есть добродетель, и, подобно страданию, она невыразима, неодолима и недоступна пониманию. В ночь, когда умер падре Боб, Дорриго Эвансу приснился сон, будто он в яме с Богом, что оба они лысые и дерутся из-за парика.

Дорриго Эванс не слеп к человеческим качествам узников. Они лгут, обманывают, охотно крадут. Худшие из них симулируют болезни, самые гордые — здоровье. Благородство зачастую обходит их стороной. Только вчера он наткнулся на человека до того больного, что тот лежал, уткнувшись лицом вниз, едва нос из грязи торчал, на дне скальной площадки, обозначавшей конец Узкоколейки, у него не было сил сделать последние сотни шагов к дому. Двое шли мимо него, слишком изможденные, чтобы помочь, стараясь сохранить те жалкие силы, что еще оставались, для собственного выживания. Ему пришлось приказать им помочь тому голому человеку добраться до лазарета.

И все же каждый день он переносит их, ухаживает за ними, держит, вскрывает и зашивает,

[52] Примечания: 52

Одна из организованных преступных группировок пригорода Сиднея, участвовавшая в многочисленных «битвах на бритвах» 1920—1930-х гг. между бандами за контроль над нелегальной деятельностью в городе.

играет в карты за их души, бросает вызов смерти, вырывая у нее еще одну жизнь. Он сам тоже лжет, и обманывает, и крадет, но — ради них, всегда ради них. Ведь он уже успел полюбить их и каждый день понимает, что бессилен в своей любви, потому что каждый день их умирает все больше и больше.

Много времени миновало с тех пор, как его волновали мысли о женщинах. Зато о ней он думает до сих пор. Его мир за пределами здешнего сузился до нее. Не до Эллы. До нее. Ее голоса, ее улыбки, ее гортанного смеха, запаха ее спящей. Мысленно он ведет с ней беседы. Уж не потому ли он любит своих солдат, что ее у него быть не может? Ее у него быть не может. Он не может ответить самому себе. Не может. Дорриго Эванс нетипичен для Австралии, нетипичны и они, добровольцы из малонаселенных уголков, трущоб и царств теней их обширной родины: перегонщики скота, загонщики-капканщики, портовые грузчики, охотники на кенгуру, чиновные козявки, ловцы диких собак и стригали. Есть среди них банковские клерки и учителя, лесорубы и наездники кляч, на которых мало кто ставит, выжившие

в Великой депрессии[53], ловцы удачи, уличная шпана, отморозки, подавальщики и уборщики, преступники, простаки-тугодумы и крутые негодяи, поруганные Великой депрессией, что обрекла их на жизнь в хибарах и лачугах без электричества вместе со стариками-отцами, кого погубила, изуродовала или свела с ума Большая война, и старухами-матерями, перебивавшимися между горечью и надеждой, в солдатских поселениях, в лагерях вспоможения, в трущобах и лачужных поселках, в мире девятнадцатого века, приковылявшего в середину двадцатого.

Каждый умерший, естественно, означает сокращение их числа, однако та тысяча военнопленных, которые с самого начала покинули Changi как «сводный отряд Эванса» (сборная солянка выходцев из Тасмании, Западной Австралии, сдавшихся на Яве, из Южной Австралии, сдавшихся в Сингапуре, из уцелевших после потопления эсминца «Ньюкасл», из немногочисленных выходцев из Виктории и Нового Южного Уэльса, кому не повезло в других военных передрягах, и нескольких летчиков Королевских ВВС), все еще оставалась «сводным отрядом Эванса».

[53] Примечания: 53

Пик Великой депрессии в Австралии пришелся на 1932 г., когда безработица достигла 29 % и произошло больше всего голодных бунтов.

Они были им, когда прибыли сюда, им они и останутся, когда выберутся отсюда: «сводным отрядом Эванса» численностью в тысячу душ — даже если под конец в строю, маршем выходящем из этого лагеря, останется всего один человек. Они — выжившие в горестные, вымученные десятилетия, сохранившие тот неодолимый минимум: веру друг в друга, веру, что верность их лишь окрепнет, когда придет смерть. Ведь если существование мирится с уходом мертвых, их собственная жизнь теряет смысл. Сам факт их собственного выживания так или иначе требует, чтобы они оставались единым целым, ныне и вовеки.

6

Увязший в грязи грузовик доставил мешок писем из Австралии. Это было редкое и нежданное удовольствие. Военнопленные знали, что японцы задерживают почти всю почту, и какова же была радость, когда еще до конца завтрака мешок был вскрыт, а его содержимое — роздано. Дорриго испытал восторг, получив первое почти за год письмо. Еще даже не взглянув на почерк, по жесткому картонному конверту он понял, что письмо от Эллы. Он решил не вскрывать его до вечера, откладывая удовольствие почувствовать, что где-то еще один, лучший, мир продолжает существовать, мир, где ему нет места и куда он когда-нибудь вернется. Но почти тут же разум его воспротивился, он надорвал конверт и так взволнованно стал разворачивать две странички, что даже порвал. И принялся читать — жадно, взахлеб.

Остановился, одолев две трети первой страницы. Понял: дальше читать невмоготу. Словно бы он запрыгнул в машину и, вдавив педаль газа в пол, направил ее прямо в стену. Буквы, выписанные изящным каллиграфическим по-

черком Эллы, то и дело мешались и пылинками вздымались со страницы, все больше и больше отскакивающих друг от друга пылинок, и ему все никак не удавалось вызвать в памяти ее лицо. Оно казалось чересчур реальным и одновременно совершенно нереальным.

Он не понимал, то ли это приступ малярии, от которой он еще не совсем оправился, то ли это от истощения или от потрясения, вызванного получением письма, первого, считай, за целый год. Он перечитал написанное, но оно затерялось в памяти разом четкой и нечеткой, пылинки сверкали ярче и кружились все бешеней, уходящее солнце слепило как никогда, а он, сев, никак не мог четко увидеть ее лицо. А еще мысль: мир существует. Он просто есть. Он помнил, как сидел в крохотном «Остине», фургончике для доставки хлеба, когда ехал к побережью, все еще держал в памяти едкий запах его набивки конским волосом и лежалой муки, чувствовал его жгучее жало на аделаидской жаре, когда стал регулярно наведываться в дядюшкину гостиницу: нервничал так, что живот подводило, во рту сухость, рубашка слишком тесная, каждое сердцебиение как глухой удар. Гостиница всплыла в памяти, словно он еще раз побывал там: веранды глу-

бокие и затененные, крошащаяся ржавчина на узорной ограде, топаз моря, разметанный ветром, далекие потрескивающие звуки исполняемой Лесли Хатчинсоном песни «Глупые эти мелочи», которые слышно, будто тело несется вместе с волной, укрывшись под ее гребнем. А вот из лица Эми он не мог вспомнить ничего.

Что же, раздумывал он, за желание такое владело им быть с ней и только с ней, быть с ней ночью и днем, раз за разом выслушивать даже самые ужасные из ее россказней, самые банальные из ее высказываний, водить носом по ее спине, чувствовать, как ее ноги оплетают его, слышать, как со стоном слетает с ее губ его имя, это желание, превосходящее по силе все остальное в жизни? Как назвать ту боль, что он чувствовал из-за нее в желудке, то стеснение в груди, то ошеломляющее головокружение? И как выразить — любыми словами, только не набившими оскомину, — что теперь он одержим лишь одной мыслью, которую сам уже воспринимал как инстинкт: он должен быть рядом с ней, с ней и только с ней.

Она жаждала проявлений пылкой любви. Самые пустячные подарки всегда трогали ее, вновь внушали ей уверенность, что его чувства к ней не исчезли. Для нее эти подарки, признания, уве-

рения были потребностью. Доказательством, что они — это *они*. Для нее, лишенной возможности составлять с ним пару, это было единственное время от времени получаемое доказательство, что некогда она знавала такое счастье.

Возможно, в глубине души Эми в отличие от Дорриго была реалисткой. Или ему так казалось. И вот в один прекрасный день, когда они вместе были в городе, он снял почти все свои сбережения, чтобы купить ей жемчужную подвеску: одна-единственная жемчужина, искусно вправленная в серебряную цепочку. В его представлении жемчужина словно бы проглядывала над ее талией на дорожке, проложенной по морю луной. Она гневно отчитала его за эту глупость, дважды требовала вернуть подвеску, зато восторг ее был неоспорим. Ведь она получила то, чего жаждала, пусть никогда и не смогла бы носить украшение на людях: доказательство, что они — это *они*. Даже теперь он ясно видел в памяти ту подвеску. Зато из лица ее — ничего.

— Когда ты впервые увидела меня в книжном магазине, — сказал он тогда, управившись с треугольной застежкой подвески и поцеловав ее сзади в шею. — Помнишь?

— Конечно, — сказала она, держа палец на

жемчужине.

— Теперь я думаю, не тогда ли ты как-то соединила нас?

— Ты это про что?

Но он и сам не знал, о чем это он, и перепугался того, на что наталкивали его мысли. Если так и было, неужели он настолько слабо управляет своею жизнью? Он вспомнил, как плавал однажды у берега в ожидании, когда она вернется из города. Откатившаяся волна подхватила его снизу и тащила за собой несколько сотен ярдов, прежде чем ему удалось выбраться.

— Откатившаяся волна, — сказал он тогда. — От нас.

Она тогда засмеялась и сказала:

— Прекрасная подвеска.

Даже сейчас у него будто перед глазами стояла миниатюрная луна той подвески, сверкающая в электрическом свете ювелирного магазина, он видел треугольную застежку, покоящуюся на основании ее шеи, окаймляя ту еле различимую, притягательнейшую гряду, что елочкой уходила от шеи вниз. Но вдруг отовсюду полетели пылинки, шум дождя нарастал, и он никак не мог увидеть ее лицо, не мог услышать ее голос, стоявший рядом Бонокс Бейкер, глядя в небо,

недобрым словом поминал *тенко*[54], а Эми там не было. «Если мы сейчас не пойдем, — ныл Бонокс Бейкер, — то опоздаем, и бог знает, какого бедолагу отправят работать».

На миг Дорриго Эванс растерялся, не понимая, где он. Полная уверенность все еще не пришла, а он уже положил письмо рядом со своей кроватью и вышел из казармы под дождь.

И опять мысль: мир существует. Он просто есть.

[54] Примечания: 54
Перекличка (*яп.*).

7

Петух Макнис с опозданием присоединился к толпе, устало шагающей под дождем по грязи их лагеря обреченных к столовке. Не считая крестообразных обмоток и фетровых шляп АИВ, большинство заключенных ходили голыми, и чем меньше на них оставалось одежды, чем больше истощались и становились жалкими их тела, тем чаще, казалось, лихо, по-молодецки набекрень носили они свои форменные шляпы, словно в очередной раз собирались вечерком ударить по пиву и борделям в Палестине. Только вот бахвалиться, как прежде, им было уже не перед кем.

Запах дымка от горящих поленьев, небольшое прибежище из теплого сухого песка вокруг грубо слепленных из глины топок, расслабленность людей, которых вот-вот будут кормить, приглушенный гул разговоров — все это в большинстве случаев наделяло столовку ощущением чего-то домашнего, радушного в чуждом и неприветливом мире. Но в то утро столовку заливал дождь. Несколько ручейков стекали с ее пальмовой крыши, взрываясь облачками пара, когда вода

попадала на печки, приправляя рис, который томился в широких чугунных поддонах сажей, которую вода тащила за собой с почерневших балок. Пол на добрых два дюйма ушел под воду. Петух Макнис, добравшись до раздачи, отстегнул свой походный столовый набор и, когда подошла его очередь, протянул оба котелка. Чашечка водянистой рисовой кашицы, служившей завтраком, шлепнулась в один, а грязный шарик риса, служивший обедом, в другой.

— Ну, проходи, что ли! — буркнул голос у него за спиной.

Петух Макнис распрямился. Шлепая по воде, он выскочил обратно на муссонный дождь. Теперь ему предстояло выбрать: либо попытаться по скользкому склону со своей рисовой кашицей вернуться под относительное укрытие палатки, там сесть и съесть завтрак, либо, как делали многие заключенные, стоять под дождем и глотать как можно быстрее. В конце концов, важна была не еда, важно — выживание.

Он смотрел, как мимо прошел Смугляк Гардинер, направляясь обратно в палатку, чтобы поесть. Смугляк был из тех заключенных, которые обращали прием пищи в небольшой церемониал, словно усаживался не за несколь-

ко ложек тошнотворного риса, а за воскресное мясное жаркое. У Петуха же Макниса, напротив, как он ни старался не спешить со своим пойлом, всякий раз ничего не получалось.

Он понимал, что есть смысл в удовольствии подержать еду с минуту-другую — просто зная, что можно поесть, и радуясь предвкушению почти так же, как и самой еде, в том, чтобы есть медленно, смакуя каждую из немногих отправляемых в рот порций (и даже умножая их, размазывая кашицу по ложке так, чтоб можно было слизывать с нее по многу раз), а не в том, чтобы в три-четыре глотка проглотить все. Однако у него так никогда не получалось.

И Петух Макнис ненавидел минуту, когда, проглотив собственный рис, он поднимал взгляд и видел, как такой человек, как Смугляк Гардинер, все еще завтракает, неспешно и безмятежно, поедая то, что у него осталось. В такие минуты Петух Макнис старался отвести взгляд, не обращать внимания на зависть, которая болезненно раздувала ему пустое брюхо, отделаться от гнева, мутившего его неистовый разум. Он давал себе слово, что в следующий раз он, Петух Макнис, тоже будет одним из тех, на кого обернутся все эти обтянутые кожей черепа, все эти костистые

рожи и громадные мечтательные глаза и будут завистливо смотреть, отчаянно жаждая хотя бы немного его кашицы. В тот следующий раз уже он будет обладать таким недоступным достоинством, которое превратит поедание кашицы в акт мужества, даже станет вызовом.

Только ему этого никогда не сделать.

Голод его походил на дикого зверя. Голод был отчаянным, бешеным, требовавшим от него любую найденную еду проглатывать сразу же. «Просто жри, — визжал голод. — Жри! Жри! Жри!» И все время он понимал: это его голод его жрет.

Послышался крик. Повернувшись, Петух Макнис увидел, как Смугляк Гардинер поскользнулся в грязи, его рисовая каша разлетелась вокруг. Он поймал обескураженный взгляд Смугляка и не отпускал его ни на секунду раньше, чем хотелось, потом, опустив глаза, смотрел на то место, где в бурой грязи проливной дождь уже размывал рисовую кашицу в блестящее серое пятно.

Петух Макнис отвернулся и, стоя к Смугляку спиной, сожрал остаток своей кашицы. На это ушло несколько секунд. «Считай, и не ел ничего, — подумал он. — Мужику на завтрак вдесятеро больше еды требуется».

— Грязные желтые свиньи всех нас уморят го-

лодом до смерти, — произнес он вслух, ни к кому не обращаясь.

Закончив, он обернулся и увидел, как Кроха Мидлтон (нелепая фигура, до того тощая, что бедра у него выпирали, точно слоновьи уши) неуклюже помогает Смугляку Гардинеру подняться на ноги. Пока Петух дочиста вылизывал свой котелок, он не сводил глаз с этого скелета, который поднял миску Смугляка, отложил в нее половину своей рисовой кашицы и сунул тому в руки.

Петух Макнис собрал свой походный набор, уложив внутрь обеденный шарик риса, и прицепил котелки к набедренной повязке. Он не видел никакого смысла в том, что оскорбленный человек помогает своему мучителю, пожертвовав тому половину своей еды. Таким людям, по его мнению, не ведомы ни стыд, ни самоуважение. С непонятной отрадой на душе, что ему нет необходимости делиться своим завтраком, он подошел к тем двоим и положил руку на запачканное грязью плечо Смугляка Гардинера.

— Помощь нужна, Гардинер?

— Все в порядке, Петух.

Заметив, что другие потянулись на утренний развод, Петух Макнис поспешил прочь, при-

соединяясь к неровному строю оборванцев, державших путь к западному краю лагеря. Там, перед двухкомнатной хижиной на сваях с бамбуковыми стенами и крышей из пальмовых листьев, которая служила японским инженерам управленческой конторой, располагался болотистый кусок земли, служивший плацем для разводов. Здесь проводилась утренняя *тенко*, здесь их пересчитывали и разбивали на рабочие бригады на день.

Добравшись до плаца, Петух Макнис смотрел на остальных, которые шли со всего лагеря: кто хромал, кого поддерживали товарищи, чтоб шел прямо, кто-то притворялся, а кто-то едва не на карачках полз. Рядом с ним оказался Джимми Бигелоу, который на чем свет стоит клял и день нынешний, и Господа.

— Очень красиво, — произнес Петух, которому по душе было озвучивать только утонченные мысли. Утонченные мысли, как он убедился, к тому же порой еще и тем полезны, что отбивают охоту к общению у людей вроде тех, что сейчас стояли рядом. Заключенные старались держаться одной кучкой с теми, с кем обитали в одной палатке. В самых лучших случаях (а этот был каким угодно, только не таким) такое товарищество

особой пользы Петуху Макнису не приносило, а после недавнего унижения вообще мало что значило. Когда уклониться от него было нельзя, он старался отделаться.

— Это собор природы, — сказал Петух, указывая на рощу высокого бамбука.

Джимми Бигелоу, подняв глубоко запавшие глаза к небу, видел только сплошь темное небо раннего утра с черными прорехами джунглей внизу.

— Лады, — изрек Джимми Бигелоу.

— Только посмотри, как склоняются они друг к другу, образуя величественные готические арки, — вещал Петух Макнис. — А позади них тиковые деревья обозначают эти филигранные линии, как хрустальные проемы.

Джимми Бигелоу уставился на мрачную линию деревьев. И спросил, не имел ли Петух в виду: как «Кинг-Конг». Тон у него был неуверенный.

— Убежден, что красота насыщена витаминами, — произнес Петух Макнис.

Джимми Бигелоу сказал, что, как ему кажется, так витамины находятся в витаминах.

— В красоте, я сказал, — поправил Петух Макнис.

Ни во что такое он не верил, зато слышал, как

Кролик Хендрикс рассуждал о подобной чепухе. В таких возвышенных чувствах, остающихся возвышенными, даже если украдены у других, он видел свидетельство более утонченной натуры, которая отделяла его от сброда низшего порядка и гарантировала выживание.

По небу с безумной скоростью неслась темная дождевая туча. Пробивавшийся сквозь бамбук свет резко померк, ветви тиков вновь пропали в сером тумане, несколько крупных капель дождя очертя голову полетели к земле, и уже через несколько секунд ревущим потоком обрушился дождь. Джунгли слились в единое целое и невероятно гнетущее. Тяжелые струи воды падали с верхушек деревьев и отскакивали от земли сбоку от плаца, словно даже землю тошнило от дождя и она не могла дождаться, когда он кончится. Но он не кончался. Было ощущение, что дождь намеревается подчинить себе все вокруг. Он становился все сильнее — тяжелее, резче, лил с таким грохотом, что люди отчаялись даже кричать друг другу, пока ливень не стихнет хотя бы малость.

Заключенные все прибывали. Больных было — как никогда раньше. Те, кто не мог стоять, сидели или лежали вдоль громадного тикового бревна на одной стороне плаца, это место называлось

Стена Плача. Сквозь пелену дождя Петух Макнис смотрел, как к плацу по грязи с трудом пробирается какой-то землекоп. Рядом с ним вышагивал другой заключенный, они держались вместе, будто направлялись на скачки. Тот, что еле передвигался, похоже, не нуждался в помощи, а шедший рядом, похоже, и не думал ее предлагать. И все же, когда в водяном мареве они сливались воедино, Петуху Макнису казалось, будто что-то их связывает.

Когда они наконец-то подобрались поближе, он понял, что это Кроха Мидлтон (он-то и передвигался еле-еле), а рядом с ним идет Смугляк Гардинер, словно ничего более естественного на свете и быть не может. Дважды он увидел, как Гардинер предлагает своему спутнику поддержку, но Мидлтон, похоже, намеревался дойти до места своими ногами.

И вид этих двоих, кого он презирал всей душой, вид искалеченного с приятелем, который, может, и способен над ним посмеяться, зато не способен его бросить, вид того, чем обладали даже самые ничтожные, но чем он, Петух Макнис (он и сам понимал!), не обладал, не имел для него никакого смысла и сразу же наполнил его самой жуткой ненавистью. Петух Макнис отвернулся, поворо-

тился к бамбуку и вновь попытался вообразить его себе в виде готических арок, узилище свое представить собором, а сердце свое насытить красотой.

8

Пока заключенные с Дорриго Эвансом во главе собирались под проливным дождем, японцы ждали в управленческой конторе, пока ливень поутихнет, и только после этого вышли. К удивлению Дорриго Эванса, с ними был и Накамура. Обычно разводка проходила под надзором лейтенанта Фукухары. В отличие от Фукухары, которому всегда удавалось сохранять на плацу вид, как на параде, Накамура в своей офицерской форме выглядел замызганным, рубашка его была покрыта темными заплесневелыми пятнами. Он остановился, чтобы подвязать обмотку, завязка которой волочилась по грязи.

В ожидании Дорриго Эванс разминал тело, как делал когда-то на поле для регби, готовясь к поединку. Заключенных пересчитали (утомительная процедура, во время которой каждый должен был прокричать свой номер по-японски). Как командир и главный офицер-медик Дорриго Эванс доложил майору Накамуре, что за вчерашний день умерло четыре человека, еще двое — за ночь и что после этого осталось восемьсот тридцать восемь военнопленных. Из

этих восьмисот тридцати восьми шестьдесят семь больны холерой и находятся в холерном карантине, еще сто семьдесят девять лежат в лазарете с очень серьезными болезнями. Еще сто шестьдесят семь заключенных слишком больны, чтобы выполнять какую-либо работу, помимо необременительных дежурных обязанностей. Он указал на заключенных, прислонившихся к бревну, и заявил, что там собралось еще шестьдесят два человека в дополнение к тем, что сегодня числятся больными.

— Таким образом, для работы на железной дороге остается триста шестьдесят три человека, — закончил доклад Дорриго Эванс.

Фукухара перевел.

– *Го хяку*, — произнес Накамура.

— Майор Накамура говорить, у него должно быть пятьсот заключенных, — перевел Фукухара.

— У нас нет пятисот годных человек, — сказал Дорриго Эванс. — Нас косит холера. Она…

— Австралийцы должны мыться, как японский солдат. Горячая баня каждый день, — отчеканил Фукухара. — Быть чистый. Тогда никакой холера.

Никаких бань не было. Не было времени нагреть воды, даже если бы у них и были бани.

Слова Фукухары поразили Эванса своим самым мучительным издевательством.

– *Го хяку!* — взорвался Накамура.

Этого Дорриго Эванс не ожидал. На минувшей неделе требовалось четыреста человек, и после театрального представления, которое они с майором разыгрывали, обычно сходились примерно на трехстах восьмидесяти. Но каждый день становилось все больше умерших и больных и меньше способных работать. А теперь еще и холера. Однако главный медик стоял на том же, с чего начал, и повторил: к работе пригодны триста шестьдесят три человека.

— Майор говорить, предоставьте больше кого из лазарета, — сказал Фукухара.

— Там лежат больные, — сказал Дорриго Эванс. — Если их поставят на работу, они умрут.

– *Го хяку*, — произнес Накамура, не дожидаясь перевода.

— Триста шестьдесят три человека, — сказал Дорриго Эванс.

– *Го хяку!*

— Триста восемьдесят, — сказал Дорриго Эванс, надеясь, что они смогут поладить на этом.

– *Сан хачи*, — перевел Фукухара.

– *Ён хяку кюй йю го*, — произнес Накамура.

— Четыреста девяносто пять, — перевел Фукухара.

Легко поладить, видно, не удастся.

Торговля продолжалась. Через десять с лишним минут препирательств Дорриго Эванс решил, что если уж и придется отбирать для работы больных, то это должно определяться его познаниями в медицине, а не безумными требованиями Накамуры. Он предложил четыреста человек, еще раз повторив число больных, подробно перечислив бездну их хворей. Однако в душе Дорриго Эванс понимал, что его медицинские познания — никакой не довод и никакой не щит. Полковник чувствовал себя ужасно беспомощным, а тут еще и голод подтачивает силы изнутри, и он старался не думать про стейк, от которого так бесшабашно отказался.

— Но ведь если мы выставим больше четырехсот, — убеждал он, — то ничего не добьемся для императора. Умрут люди, от которых было бы куда больше пользы, стоило бы им поправиться. Четыреста — это самое большее, что мы можем предоставить.

Фукухара еще не успел перевести, а Накамура уже орал капралу. Из конторы быстренько принесли стул из гнутого дерева. Взобравшись на

него, Накамура обратился к заключенным по-японски. Речь его была краткой, закончив ее, он сошел со стула, на который забрался Фукухара.

— Майор Накамура имеет удовольствие руководить вами на строительстве железной дороги, — начал лейтенант. — Он сожалеть, обнаружив серьезные просчеты в делах здоровья. По его мнению, это из-за отсутствия японской убежденности: здоровье следует за волей! В японской армии тех, кто не способен исполнить задание из-за отсутствия здоровья, считают самыми постыдными. Преданность до смерти — хорошо.

Фукухара слез со стула, и майор Накамура снова взобрался на него и снова заговорил. На этот раз, закончив речь, он не спустился, а остался стоять на стуле, оглядывая сверху вниз ряды заключенных.

— Надо понимать японский дух! — орал Фукухара снизу, его бакланья шея ходила буграми, будто он изрыгает слова. — Япония работать готов, майор Накамура говорить, австралии должны работать. Япония кушать меньше, австралии кушать меньше. Япония очень сожалеть, майор Накамура говорить. Много люди должны умирать.

Накамура слез со стула.

— Убожество, — шепнул Баранья Голова Мортон Джимми Бигелоу.

Что-то упало. Никто не двинулся. Никто не проронил ни слова.

В переднем ряду упал какой-то заключенный. Накамура пошагал вдоль ряда заключенных, пока не дошел до упавшего.

— *Курра!*[55] — заорал Накамура.

Когда ни этот, ни повторный крик ни к чему не привели, японский майор пнул упавшего ногой в живот. Узник, шатаясь, поднялся на ноги и тут же свалился опять. Накамура с силой ударил во второй раз. Опять узник привстал на ноги и опять упал. Его громадные желчные глаза выпирали из орбит, как грязные шары для гольфа: нездешние, затерянные, из иного мира — и сколько бы Никамура ни орал, сколько бы ни бил ногой, узник оставался недвижим. Сильная впалость щек на изможденном лице создавала видимость, будто у него непропорционально большая челюсть. От этого все лицо походило на рыло дикой свиньи. «Недоедание», — подумал Дорриго Эванс, который пошел вслед за Накамурой, а теперь опустился на колени между ним и узником. Тот

---

[55] Примечания: 55
Эй, ты! (*яп.*)

лежал в грязи, не двигаясь. Тело его, похожее на вешалку для тряпья, было сплошь покрыто болячками, язвами и шелушащейся кожей. «Пеллагра, бери-бери и бог знает что еще», — соображал Дорриго. Ягодицы узника размером немногим превосходили потертые канаты, из которых каким-то узлом грязной веревки торчал задний проход. Вонючая грязно-зеленая слизь сочилась, стекая по его худым, как спички, ногам. Амебная дизентерия. Дорриго Эванс сгреб этот изгаженный куль, бывший человеком, на руки и, вновь встав на ноги, повернулся к Накамуре. Больной свисал с его рук, как вымазанная в грязи вязанка поломанных палок.

— Триста девяносто девять человек, — сказал Эванс.

Накамура был высок для японского солдата, что-то около пяти футов и десяти дюймов[56], и крепко сложен. Фукухара начал переводить, но Накамура поднял руку и остановил его. Потом, повернувшись к Дорриго Эвансу, наотмашь ударил того тыльной стороной ладони по лицу.

— Этот человек слишком болен, чтобы работать на Японию, майор.

---

[56] Примечания: 56
Около 178 сантиметров.

Накамура снова ударил его. И пока Накамура продолжал осыпать Дорриго Эванса оплеухами, тот напрягал все силы, чтобы не уронить недужного. При шести футах и трех дюймах[57] росту Дорриго Эванс был высок для австралийца. Разница в росте поначалу помогала ему уклоняться от ударов, но мало-помалу те свое взяли. Он всеми силами старался распределять вес поровну на обе ноги при каждом следующем ударе, держать равновесие, не обращать внимания ни на какую боль, как будто шла какая-то игра. Однако это не было игрой, это было чем угодно, но только не игрой, и он это тоже понимал. И по тому, как он воспринимал это, наказание он получал по праву.

Потому как он солгал.

Потому как число триста шестьдесят три не было правдой. И триста девяносто девять — тоже не было. Потому как, считал Дорриго Эванс, правдивым числом был ноль. Ни один заключенный не годился для того, что требовалось японцам. Все в той или иной мере страдали от голода и болезней. Ради них он пускался в игры, как всегда пускался в игры, потому что это было лучшее, на

---

[57] Примечания: 57
Около 190 сантиметров.

что был он способен. И Дорриго Эванс понимал: есть еще число, иное, чем ноль, которое тоже правдиво, и именно с этим числом ему предстоит теперь дополнительно включить в свои расчеты тех, у кого меньше шансов умереть, прибавив их к нынешним тремстам шестидесяти двум наименее больным. И эта чудовищная арифметика сваливалась на него каждый день.

Он уже начинал задыхаться. Пока Накамура продолжал осыпать его ударами, он сосредоточенно рылся в памяти, вновь перебирая всех положенных в лазарет, поправляющихся, занятых исполнением легких обязанностей. Накамура бьет его по этой щеке, потом по другой, а он снова считает, сколько в лазарете больных… наверное, человек сорок… кого при надлежащем уходе можно было бы перевести на легкий труд (пока он будет оставаться очень легким), и тогда примерно такое же количество самых крепких легкотрудников можно было бы включить в рабочие бригады. В общем, получалось четыреста шесть. «Да, — подумал он, — это самое большее, сколько можно набрать: четыреста шесть человек». И все же он понимал, пока Накамура все хлестал и хлестал его по лицу, что сегодня этого не хватит. Придется выдать Накамуре гораздо

больше людей.

Майор Накамура, так же внезапно, как и начал, прекратил его лупцевать и отошел в сторону. Почесав бритую голову, майор поднял взгляд на австралийца. И впился в него глазами, вглядываясь в самую глубь зрачков, австралиец ответил ему тем же, и в таком обмене взглядами оба выразили то, чего не было в переводе Фукухары. Накамура дал понять, что во что бы то ни стало настоит на своем, а Дорриго Эванс в ответ напомнил, что они лица равные и он не уступит. И только после того, как молчаливая перепалка наконец завершилась, вновь возобновился торг на этом базаре жизни и смерти.

Накамура назвал число: четыреста тридцать человек — и уперся. Эванс бушевал, держался твердо, опять немного побушевал. Но Накамура уже стал неистово расчесывать себе локоть и теперь говорил с натугой.

— Это повелевает император, — перевел Фукухара.

— Я понимаю, — сказал Дорриго Эванс.

Фукухара промолчал.

— Четыреста двадцать девять, — сказал Дорриго Эванс и отдал поклон.

Итак, сделка на этот день была заключена,

началось дело этого дня. Дорриго Эванс тут же попробовал сообразить, выиграл он или проиграл. Игру он вел, стараясь изо всех сил, и каждый день проигрывал немного больше, а счет в проигрыше шел на жизни.

Он прошел к Стене Плача, положил недужного у бревна рядом с остальными больными и уже направился было в лазарет отбирать годных для работ, как вдруг почувствовал: что-то он потерял или не туда положил.

И повернулся кругом.

Дождь, пеленой накрывавший бревна, шпалы, упавший бамбук, железнодорожные рельсы и сколько угодно всяких неодушевленных предметов, теперь точно так же змеей опутывал труп Крохи Мидлтона. Дождь лил всегда.

9

— Твоя, а? — спросил на складе Баранья Голова Мортон, кивая Смугляку Гардинеру на кувалду, когда заключенные разбирали свои орудия. У него были громадные ручищи, точно тиски, и голова, о которой он сам говорил, что она еще ухабистей, чем дорога сиднейского пригорода Роузбери. Имечко ему досталось не по виду, а по детству, проведенному в Квинстауне, отдаленном городке при меднорудных шахтах на западном побережье Тасмании, на земле, равными долями составленной из тропических лесов и мифов, где в былые времена семейство его было до того бедным, что могло позволить себе питаться лишь бараньими головами. Его ласковость в трезвом виде могла соперничать лишь с его неистовством, когда он бывал пьян. Драться он любил, и стоило ему напиться, как он принимался задирать всех возвращавшихся из отпуска в Каире землекопов, сколько их помещалось в автобусе. Когда ему сказано было молчать в тряпочку и сидеть смирно, он обернулся к Джимми Бигелоу, презрительно тряхнул головой и уложил всю бездну своего отвращения всего в восемь слов,

не считая обращения: «Из мышей ни за что не получится крыс, Джимми».

— Крохина, — ответил Смугляк Гардинер.

Кроха когда-то пометил лучший молот в лагерной коллекции, вырезав наверху рукояти «К», чтобы он или Смугляк узнавали инструмент каждое утро.

— Это лучшая колотушка, — сказал Баранья Голова Мортон, знавший толк в таких делах. — Ручка малость расщеплена, зато долбило на добрый фунт тяжелее.

И пока у Крохи оставалась сила, а они работали, как при сдельщине, инструмент так и оставался лучшей кувалдой. Благодаря ее тяжести каждый удар имел добавочную силу, она вгоняла пробойник крепче и глубже, что помогало Крохе со Смугляком выполнять норму раньше. Просто надо было быть таким здоровяком и силачом, как Кроха, чтобы знай себе поднимать кувалду да аккуратно ее опускать.

— Он думал, что она помогает, — сказал Баранья Голова Мортон, дожидаясь, пока Смугляк Гардинер возьмет молот.

Впрочем, теперь всем им ясно: не то важно, чтобы сделать работу, а то, чтобы выжить и в этот день. Смугляк Гардинер слишком слаб, чтоб час

за часом махать тяжелым молотом, да еще и каждый раз удерживать его, чтоб падал аккуратно и бил по железному пробойнику точно и чисто — удар за ударом. Теперь он подыскивал молот полегче, молот из бесполезных и бочком-бочком спешил прочь, старался и себя не ударить, и того, кто держит пробойник, старался сохранить силу, чтоб хватило на следующий удар, старался еще один день пережить.

— Помогла ему в могилу сойти, — буркнул Смугляк, подбирая себе легкую кувалду с болтающейся головкой.

Им всем теперь хотелось возиться со всем, что полегче: с тем, что полегче поднять, полегче и еще один денек выжить. «Долбило можно будет бамбуком подкрепить, — подумал Смугляк. — День кончится, все чуточку меньше намаешься». Он уравновесил молот на ключице, подыскивая самое удобное положение, чтоб таскать такую тяжесть. Он едва не радовался, чувствуя, как легок кажется на плече молот, и радовался бы, если б голова не наливалась неведомой прежде тяжестью.

По рядам заключенных легким ветерком прошла волна голосов и стихла. Ведь и правда — что тут скажешь? Ряды смешались, заключенные

тронулись в путь по Узкоколейке на ту Дорогу. Два японских охранника шли впереди, еще несколько сзади, а между ними, вытянувшись в цепочку по одному, плелись заключенные. Впереди шли наименее больные, за ними люди с семью носилками, на которых несли тех, кто был до того болен, что не мог идти пешком, но был объявлен японцами вполне годным для работы, это обязывало их добираться на ту Дорогу, где им могли хоть чем-то помочь, хотя они сами не имели права всех задерживать. За ними ковыляли находившиеся на разных стадиях немощи и дряхлости, в хвосте люди передвигались на самодельных костылях.

— Ишь, мать-е, рождественское шествие, — буркнул кто-то за спиной Смугляка Гардинера.

Сам он, не отрываясь, смотрел на ноги идущих впереди. Грязные, скелетоподобные, мышцы икр и бедер с выпирающими сухожилиями исчезали там, где должны бы находиться ягодицы.

Этот уродливый караван еще не добрался до маленькой скалы на дальнем конце лагеря, где заключенным приходилось взбираться по бамбуковой лестнице, связанной проволокой (покосившееся сооружение, которое необходимо было пробовать каждый раз заново и которо-

му никогда нельзя было доверять), а Смугляку Гардинеру уже хотелось улечься и уснуть навсегда. Над лестницей было несколько вырытых в земле углублений, чтоб можно было поставить ногу, скользких от дождя и вонючего глинистого дерьма, где нагрузки раннего утра вызывали неизбежную реакцию у взбиравшихся вверх почти голых узников.

Старались они вместе, передавая по цепочке инструменты, и как-то исхитрились без неприятностей поднять наверх носилки. Совместная сила, проявившаяся в этом, позволила Смугляку почувствовать себя чуть менее усталым и чуточку более сильным, когда он оказался на вершине скалы. А сила была ему нужна, ведь в тот день он был старшим, отвечающим за бригаду из шестидесяти человек.

Утро все еще было сумрачным, и как только скала осталась позади и заключенные вошли в джунгли, мир сделался черным, и дорожка оказалась куда путаней, чем помнилось Смугляку Гардинеру. Смугляк старался изо всех сил быть хорошим бригадиром, по полной облапошивать охранников, изыскивать способы мухлевать с нормами, пользоваться любой возможностью стянуть что-то ценное, если только кража не

оставит никаких следов, чтоб умерить избиения, помочь людям своей бригады выжить еще один день. Но сегодня он был не в себе. Его сильно лихорадило: денге, малярия, клещевой тиф, церебральная малярия, трудно понять, что именно его трясло, да и не важно это было, главным для себя он считал сосредоточиться на помощи своим людям. Он взял тяжелый моток мокрой конопляной веревки у молодого Другана Фахи, у которого голень была одной сплошной язвой. Друган воспользовался свидетельством о рождении брата, чтобы попасть в армию, он уже три года прослужил, а ему еще восемнадцати не было. Смугляк навидался мальчиков вроде Другана, которые ломались, как спички, едва жизнь брала их в жесткий оборот. Он вскинул моток троса на левое плечо, уравновешивая лежащую на правом плече кувалду.

Пока они шли по тропе, Смугляк тратил все силы на то, чтобы разобраться в лежащей впереди дороге, заставлял свое измученное тело ставить стопу или всю ногу не так, а вот так, и самому не пораниться. Он все время оказывался проворным. Даже когда казалось, что вот-вот упадет, он и в ослабленном состоянии сохранял способность выправиться. В нем, в его бедрах и голенях,

все еще доставало сил, чтобы совершать легкие прыжки и повороты, обходя одно препятствие и используя другое (камень, бревно), чтобы обойти какую-нибудь высасывающую силы лужу или кучу поваленного колючего бамбука.

И опять он старался убедить себя, какой выдался хороший день и как ему повезло, что он еще в силе, что помогает ее же и сохранять. Ведь Смугляк Гардинер понимал: слабость порождает лишь еще большую слабость, каждый раз, когда, стоя на цыпочках, он сохранял равновесие на одном кусочке известняка, важно было сосредоточиться на том, чтобы верно сделать еще один шаг на еще один кусок известняка или осклизлое полено, и при этом не упасть и не пораниться, и, возможно, опять суметь сделать то же самое завтра и в любой день потом. Но он не верил, как верил Кроха Мидлтон, что его тело его спасет. Ему не хотелось кончить тем, чтобы, раздирая ногтями грудь, орать: «Меня!» Смугляк Гардинер мало во что верил. Он не верил в свою исключительность или в то, что ему что-то там предначертано судьбой. В душе он считал все подобные верования полной чушью, понимал, что смерть может настичь его в любой момент, как настигает она сейчас многих других. Жизнь — она не про идеи.

Жизнь — она чуток про удачу. Больше же всего это — подтасованная колода. Жизнь — она только про то, чтобы верно сделать следующий шаг.

Заключенные услышали ругательство, и их вытянувшаяся гуськом колонна встала. Посмотрев вверх и назад, они увидели, что Смугляк Гардинер попал ботинком в расщелину известняка. Извиваясь взад-вперед, Смугляк наконец-то высвободил ногу. Раздался смех. Верх ботинка остался у Смугляка на ноге, зато подметка целиком отвалилась, самодельная прошивка порвалась, и подошва осталась торчать в расщелине скалы.

Смугляк потянулся и рывком выхватил подошву, та порвалась надвое. Он выбросил половинки, плечи его поникли, может, он и выругался, а может, и нет. Узники чересчур ушли в собственные беды и трудности, чтобы обращать внимание на чужие, все они попросту опять пошли своей дорогой. И он тоже заковылял вперед, содрогаясь всякий раз, когда остатки ботинка бились о его колено. Потом заорал от боли, дернув ногой, упал и больше встать уже не смог.

— Похоже, капец ему, — сказал Друган Фахи.

— Это башмаку его копец, — уточнил Баранья Голова Мортон.

— Один хер, — сказал Друган Фахи.

Протянуть долго без сапог или ботинок надо было постараться. Без сапог или ботинок делом нескольких дней, а то и часов было порезаться или пораниться о колючки бамбука, камни, бесчисленные острые осколки скал, которые устилали основание просеки. Случалось, нескольких часов хватало, чтоб началось заражение, которое в считаные дни делалось гнойным, а за неделю обращалось в тропическую язву: из тех язв, что стольких многих довели до смерти. Некоторым из тех, кто провел жизнь в буше, это, казалось, особого вреда не причиняло, вполне себе выживали, а некоторые даже предпочитали ходить босиком. Вот только Смугляк Гардинер не был скотоводом из Западной Австралии, как Бык Герберт, или темнокожим, как Ронни Оуэн. Он был портовым грузчиком из Хобарта, и ступни его ног были нежны и уязвимы.

Колонна остановилась в ожидании, радуясь отдыху. Смугляк Гардинер забивал себе мозги каким-то пирогом, который когда-то ел: песочное тесто с начинкой из мяса и почек с кисло-сладкой приправой из овощей и фруктов — чем угодно, лишь бы его унесло подальше от джунглей. Рот его полнился слюной: приправа была из абрикосов, да еще и с наперченным соусом. Но он никак

не мог избавиться от одышки.

— Братан? — подошел Баранья Голова Мортон.

— Ага, братан, — отозвался Смугляк.

— Лучшает, братан?

— А то, братан.

— Надо, чтоб совсем получшело, братан.

— Ага, братан, — согласился Смугляк Гардинер.

Тяжело дыша и отдуваясь еще добрых полминуты, стараясь выровнять дыхание, он следил за обезьяной. Та сидела, сгорбившись, на низкой ветке в нескольких шагах у дороги, дрожала, шерсть ее промокла насквозь.

— Глянь-ка на нее, дрючь-е, мартышуху несчастную, — выговорил наконец Смугляк Гардинер.

— Дурак ты, она ж на свободе, — вздохнул Баранья Голова Мортон, расправляя своими пальцами-сарделькаами собственные мокрые волосы и снова нахлобучивая фетровую шляпу. — Я, как окажусь на свободе, как вернусь в родной Квинстаун, так пущусь в загул до усрачки, пока вусмерть не упьюсь.

— Ага, братан.

— Был когда-нибудь в Куини, братан?

Дождь все шел и шел. Некоторое время оба молчали. Смугляк Гардинер прохрипел:

— Не-а, братан.

— Там такой холм есть большой, — заговорил Баранья Голова Мортон. — Гора на самом-то деле, так на одной ее стороне Куини, а на другой Горманстон. Посреди ничего. Два шахтных городка. Когда-то тропические леса были. Шахты пропасть всего поубивали. Ни перышка папоротника не осталось, чтоб задницу подтереть. Такого нигде на свете больше нет. Вид такой, будто на, мать-е, луне. Вечером в субботу можно нажраться, перебраться через гору, в Горми подраться, а потом вернуться домой в Куини. Ну, где еще на свете так погулять можно?

10

Пока ждали, говорили еще мало: говорить-то, если честно, было уже почти не о чем. Каждый старался отдохнуть, по возможности дать телу передышку до того, как навалится работа, для которой не осталось ни сил, ни духа, способного сделать эту каторгу терпимой. Баранья Голова Мортон закурил самокрутку из какого-то местного табака и странички устава японской армии, глубоко затянулся и передал ее по кругу.

— Что курим?

— «Кама сутру».

— Это ж китайщина[58].

— И что?

— Как у него нога? — спросил кто-то сзади.

— Ничего хорошего, — ответил Баранья Голова, поднимая ногу Смугляка и стряхивая с нее комки грязи. Он поводил ногой у лица, будто та была каким-то навигационным прибором, по которому он определял направление. — У него перепонка между большим и указательным пальцами разо-

---

[58] Примечания: 58

На самом деле «Камасутра» — это знаменитый древнеиндийский трактат об эротических практиках.

рвана. Херово вообще-то.

Кто-то предположил, что вечером, когда они вернутся в лагерь, можно будет посадить верх его башмака на новую подошву.

— Здорово было бы, — подал голос Смугляк Гардинер. — У кого ботинок еще остался, а? — Никто не отозвался. — Всего-то и надо, что раздобыть новую подметку — и я опять в строю.

— На то и надейся, Смугляк, — сказал Друган Фахи.

Все знали, что в лагере нет никакой стоящей кожи или резины, которую можно было бы присобачить в качестве подошвы и которая выдержала хотя бы переход к той Дороге и даже куда меньше — рабочий день.

— Что-то доброе всегда получится, если думать об этом, — сказал Смугляк Гардинер.

— Эт-точно, Смугляк, — кивнул Баранья Голова Мортон, открывая свой походный котелок, деля пополам свой обеденный рисовый шарик и отправляя одну половинку в рот.

Ждать больше было нечего. Ничего нельзя было поделать, и вскоре пришлось снова начать движение. Лежа на земле, Смугляк Гардинер чувствовал, как сильно врезается ему в бок оловянный котелок, напоминая о том, как он голоден

и что там, в маленькой оловянной коробочке, есть рис размером в шарик для гольфа, который он мог бы сейчас съесть. Пусть грязная после его падения, но все равно — еда. А там, в лагере, у него есть еще и сгущенка, которую он решил вечером и выпить. И это тоже было хорошо.

Усилием воли заставил себя сесть. Столько хорошего, если разобраться, подумал Смугляк Гардинер. Если б только не эта боль в ноге, если бы голова не раскалывалась, если бы не так одолевал голод, причем тем больше, чем больше он думал, чего бы такого съесть, можно бы считать, взвесив все, что лучше и быть не могло.

Было слышно, как глотает что-то идущий рядом Баранья Голова Мортон. Кое-кто последовал его примеру. Некоторые отщипнули всего по нескольку рисовых зернышек от своих шариков, некоторые проглотили весь шарик целиком.

— Сколько времени? — спросил Смугляк Гардинер у Шкентеля Бранкусси, которому как-то удавалось сохранять часы.

— Семь пятьдесят утра, — сообщил Шкентель.

Если съесть рисовый шарик сейчас, подумал Смугляк, на следующие двенадцать часов поесть ничего не останется. Если же приберечь, предстоит ждать пять часов до короткого перерыва

на обед… пять часов, когда он по крайней мере мог бы тешить себя надеждой на предстоящий перекус. А если он съест его сейчас, не останется ни чем перекусить, ни надежды.

В нем как будто сидело два существа, одно взывало к разуму, осторожности, надежде (ведь что значит делить на части, когда делить нечего, как не действия человека, который надеется выжить?), а другое целиком отдавалось желаниям и отчаянию. Ведь если он прождет до обеда, разве не придется потом еще семь часов обходиться без еды? И какая, скажите, разница, не есть двенадцать часов или семь? Какая, в конце концов, разница между голоданием и голодом? А если он поест сейчас, не окажется ли у него больше шансов пережить этот день, избежать ударов охранников, сохранить силу, чтоб не споткнуться или не нанести неточный удар, который может привести к ранению, возможно, угрожающему жизни?

И сейчас демон желания был силен в Смугляке Гардинере, рука его уже потянулась сорвать котелок с крючка на крестообразной обмотке, когда Баранья Голова Мортон рывком поднял его на ноги. Остальные тоже встали, Шкентель Бранкусси взял кувалду, которую Смугляк нес на плече,

не только из какого бы то ни было сочувствия, а потому, что в этом, как и во многом другом, они успели стать неведомым животным, единым организмом, который так или иначе выживал целиком. И Смугляк Гардинер разом разъярился, что его так грубо лишили его же еды, и успокоился, что теперь сохранит свой рисовый шарик до обеда. В таком странном настроении ярости и успокоения он снова потащился со всеми вместе.

Потом Смугляк Гардинер упал во второй раз.

— Дайте передохнуть, ребят, — сказал он, когда к нему подошли, чтобы поднять на ноги.

Остановились. Кто-то положил инструменты на землю, кто-то опустился на корточки, кто-то сел.

— Знаете, — говорил Смугляк, лежа в мокрой темени джунглей, — все время думаю про ту несчастную чертову рыбу.

— Смугляк, ты сейчас про что? — спросил Баранья Голова Мортон.

А он про рыбный магазин «Никитарис». В Хобарте. Как он, бывало, в субботу водил туда свою Эди перекусить после того, как посмотрели киношку.

— Барракуда с картошкой, — говорил он. — Акулье мясо хорошо, но у барракуты — слаще. Там

такой громадный бак, полный плавающей рыбы. Не золотые рыбки — настоящая рыба, кефаль, лососи, плоские всякие, рыба, как та, что мы ели. Мы смотрели на них, — продолжал Смугляк, — и даже тогда Эди думала, как должно быть рыбам плохо: вытащили их из моря, сунули в этот чертов жуткий рыбный бак, жди, когда зажарят.

— Он всю дорогу про рыбный магазин «Никитарис», — пояснил Шкентель Бранкусси.

— Я ведь никогда об этом не думал как об их тюрьме, — говорил Смугляк Гардинер. — Их лагере. А сейчас мне больно и тошно делается, как подумаю про ту несчастную чертову рыбу в баке «Никитариса».

Баранья Голова Мортон сказал ему, что он пирог из картошки без пакета[59].

Смугляк Гардинер велел им идти дальше, не то их застукает Варан. А сам, мол, пойдет своей дорогой по собственному своему расписанию.

Никто не сдвинулся с места.

— Мужики, идите дальше, — сказал он.

Никто не сдвинулся с места.

---

[59] Примечания: 59

Когда-то в Австралии пироги из картофеля и рыбопродуктов перед выпечкой закладывали в пакет из вощеной бумаги. Технологии изменились, но выражение осталось: пакет такого-то пирога; пирог (особенно картофельный) без пакета означает размазня.

Он уверял, что полежит еще несколько минут и подумает о грудях Эди, какие они превосходные, что ему нужно немного времени, чтобы побыть с ними одному.

Они отвечали, что не оставят его.

Он напомнил, что он лицо младшего командного состава, и велел им приступить к движению. И вдруг заорал:

— Марш! Это приказ, вашу мать. Марш!

— Вашу мать приказ? — спросил Баранья Голова Мортон. — Или просто приказ?

— Ага, смешно, — печально выговорил Смугляк Гардинер. — Смешно, как когда Петух Макнис «Майн кампф» наизусть шпарит. Идите дальше. Угребывайте.

Узники встали на ноги, если сидели, или выпрямились, если стояли, и медленно снова пришли в движение. Смугляк почти сразу же пропал из виду и из головы тоже. Тропа становилась все грязнее и коварнее, она шла по скользким щелям в крошащемся известняке как раз там, куда могла попасть нога, и зачастую от этого можно было здорово пораниться. Очень скоро колонна сильно растянулась: место заключенного в ней более или менее определялось его болезнью. Впереди шла маленькая группа, не больше дюжины человек,

все еще каким-то чудом здоровых и годных к работе, на другом конце тащились те, кто то и дело падал да спотыкался, порой полз на четвереньках, а между впередиидущими и замыкающими держались те, кто теперь по очереди нес носилки с больными. Да, были еще и такие, кто, будучи еще в силах, оставались со своими товарищами, помогая, поддерживая, не позволяя сдаваться ни им, ни себе.

Так и продвигалась их беспомощная колонна, одолевая путь по узкому коридору, проделанному ими между громадных тиковых деревьев и колючего бамбука джунглей, слишком густых, чтобы дать возможность двигаться любым другим способом. Они все тащились и падали, все спотыкались и поскальзывались, обливались потом, думая о еде или ни о чем не думая, все карабкались, обсирались и надеялись, уходя все дальше и дальше в день, который еще даже не начался.

11

Первый круг Дантова ада, говорил себе Дорриго Эванс, выходя из язвенного барака и направляясь через ручей вниз по склону холма продолжать утренний обход холерного карантина, заброшенного скопища укрытий без стен с крышами из расползающегося брезента. Здесь, в изоляции, лежали все, больные холерой. И здесь больше всего умирали. Множеству их бедствий он давал классические названия. Тропе к той Дороге дал прозвище Виа Долороза[60], которое заключенные, в свою очередь, подхватили и переделали в Долли Роза, а потом и просто в Долли. Идя по дороге, он как ребенок пропахивал босой ногой грязь, склонял голову как ребенок, его как ребенка не интересовало, ни куда он направляется, ни что может случиться в следующую минуту, а интересовало только, как оставленная его ногой борозда миг спустя исчезает.

Только он не ребенок. Вздернул голову и заша-

---

[60] Примечания: 60

Улица в Старом городе Иерусалима, по которой, как считается, пролегал путь Христа к месту распятия. На Виа Долороза находятся девять из четырнадцати остановок Крестного пути.

гал, выпрямив спину. От него должны исходить целеустремленность и уверенность, даже если их и в помине нет. Некоторые спасены, да, думал он про себя, видимо, пытаясь убедить самого себя, что он нечто большее, чем плохой актер. «Кого-то мы спасли. Да, да, — думал он. — А тем, что холерные содержатся в изоляторе, мы спасаем остальных. Да! Да! Да! Или кого-то из остальных. Все это относительно». Он мог бы считать себя королем, подумалось ему — вот только не посчитает и думать об этом нечего, потому как его удел север, норд-норд-вест и никакого тебе зюйда, только тем и были заняты его мысли, чепухой слов, даже мысли не были его собственными, соколы с душою цапли. Если по правде, он уже не знал, о чем думать, он жил в несказанном дурдоме, где не осталось места для разума или мысли. Оставалось только изображать деятельность.

На границе холерного изолятора, переступать которую дозволялось только подхватившим ужасную болезнь и тем, кто за ними ухаживает, он встретил Бонокса Бейкера, который добровольно вызвался быть санитаром. Тот сообщил, что еще два санитара сами слегли с холерой. По доброй воле стать санитаром, по сути, значило вынести себе смертный приговор. Дорриго, поло-

жим, принимал риск, которому подвергался на своем поприще врача, однако он никогда не мог понять, с чего такую участь избирали те, кто мог бы ее избежать.

— Вы сколько времени тут, капрал?

— Три недели, полковник.

Подростковое тело Бонокса Бейкера тянулось вверх из двух нелепо, не по ноге огромных и обтрепанных башмаков. Они достались ему, когда он работал в японской бригаде на сингапурских верфях, вместе с ящиком банок сухого мясного порошка «Бонокс», которые исчезли в один день, оставив ему новое имя на всю оставшуюся жизнь. В то время как остальные старели на десятки лет: шестнадцатилетние становились семидесятилетними, — Бонокс Бейкер продвигался в противоположном направлении. Ему было двадцать семь, а выглядел он на девятнадцать.

Бонокс Бейкер приписывал свое омоложение провалу Японии в войне. Никому другому в лагере военнопленных в чаще сиамских джунглей это не казалось очевидным, зато для Бонокса Бейкера провал разумелся само собой. Войну он воспринимал как чудовищную кампанию под началом Германии и Японии, направленную лично против него с одной-единственной це-

лью — убить его, а потому, покуда он оставался в живых, он побеждал. Лагерь военнопленных был всего лишь несущественной странностью. Бонокс Бейкер всегда вызывал у Дорриго Эванса определенное любопытство.

— С тех пор, как началась холера, Бонокс? — спросил он.

— Так точно, сэр.

Они пошли к первому укрытию, куда помещали тех, кто заболел совсем недавно. Немногим удавалось перебраться во вторую палатку, где выжившие изо всех сил старались выздороветь. Многие в первом укрытии умирали через несколько часов. У Эванса это место всегда вызывало самое жуткое отчаяние, но здесь же было и место его настоящей работы. Он повернулся к Боноксу Бейкеру.

— Можете возвращаться, Бонокс.

Бонокс Бейкер в ответ промолчал.

— Обратно в основной лагерь. Вы, что вам полагалось, сделали. Больше, чем полагалось.

— Я лучше останусь.

Бонокс Бейкер остановился у входа в палатку, а с ним и Дорриго Эванс.

— Сэр.

Дорриго Эванс заметил, что капрал поднял го-

лову и в первый раз смотрит ему прямо в лицо.

— Лучше я тут.

— Почему, Бонокс?

— Кто-то же должен.

Он поднял расползающийся брезентовый полог, и Дорриго Эванс последовал за ним через вздувшуюся ноздрю палатки в вонь, где настолько сильно благоухало килечной пастой и дерьмом, что у вошедших начинало гореть во рту. Тусклый красный огонек керосиновой лампы, как казалось Дорриго Эвансу, заставлял черную тьму скакать и извиваться в странном призрачном танце, словно холерный вибрион был существом, внутри которого они жили и двигались. В дальнем углу какой-то уж особенно изможденный скелет сел и улыбнулся:

— Я отправляюсь обратно к себе в Малли[61], ребята.

Улыбка у него была широкой и мягкой и делала еще более уродливым его обезьянье личико.

— Пора проведать моих стариков, — продолжал парень из Малли, размахивая руками не толще цветочных стебельков, с пышным цветком язвы на месте рта. — Едрена вошь! То-то смеху и

[61] Примечания: 61
Район в штате Виктория, считающийся «эвкалиптовым».

слез будет, как они увидят, что их Ленни домой вернулся!

— Этот малыш поначалу чуть не буйным был, а кончил почти дебилом, — сообщил Бонокс Бейкер Дорриго Эвансу.

— Что, разве не так? А?

Никто не ответил малому из Малли с лунной улыбкой на обезьяньем личике, а если и ответили, так громкими стонами да слабыми вскриками.

— В ихней Виктории любого сопляка забривают, — сказал Бонокс Бейкер. — Как он их уломал взять его в армию, ума не приложу. — Парень из Малли опять улегся, радуясь так, будто это мама уложила его в постель. — Ему в следующем месяце шестнадцать стукнет, — вздохнул Бонокс Бейкер.

Посреди жижи из грязи и дерьма располагался длинный бамбуковый настил, на котором лежало еще сорок восемь человек на разной стадии агонии. Или так казалось. Одну за другой осматривал Дорриго Эванс эти странно состарившиеся и сморщенные оболочки, задубевшую кожу землисто-бурого оттенка, оттененную черным, сжатые, перекрученные кости. Тела, думал Дорриго Эванс, похожие на мангровые корни. И на

миг вся холерная палатка поплыла перед ним в пламени керосинки. А он только и видел, что вонючее мангровое болото, полное извивающихся, стонущих мангровых корней, тянущихся к грязи, чтобы вжиться в нее навсегда. Дорриго Эванс мигнул раз-другой, обеспокоенный, уж не галлюцинация ли это, привнесенная ранней стадией лихорадки денге. Тыльной стороной ладони утер нос и продолжил осмотр.

Первый узник, похоже, поправлялся, второй был мертв. Его закатали в замызганное одеяло и оставили до похоронной команды, чтоб унесли и сожгли. Третий, Рэй Хэйл, до того поправился, что Дорриго сказал ему, что он может сегодня же вечером выписываться, а на следующий день приступить к исполнению легких обязанностей. Четвертого и пятого Дорриго Эванс также объявил мертвыми, и они с Боноксом Бейкером тем же манером завернули трупы в тошнотворные одеяла. Смерть здесь ничего не значила. Было в ней, казалось Дорриго (хотя он и отбивался от чувствительности как от коварной формы жалости), своего рода облегчение. Жить значило бороться, преодолевая ужас и боль, но, уговаривал он себя, нужно жить.

Чтобы убедиться, что и тут пульса нет, он потя-

нулся, подобрал сморщенную кисть следующего свернувшегося калачиком скелета, недвижную кучку костей и зловонных болячек, когда по скелету пробежала дрожь и его мертвенная голова повернулась. Странные полуслепые глаза, остекленело выпученные и лишь смутно видящие, казалось, сами собой остановились на Дорриго Эвансе. Голос прозвучал чуть пронзительно: голос подростка, затерянного где-то в теле умирающего старика:

— Простите, док. Не сегодня утром. Противно вас подводить.

Дорриго Эванс мягко положил кисть руки обратно на грязную кожу груди, которая обвисла на выпирающих ребрах, будто ее вывесили на просушку.

— Все там будем, капрал, — тихо сказал он.

Но взгляд Дорриго, на миг метнувшийся вверх, перехватил пристальный взгляд Бонокса Бейкера. Чего доброго, санитар подумает, что смог различить в бесстрашных глазах начальника непонятную беспомощность, того и гляди готовую обратиться в страх. Эванс резко снова опустил взгляд.

— Не говори «да», — обратился он к умирающему.

Скелет медленно отвернул голову и вернулся к своей странной неподвижности. Несколько слов опустошили его. Кончиками пальцев Дорриго Эванс прошелся по гладким влажным волосам на морщинистом лбу страдальца, убрав их с глаз.

— Ни мне, ни любой твари.

Так и двигалась дальше эта худющая парочка (высокий врач и его коротышка-помощник, оба почти голые): санитар в нелепой паре башмаков не по размеру и армейской фетровой шляпе, поля которой были возмутительно широки для его усохшего личика, и доктор со своим засаленным красным шарфом-косынкой и в офицерской фуражке набекрень, будто он собирается в городе пуститься на поиски женщин. Все в их процессии казалось доктору — при его жесточайшем нраве — чудовищной шарадой: человек, который ратует за надежду там, где никакой надежды нет, в этом лазарете, который никакой не лазарет, а дырявое укрытие, сооруженное из тряпок, развешенных поверх бамбука, где койки никакие не койки, а зараженные всякой нечистью бамбуковые настилы, где пол обратился в нечистоты, а сам он — во врача почти без всего, необходимого врачу для лечения пациентов. Он располагал засаленной красной косынкой, фуражкой набе-

крень да еще сомнительными полномочиями на исцеление.

И все же он еще и то понимал: перестань он заниматься этим, не совершай своих ежедневных обходов, не выискивай и дальше какого-то отчаянного способа помочь, было бы хуже. Без всякого повода воображение нарисовало совершенно больного Джека Радугу, играющего Вивьен Ли на свидании (после разлуки в целую жизнь) с возлюбленным на мосту. Он думал, насколько те представления, которые в прошлом устраивали пленные (для чего с великой изобретательностью создавали декорации и костюмы из бамбука и старых рисовых мешков, чтобы было похоже на кино или мюзикл), не были и в половину настолько же абсурдны в представлении действительности, как его лазарет и лечение. Все-таки, как и театр, в чем-то это было настоящим. И как и театр помогало. А иногда люди не умирали. Он был не готов бросить попытки помочь им выжить. Он не был хорошим хирургом, он не был хорошим врачом, не был он, в чем был убежден в душе, и хорошим человеком. Но он был не готов перестать стараться.

Санитар изо всех сил старался наладить новую лагерную капельницу: грубый катетер из

зеленого бамбука, соединенный с резиновой трубкой, украденной прошлой ночью из японского грузовика, — которая сверху венчалась старой бутылью, заполненной солевым раствором, приготовленным из воды, стерилизованной в перегонных кубах, сооруженных из керосиновых канистр и бамбука. Звали санитара майор Джон Менадью, и формально он был третьим в командирской табели о рангах лагеря военнопленных. Он сочетал в себе внешность экранного идола с речью монаха-трапписта, а когда вынужден был говорить, то по большей части заикался. Должность санитара радовала его чрезвычайно, когда ему указывали, что надо делать. Японцы с их почтением к иерархии, принуждая нижних чинов работать, не предъявляли тех же требований к офицерам, которые оставались в лагере и, как ни странно, получали от Имперской японской армии малюсенькое жалованье. У Эванса никакого почтения к иерархии не было, за исключением случаев, когда ее театральщина была в помощь. В дополнение к обложению налогом офицерского жалованья он заставлял офицеров работать в лагере, помогать с больными и санитарией, строить новые туалеты, дренажные и водоносные системы, а заодно и заботиться об общем содер-

жании лагеря.

Джон Менадью пытался отыскать вену на лодыжке, чтобы ввести бамбуковый катетер. Скальпелем ему служил обычный заточенный карманный ножик. Лодыжка размером едва превосходила кость, и санитар водил ножом взад-вперед по натянутой коже.

— Не бойтесь причинить ему боль, — сказал Дорриго Эванс. — Здесь.

Он взял нож и изобразил точный и четкий порез, потом ловко повторил движение, врезался в плоть сразу над косточной шишкой, вскрывая вену. И быстро ввел в порез самодельный катетер. Холера отступила, однако быстрота и уверенность означали, что ей пришел конец, едва она началась.

— Теперь он продержится, — сказал Дорриго Эванс.

Восстановление водного баланса, регидратация, наряду с его твердым настоянием на гигиене, была его самым большим достижением. Только за последние два дня она спасла несколько жизней, а несколько человек прямо сейчас покидают холерный карантин живыми, а не выносятся оттуда на погребальные костры. В этом, казалось, есть надежда для всех.

— Тут ты либо мертвяк, либо держишься, — прошептал еще один солдат.

— А я никакой не мертвяк дрюченый, — прохрипел тот, кому только что поставили капельницу.

Все холерные, похоже, уворачивались от них, пока они шли дальше по стороне бамбукового спального настила, обследуя, проверяя уровень соляного раствора, ставя капельницы, порой переводя немногих, кому повезло, в гораздо меньшую хижину, где помещались выздоравливающие. Когда Дорриго Эванс подходил к больным поближе, все казались меньше, чем положено мужчинам, жестокая болезнь, стоило ей нагрянуть, за несколько часов словно вымывала тела и часто убивала. Кто-то в агонии стонал в тисках судорог, которые растворяли их тела и пожирали их заживо, другие, монотонно и глухо бубня, молили дать воды, некоторые окаменело смотрели в одну точку из запавших потемневших глазниц. Когда дошли до человека с обезьяньим личиком, собиравшегося домой к родителям, тот успел умереть.

— Иногда с ними такое бывает, — сказал Бонокс Бейкер. — Радостью исходят. Хотят поймать автобус домой или мамочку навестить. Тут-то и понимаешь, что конец.

— Я вам помогу, — обратился Дорриго Эванс к санитару-сиделке, известному всем и каждому просто как Долдон (он прославился тем, что притащил с собой в эту чащу сиамских джунглей потрепанную, а теперь и заплесневелую поваренную книгу миссис Битон[62]), когда тот появился с самодельными носилками из двух бамбуковых шестов и натянутых поперек старых рисовых мешков.

Завершив свою работу, Дорриго Эванс помог Долдону и Боноксу Бейкеру управиться с ссохшимся телом Ленни. «И весит-то, — подумал Дорриго, — не больше мертвой птицы. Всего ничего». Все равно воспринималось это как помощь, у него появилось ощущение занятости хоть каким-то делом. Рисовых мешков на всю длину носилок не хватило («Здесь вообще хоть чего-то хватает?!» — зло подумал Дорриго Эванс), и ноги Ленни волочились по земле.

Пока они шли из этого дома обреченных, труп Ленни то и дело соскальзывал. Чтобы не дать ему сваливаться с носилок, пришлось перевернуть

[62] Примечания: 62

Изабелла Мэри Битон (1836–1865) — автор ставшей знаменитой «Книги миссис Битон о ведении домашнего хозяйства», 900 из 1112 страниц которой занимают кулинарные рецепты. Считается законодательницей кулинарной моды викторианской эпохи.

тело на живот, а худющие ноги раскинуть так, что они свисали с бамбуковых шестов. Ноги до того иссохли, что из тела неприлично выпирал задний проход.

— Надеюсь, Ленни не чувствует, как из него последняя струя бьет, — проговорил Долдон, несший носилки сзади.

12

С началом холеры Джимми Бигелоу оставили для работ по лагерю, чтобы он мог исполнять свои обязанности горниста во время теперь уже ежедневных похорон. Его вызвали, и он ждал на границе холерного карантина, пока оттуда выносили носилки. Последние из них спереди несли Дорриго Эванс в фуражке набекрень и красной косынке и Бонокс Бейкер в нелепых башмаках, всегда напоминавших Джимми о Микки-Маусе, а сзади Долдон, который шагал, странно запрокидывая голову назад.

Джимми следовал за жалким похоронным кортежем сквозь мрачные, сочащиеся влагой джунгли, горн свисал у него с плеча на завязанной узлом тряпке, которая сменила кожаный ремень, когда тот сгнил. Он думал о том, до чего же он любит свой горн, потому как из всего в джунглях — бамбука, одежды, кожи, еды и плоти — он единственный, похоже, не был подвержен разложению и гниению. Натура прозаическая, он тем не менее чувствовал, что есть в его простом медном горне что-то бессмертное, что уже преодолело такое множество смертей.

Военнопленные, сооружавшие погребальный костер и поджидавшие их на темной сырой полянке, уже успели на деле узнать, как много требуется, чтобы сжечь человека. Их костровище представляло собой большой, высотой по грудь, прямоугольник сложенного бамбука. Один холерный труп уже лежал наверху вместе со всем своим жалким скарбом и одеялом. Джимми Бигелоу узнал Кролика Хендрикса. Его всегда поражало, как мало чувств вызывает чужая смерть.

Все, к чему прикасался холерный, нельзя было трогать никому (кроме самих костровых), и все, что принадлежало холерному, должно было сжигаться во избежание распространения заразы. Пока остальные из похоронно-костровой бригады поднимали три остальных трупа на бамбук, один из костровых подошел к Дорриго Эвансу с эскизным блокнотом Кролика Хендрикса.

— Сжечь, — сказал Дорриго Эванс, отмахиваясь.

Костровой кашлянул.

— Мы сомневаемся, сэр.

— Почему?

— Это свидетельство, — заметил Бонокс Бейкер. — Его свидетельство. Чтоб люди в будущем, ну, узнали. Помнили. Это то, чего Кролик хотел.

Чтобы люди непременно *помнили*, что тут происходило. С нами.

— Помнили?

— Так точно, сэр.

— Все в конце концов забывается, Бонокс. Лучше уж мы останемся живы.

Слова эти, похоже, не убедили Бонокса Бейкера.

— Чтоб мы не забыли, говорим мы, — настаивал Бонокс Бейкер. — Разве не так мы говорим, сэр?

— Говорим, Бонокс. Или заклинаем. Наверное, это совсем не одно и то же.

— Вот потому это и надо сберечь. Чтоб не забылось.

— Бонокс, вы знаете эти стихи? Это Киплинга. Они не о том, чтобы помнить. Они о том, чтобы забыть… как забывается все.

Растаял флот вдали, и мгла,
Сглотнув огни, покрыла мир,
И слава наша умерла,
Как Ниневия или Тир.
Всех Судия, Ты нас щадил,
— Не дождь забыть, о Боже, сил! [63]

---

[63] Примечания: 63

Строфа из стихотворения Р. Киплинга «Recessional» («Последнее песнопение») приводится в переводе Елены Кистеровой («Гимн отпуста»).

Дорриго Эванс кивнул костровому, давая команду поджечь бамбук.

— Ниневея, Тир, забытая Богом железная дорога в Сиаме, — выговаривал Дорриго Эванс, лицо которого тени языков пламени разрисовывали тигровыми полосами. — Если мы не в силах запомнить, что стихотворение Киплинга о том, что все забывается, то как собираемся помнить о чем бы то ни было еще?

— Стихотворение — это не закон. Это не судьба. Сэр.

— Это верно, — произнес Дорриго Эванс, хотя для него, потрясенно понял он, стихи более или менее были и законом, и судьбой.

— Рисунки, — напомнил Бонокс Бейкер, — рисунки, сэр.

— Что еще, Бонокс?

— Кролик Хендрикс был уверен, что, что бы ни случилось с ним, рисунки уцелеют, — сказал Бонокс Бейкер. — И мир узнает.

— В самом деле?

— Память — это и есть истинная справедливость, сэр.

— Или творец новых ужасов. Память лишь похожа на справедливость, Бонокс, поскольку это еще одно неверное представление, заставляющее

людей чувствовать свою правоту.

Бонокс Бейкер кивнул костровому, и тот раскрыл блокнот на странице с рисунком тушью, где были изображены отрубленные головы китайцев, насаженные в ряд на пики в Сингапуре после японской оккупации.

— Вот они, зверства, тут, видите?

Дорриго Эванс повернулся и взглянул на Бонокса Бейкера. Но не смог разглядеть ничего, кроме дыма и пламени. Ее лица он не видел. Видны были отрубленные головы, казавшиеся живыми в дыму, но они были мертвыми и в прошлом. Костер разгорался у них за спиной, языки пламени были единственным, что жило, а он силился представить ее голову, ее лицо, ее тело, красную камелию в ее волосах, но как ни старался, никак не мог вспомнить ее лицо.

— Ничто не вечно. Вы что, не понимаете, Бонокс? Именно это и имел в виду Киплинг. Ни империи, ни воспоминаний. Мы не помним ничего. Возможно, год-другой. Возможно, почти до конца жизни, если выживем. Может быть. Только мы все равно умрем, а кто когда поймет хоть что-то из этого? А может, мы больше всего ничего не помним как раз тогда, когда прикладываем руку к сердцу и талдычим про то, что не забудем.

— Тут и пытки есть, видите? — сказал Бонокс Бейкер.

Он перевернул страницу и показал рисунок пером: два охранника избивают австралийца. Потом акварель: язвенная палата. Потом карандашный рисунок: человеческий скелет за работой, бьет скалу на просеке. Дорриго Эванс почувствовал, как в нем растет раздражение.

— Получше иного фотоаппарата наш-то старина Кролик был, — улыбнулся Бонокс Бейкер. — Откуда он, к черту, краски доставал, теперь уж никогда и не узнать.

— Кто знает, каким станет смысл этих картинок? — сдерживая себя, произнес Дорриго Эванс. — Кто скажет, что на них? Один, возможно, воспримет их как свидетельство рабства, а другой — как пропаганду. Что говорят иероглифы о том, на что была похожа подневольная жизнь на строительстве пирамид? Разве мы это обсуждаем? Говорим об этом? Нет, мы говорим о великолепии и величии культуры египтян. Или римлян. Или Санкт-Петербурга — и ни слова о костях сотен тысяч рабов, на которых он возведен. Может, именно так и япошек запомнят. Может, для его рисунков все и кончится тем, что их используют для оправдания великолепия этих чудовищ.

— Даже если мы умрем, — сказал Бонокс Бейкер, — это покажет, что с нами сталось.

— Тогда вам потребуется остаться в живых, — заметил Дорриго Эванс.

Его уже зло разбирало и еще больше злило то, что он позволил одному из своих солдат увидеть, как он сорвался. Ведь как только занялось пламя, он понял, что уже забывает ее, что даже в тот момент он с трудом старался восстановить в памяти ее лицо, волосы, родинку над губой. Он помнил частички, яркие угольки, танцующие искорки, но не ее — ее смех, мочки ушей, улыбку, взметающуюся к красной камелии…

— Пошли, — сказал Дорриго Эванс, — возьмем альбом, пока до него огонь не добрался.

13

Кролика Хендрикса с его мерзким обдристанным одеялом подняли и уложили рядом с другими трупами, сбоку пристроили его вещмешок (в нем не было ничего особенного: котелок, ложка, три кисточки для рисования, несколько карандашей, детский набор акварельных красок, зубные протезы Кролика и немного застарелого табака), а вместе с ним и блокнот с рисунками. Холерные всегда были до жути легкими. С той поры, как умер падре Боб, отпевание проводил Линдсей Таффин, бывший англиканский пастор, лишенный сана за некую (конкретно не названную) моральную распущенность. Однако его видно не было, а пламя уже принялось подпаливать трупы.

— Полковник? — воскликнул Долдон.

И вот, поскольку время поджимало, долг призывал и звание обязывало, Дорриго Эванс на ходу сымпровизировал отпевание. Он не помнил в деталях, как проходит официальная заупокойная служба, потому что она всякий раз нагоняла на него скуку, и он исполнил то, что, как он надеялся, будет вполне приемлемым театральным

представлением. Прежде чем начать, требовалось выяснить имена двух других мертвецов.

— Мик Грин. Пулеметчик. Из Западной Австралии, — сообщил Долдон. — Джеки Мирорски. Кочегар с «Ньюкастла».

Дорриго Эванс положил эти имена в неприкосновенный отдел памяти, которая обратилась к ним всего дважды, в двух случаях, когда это имело смысл: во время службы, которую он проводил, и в забытьи накануне собственной смерти много лет спустя. Заупокойную службу он завершил словами о четырех добродетельных христианах, которых они теперь препоручают Богу. По правде говоря, он не понимал, как Богу надлежит распорядиться этим. Никто уже особо о Нем не говорил, даже Линдсей Таффин.

Когда Дорриго Эванс склонил голову и отошел от костра, Джимми Бигелоу шагнул вперед, встряхнул горн на всякий случай (выгоняя вдруг да засевших там каких-нибудь скорпионов или многоножек) и поднес к губам. Рот его был сплошным месивом, кожица клочьями свисала с нёба. Губы тоже распухли, а язык (до того распухший и болезненный, что попавшие на него зернышки риса вызывали вкусовое ощущение крупной картечи) сидел во рту наподобие какой-то жуткого

куска деревяшки, не способной выполнять свои функции как следует. Матерый сказал, что это пеллагра, вызванная нехваткой витаминов в рационе. Сам Джимми знал только то, что теперь язык мешает воздуху выходить из его рта струей, которую необходимо вдувать в горн.

Все же, когда он поднес горн к губам, чтобы сыграть сигнал, то уже слишком хорошо понимал, что способен справиться за счет своеобразия мелодии. С началом, где одни только медленные ноты, он совладает. Потом, когда мелодия убыстряется, в тот момент, где, как он всегда считал, «Вечерняя заря» набирает ужасную мощь, ему придется направить все свое тело на непомерное усилие, чтобы выдержать указанные в нотах короткие интервалы, когда мелодия складывается, а затем замирает. Он играл с ощущением, будто у него пропал язык и вместо этого он тычет в мундштук куском дерева, отчаянно надеясь, что это позволит остановить ноты и модулировать мелодию, обратить ее в чудо.

Как и во всем другом, в том мрачном, наводящем страх мире джунглей Джимми Бигелоу приходилось импровизировать, обманывать собственный язык, пуская дыхание в обход его китообразной туши, водить за нос собственные

визжащие нервные окончания, сосредоточившись на том, чтобы просто сыграть ноты, еще разок исполнить мелодию для тех, кто останется в этих джунглях и никогда не вернется домой. И в конце, стыдясь слез, которые полились не от чувств (он ведь в тот момент чувствовал не больше, чем на пяти похоронах, на которых играл вчера или позавчера), а от физической боли, которую причиняла игра, он быстро отвернулся, чтобы никто не понял, каким мучением стало для него исполнить простую мелодию, или не подумал, что он как-то уж особенно размяк.

И хотя все его тело горело огнем, пока он играл этот злосчастный сигнал, эту музыку смерти, он все же продолжал играть, слыша ее всю по-новому, не понимая, что это значит, ненавидя этих людей за то, что они умерли, зная, что ему придется и дальше играть эту музыку, которую он ненавидел сильнее любой другой, но преисполняясь решимости не переставать играть никогда. Он играл мелодию, которая не означала того, что, как его уверяли, она должна значить, мол, солдат теперь может отдохнуть, мол, дело свое он сделал. Какое дело? Зачем? Как кто-то мог отдохнуть? Вот что играл он теперь и уже не перестанет играть эти самые вопросы до конца своей жизни

на Днях АНЗАК, на встречах военнопленных, на официальных мероприятиях и время от времени — поздно вечером дома, когда неудержимо нахлынут воспоминания. Он надеялся, что сыгранное им будет понято так, как это звучало для него. Но люди превращали это во что-то другое, и ничего он с этим не мог поделать. Музыка задает вопросы вопросов, и вопросам этим нет конца, каждое дыхание Джимми, усиленное в медном раструбе, спиралью вкручивалось в общую мечту человеческого превозможения, которое пропадало в том же звуке, который только что достигался, до следующей ноты, следующей фразы, следующего раза…

После войны очень скоро сделалось так, будто войны не бывало вовсе, только иногда, вскинувшись посреди ночи, словно попал на дурной ком в сбившемся матраце, он мысленно возвращался к неприятному прошлому. В конце концов, как заметил позже Долдон, на самом деле это тянулось не так уж чертовски долго, просто казалось, что этой чертовщине конца не будет. А потом война кончилась, и поначалу вообще было трудно многое из этого припомнить. Все упивались историями куда похлеще: сражения при Эль-Аламейне и Тобруке, Борнео, походы в кон-

воях по Северному морю. К тому же теперь была жизнь, чтобы жить. Война оказалась заминкой для подлинного мира, приостановкой подлинной жизни. Работа, женщины, дом, новые друзья, старая семья, новые жизни, дети, продвижение по службе, увольнения, болезни, смерть, отставки — Джимми Бигелоу стало трудно припомнить, что в Хабарте было до или после лагерей и той Дороги, то есть до или после войны. Трудно стало верить, что все пережитое он пережил когда-то на самом деле, что он воочию видел все то, что довелось увидеть. Порой трудно было поверить, что он вообще был на войне.

Наступили благодатные годы, пошли внуки, потом жизнь неторопливо пошла под гору, и война стала являться ему чаще и чаще, остальные же девяносто лет его жизни медленно таяли. Под конец он мало о чем другом думал и говорил, потому как пришел к мысли: мало что другое когда-то переживалось. Какое-то время он мог играть «Вечернюю зарю», как играл ее во время войны, с чувством, не имевшим к нему никакого отношения, играл по обязанности, исполняя свой долг солдата. Потом долгие годы, десятки лет он вообще не играл этот сигнал, пока в девяноста два года, лежа в госпитале, умирая после третьего

приступа, не поднес горн к губам здоровой рукой, не увидел снова тот дым, не почуял запах горящей плоти и не понял вдруг: вот оно, единственное, что он когда-то пережил.

— Я не спорю с Богом, — сказал Дорриго Эванс Боноксу Бейкеру, когда они шуровали дрова в костре, поддерживая огонь, который охватывал трупы. — Не позволяю себе тратить время на споры, существует Он или нет. Вовсе не Его я поганю, а себя. Когда так заканчиваю.

— Как так?

— По-божески. Говоря, что Бог то-то и Бог так-то.

Шел бы он, этот Бог, на самом деле хотелось ему сказать. Дрючь-его, этого Бога, за то, что создал этот мир, загребись имя Его, ныне и, дрючь-е, вовеки, дрючь-его, этого Бога, за жизни наши, дрючь-его, Бога, что не спасает нас, дрючь-его, Бога этого, за то, что, дрючь-е, нет Его здесь, за то, что, дрючь-е, не спасает людей, горящих на этом гребаном бамбуке.

Но потому, что он был человеком, и потому, что, как человек, был он самым обычным из людей необычных, он и бубнил: «Бог-Бог-Бог», — во время заупокойной службы всякий раз, когда больше сказать было нечего, а про безвременную,

бессмысленную смерть, как выяснилось, ему было очень мало что сказать. Узники, похоже, этим довольствовались, зато Дорриго Эванс не мог сглотнуть склизское отвращение, которое жабой ворочалось у него во рту после службы. Ему не нужен был Бог, не нужны были эти костры, ему нужна была Эми, а перед глазами у него плясали одни лишь языки пламени.

— Бонокс, вы все еще верите в Бога?

— Не знаю, полковник. А вот о людях я начинаю задумываться.

Горевшие тела потрескивали и постреливали, лопаясь. У одного рука поднялась, когда жилы натянулись от жара.

Один из костровых махнул мертвецу в ответ.

— Всего тебе доброго, Джеки. Ты теперь вырвался отсюда, братан.

— Видать, так оно и нужно, — сказал Бонокс Бейкер.

— Не уверен, что это так, как следовало бы, — возразил Дорриго Эванс.

— Оно значило кое-что для ребят. Я так думаю. Даже если не значило для вас.

— Серьезно? — вскинул голову Дорриго Эванс.

Ему припомнился анекдот, который он услышал в каирском кафе. Пророк посреди пустыни

сообщает путешественнику, который умирает от жажды: все, что ему нужно, — это вода. «Воды-то и нет», — отвечает путешественник. «Согласен, — кивает пророк, — но если бы вода была, тебя бы не мучила жажда и ты бы не умер». «Значит, я точно умру», — говорит путешественник. «Нет, если выпьешь воды», — отвечает пророк.

Пламя вздымалось все выше, воздух полнился дымом и кружащимися хлопьями сажи, и Дорриго Эванс отступил назад. Запах шел сладковатый и тошнотворный. С отвращением он понял, что исходит слюной. Кролик Хендрикс поднялся и вскинул обе руки, словно обнимая языки пламени, уже лизавшие его лицо, потом что-то у него внутри хлопнуло с такой силой, что все отпрыгнули от костра, уворачиваясь от кусочков горящего бамбука и угольков. Бамбуковый костер запылал еще яростнее, и Кролик Хендрикс, наконец, упал набок и пропал в огне. Последовал громкий хлопок, когда взорвался еще один труп, и все пригнулись, прикрывая головы.

Матерый выпрямился и, подхватив бамбуковый шест, помог костровым подтолкнуть трупы обратно к центру костра, где им предстояло сгореть полнее и быстрее всего. Работали все вместе, шуруя, разравнивая и оббивая бамбук, чтобы

насытить неудержимо рвущееся ввысь пламя, покрываясь потом, отдуваясь, не останавливаясь и не желая останавливаться, просто высвобождая себя в ревущих языках пламени еще на несколько мгновений.

Когда они закончили и собрались уходить, Дорриго Эванс заметил что-то, валявшееся в грязи. Это был альбом для эскизов Кролика Хендрикса, слегка тронутый огнем, но в остальном невредимый. Полковник решил, что альбом выбросило из огня силой того небольшого взрыва. Картонная обложка пропала вместе с первыми страницами. Теперь альбом открывался карандашным портретом Смугляка Гардинера, сидящего в роскошном кресле с рыбкой на обивке и пьющего кофе на разрушенной улице сирийского поселения, еще кое-кто из солдат кружком стоял позади него, среди них и Рачок Берроуз со своим термосом. Должно быть, Кролик Хендрикс пририсовал Рачка *после* того, как беднягу разорвало, сообразил Дорриго. Рисунок — все, что от него осталось.

Дорриго Эванс поднял альбом и собрался уж было швырнуть его обратно в костер, но в последний миг передумал.

14

Один за другим, все больше людей обходило Смугляка Гардинера, нескладные, худосочные, будто из палок, фигуры с мрачно поджатыми губами и глазами, словно сухая грязь, больше не способными двигаться плавно, а дергавшимися и прыгавшими рывками, и он оказывался все ближе и ближе к концу колонны. Все сошло с него. А то, что оставалось, что сидело крепко и горело в голове и во всем теле, было, он это знал, болезнью. Его изъеденным язвами ногам стоило лишь немного пройтись по жухлым листьям, как мучения его сделались нестерпимыми, все тело рвали странные толчки чистой боли.

И все-таки Смугляк Гардинер считал себя везунчиком: башмаки у него есть, говорил он себе, а если один временно остался без подметки, то вечером он как-нибудь ее приделает. Тут и сомневаться нечего, думал Смугляк Гардинер, иметь башмаки — дело хорошее, даже когда они изношены вконец. И, подкрепленный этой мыслью в столь безрадостный момент, он снова вскинул моток толстой веревки на плечо, не давая ему упасть, повел плечом, устраивая его поудобней,

чтоб не терло шею, и продолжил движение.

И хотя он отставал все больше и больше, но все же умудрялся держаться дороги, забираясь все глубже в джунгли. Свой день он воспринимал как цепь неодолимых поединков, в которых ему тем не менее предстояло побеждать. Добраться до той Дороги, отработать на той Дороге до обеда, потом после обеда — и так дальше. И каждая битва сводилась сейчас к невозможности следующего шага, который у него все же выходил.

Он упал в заросли колючего бамбука, располосовав руку, которую выставил перед собой. Когда снова встал на ноги, не осталось больше ни ловкости, ни силы, чтобы, держась на одном камне, перепрыгнуть на следующий, шагнуть пошире и что-то перешагнуть. Все пошло наперекосяк. Он то и дело спотыкался. Шатался и растерял тот запас сил, которые сберег, пытаясь сохранить равновесие. Снова и снова падал. И каждый раз все труднее было подняться на ноги.

Когда он в следующий раз, шатко склонившись вперед, вгляделся в зеленое однообразие, то понял, что остался один. Идущие впереди пропали за возвышением, а те, кто ковылял позади, далеко-далеко отстали. От дождя веревка вымокла еще больше и все тяжелее давила на плечо. Она

то и дело выскальзывала из мотка, расползалась неровными петлями, которые цеплялись за корни, отчего он спотыкался еще больше. Всякий раз он останавливался, сматывал веревку, вновь выравнивал моток на плече, и всякий раз моток делался все тяжелее и неудобнее.

Спотыкаясь, он шел дальше. Чувствовал ужасную слабость, голова была дряблой, будто никак не могла удержаться на плечах. Веревка опять зацепилась, он споткнулся, упал лицом прямо в грязь, медленно повернулся на бок и остался лежать. Убедил себя, что ему нужно отдохнуть минуту-другую, потом все будет здорово. И почти тут же потерял сознание.

Очнувшись, понял, что лежит в сумраке джунглей рядом со спутанным мотком веревки. С трудом поднялся, зажал пальцем ноздрю, выбил из носа сопли с грязью и встряхнул кружащейся головой. Сделав неверный шаг вперед, привалился к вышедшей на поверхность скале и сбил с выступа кусок отлетевшего известняка, который ударил его по плечу.

«Я должен идти дальше», — думал он (или думал, что он думает, сознание его теперь было настолько измучено, что воспринималось чем-то отдельным, каким-то довеском, булыжником), а

уверен же был только в том, что запаниковал и на какое-то время вырубился.

Собрав силы, восстановил равновесие, охваченный злостью на скалу, на этот мир, на свою жизнь, нагнулся, подобрал кусок известняка и со всей силы, которую хилой ярости удалось извлечь из его зашедшегося в горячке тела, запулил им в джунгли.

Послышался мягкий удар, а сразу за ним — брань. Тело Смугляка напряглось.

— Твою мать, Гардинер, — свистяще прошипел знакомый голос.

Смугляк Гардинер пригляделся. Из бамбуковой рощи вышел Петух Макнис, держась рукой за голову.

— Ты с нами идешь или нас выдаешь?

За спиной Петуха появилось еще шесть заключенных, которых Смугляк не узнал, а за ними вышел Галлиполи фон Кесслер, привычно и как-то небрежно приветствовавший Смугляка вскинутой на нацистский лад рукой.

— Мы подумали, ты за нами, — сказал Кес.

— Зачем? — спросил Смугляк Гардинер.

— Мы решили, что ты знал и просто осторожничал, притворяясь, будто хочешь вздремнуть малость, — пояснил Петух Макнис.

— О чем я знал? — воззрился на него Смугляк Гардинер.

— О нашем дне отдыха. Япошки нам его не дадут, вот мы себе сами и устраиваем.

Смугляк оглянулся на дорогу.

— Утром нас пересчитали, а япошки не пересчитывают еще раз до самого вечернего построения после того, как мы вернемся в лагерь, — продолжал Петух Макнис. — Там, на той Дороге, они никогда не ведут учет и ничего не замечают. Мы прячемся и отдыхаем, а после просто возвращаемся в общий ряд, когда все идут обратно в лагерь. Встал в общий строй, тебя посчитали — и сам Тодзе[64] тебе дядя.

— Нельзя рассчитывать, что вам удастся спрятаться за спины других, — сказал Смугляк Гардинер. — Так не бывает.

— Мы сделали так на прошлой неделе — ни один узкоглазый гад даже не пикнул. И сегодня мы по новой так делаем.

— Но ведь сегодня, мужики, вы в моей бригаде, — напомнил Смугляк.

---

[64] Примечания: 64

Имеется в виду Хидэки Тодзе — японский политик и военачальник, бывший министр армии и премьер-министр Японии (1941–1944). В 1948 году по приговору Токийского трибунала был повешен как военный преступник, виновный в развязывании агрессивных войн и жестоком обращении с пленными.

— И что? — бросил Петух Макнис.

— А то, разве это честно по отношению к другим мужикам?

Кес рассказал, что в полумиле они отыскали нависшую скалу — прятаться от дождя. Никто их там не услышит и не увидит, а у них с собой добрая колода карт, одного только бубнового валета не хватает. Как он насчет «пяти сотен»?

— Они вам розгами шкуру спустят, — сказал Смугляк Гардинер.

— Откуда им дознаться? — пожал плечами Петух Макнис.

— Вызнают и вас запорют.

— А ты нас прикроешь, — сказал Петух. — Ты ж сегодня старшой в бригаде. Микки в прошлый раз так делал. Ничего не сказал. Раскидал немного по-другому, так, чтоб на каждом рабочем месте были люди. Всего-то на каждую бригаду на одного меньше приходится.

Кес заметил, что отсутствие бубнового валета делает «пять сотен» куда интересней. И…

— Не в том дело, — перебил Петух Макнис. — Вовсе. Тут отказ сотрудничать с япошками в их военных усилиях. Где-нибудь, когда-никогда, а заявить свое «фэ» мы обязаны — и это тот самый случай.

Смугляк Гардинер задумался, но ненадолго.

— Я не выношу «пять сотен», — выговорил Смугляк.

Кес сказал, что если по-честному, то больше и заняться-то нечем. «Пять сотен» или спать. Можно бы пасьянс, но кто в нем когда хоть какой-то прок видел?

— Зашибись, — выговорил Смугляк, для которого слово «спать» прозвучало упоительно и у которого опять начала раскалываться голова. — У меня сил нет, чтобы спорить. Но это приказ. Против вашего сачкования я не возражаю, зато крепко возражаю, если из-за него пострадают другие.

— Никто не пострадает, — сказал Петух Макнис.

— Вы пострадаете, — резко бросил Смугляк, — если меня не послушаетесь. Пошли.

Однако когда он подобрал веревку, смотал ее и опять забросил на плечо, когда возобновил свой нелегкий путь к железнодорожной просеке, за ним пошел один только Галлиполи фон Кесслер.

— Гардинер слишком слабый старшой, чтоб хоть что-то сказать, — обратился Петух Макнис к остальным, и они, повернувшись, пошли прочь от дороги в джунгли. — Он не тот вождь, какими

былые вожди были.

15

Полковник Кота был ничуть не удивлен, что его опасения оправдались. Тайцы в массе никак не заслуживали доверия, а уж по одиночке оказались поразительными воришками. За четыре ночных часа, прошедшие с того времени, как он со своим водителем оставил японский грузовик посреди джунглей, и до того, как прибыла бригада военнопленных, чтобы оттолкать машину в лагерь, какие-то тайские бандиты украли несколько патрубков, отчего поставить грузовик на ход стало невозможно. Пришлось полковнику оставаться в лагере, пока охранник (которого ждали до сумерек) не вернулся из ближайшего лагеря по соседству с новыми патрубками.

Задержавшись на целый день, полковник Кота решил проинспектировать ход работ на железнодорожной трассе. Взяв в провожатые Варана, он направлялся к той Дороге, когда на пути японцев возникли два заключенных, один сидел, а другой лежал в грязи. Сидевший сразу же встал, зато тот, что вытянулся поперек дороги, не шевельнулся. Казалось, он ничего не замечает. Японцы подумали было, что он мертв, но когда Варан ногой

перевернул тело, они убедились, что ошиблись, и заорали на лежащего. Когда крик не подействовал, Варан хорошенько пнул его ногой, но лежащий человек лишь издал стон. Стало понятно, что ему уже нипочем ни угрозы, ни побои.

Полковник Кота ощутил в этом безнадежность. Как построить железную дорогу, думал он, когда они даже до рабочего места дойти не могут? И тут ему на глаза попалась шея Смугляка Гардинера.

Полковник Кота приказал Варану силком поставить Смугляка на колени со склоненной головой. И внимательнее осмотрел шею австралийского заключенного. Шея — кожа да кости, в складках кожи — мерзостная грязь.

Да, подумал полковник Кота. Плоть измаранная, серая, как грязь, на которую мочишься. Да-да, думал полковник Кота. Что-то в ее странных, как у рептилии, морщинах и темных узорах будоражило в нем память, жаждущую повторения. Да! Да! Полковник Кота знал, что способен на нечто безумное, бесчеловечное, что пунктиром кровавых обрубков пролегло через всю Азию. И чем больше он убивал так обыденно, так радостно, тем яснее понимал, что его собственную жизнь обрубит смерть, не подвластная ему самому. Обладать властью над чужими смертями: когда,

где, мастерство, обеспечивающее чисто срезанный обрубок, — это было возможно. И каким-то странным образом подобное предание смерти воспринималось как удержание под своей властью остатка собственной жизни (сколько бы ему ни осталось).

Во всяком случае, рассуждал теперь полковник Кота, было бы попросту напрасной тратой драгоценных сил другого заключенного нести больного обратно в лагерь, а в лагере драгоценная пища напрасно бы тратилась на него, когда он все равно, вероятно, скоро умрет.

Вынув из ножен меч, он жестом приказал Варану подать ему флягу с водой. Полковник Кота заметил, как дрожат у него руки, что было странно. Он не испытывал ни страха, ни укоров совести.

Лишь луна да я
На мосту нашей встречи,
Одинокие, все мерзнем и мерзнем[65].

Полковник Кота дважды произнес хайку Кикуша-ни. Однако необходимо было унять трясущиеся руки. Он отвинтил крышку фляжки,

---

[65] Примечания: 65

Стихотворение японской поэтессы Тагами Кикуша-ни (1753–1826) дано в переводе с англ. яз.

дрожавшей на весу у него перед глазами, и полил водой меч. Следил, как капельки воды сливаются воедино на блестящей поверхности клинка, мокрыми гибкими змейками скатываясь с него. Красота этого завораживала его.

Подняв голову, полковник сосредоточился на замедлении дыхания, прежде чем осторожно опустить меч, пока тот не коснулся шеи Смуглякa. Японец держал его там, не оставляя сомнений в своем намерении, приводя в готовность собственное тело.

— Закрой глаз! — рявкнул Варан Смугляку Гардинеру. — Закрой глаз!

И, закуривая сигарету, Варан для наглядности дважды смежил веки.

Полковник Кота расставил ноги, обрел равновесие, с криком высоко взметнул меч и замер, снова, в последний раз произнося хайку Кикуша-ни. Но не смог вспомнить нужной последовательности слогов в середине. Не останавливаясь, он продолжал бестолково бормотать стихотворение про себя.

Все замерли в ожидании: полковник Кота с мечом, занесенным над коленопреклоненным военнопленным, Варан, держащий сигарету у губ, Галлиполи фон Кесслер, который смотрел,

окаменев от ужаса. Единственный, кому не было видно, Смугляк Гардинер знал только, что влажный жар полотенцем укутал ему лицо да пот стекает по закрытым глазам. Он только и чувствовал своим в клочья растерзанным телом, скрученным ужасом, что между ним и солнцем вознесен меч.

И не смел и воздуха глотнуть.

Он чуял запах полковника Коты, всеобволакивающую вонь гниющей рыбы. Чувствовал клинок, занесенный над ним. Он слышал кровь. Свою. Их. Все громче.

И полковник Кота, человек, веривший в симметрию и порядок всех вещей, все больше приходил в замешательство, пока его рассудок бился против собственной слабости. Он был в недоумении. Он утратил власть над последовательностью вещей, а утратив ее, утратил власть и над завершением этого и каким-то странным образом (который для него также был абсолютно логичным) — над своей собственной жизнью. А этого он позволить не мог.

Шея Смугляка Гардинера, как ему казалось, вопияла. Он нетерпеливо ждал удара меча, только бы смолк этот вопль. Он гадал, не падает ли уже меч, и голова его уже не…

— Ушел он, — донеслись до него слова Кеса.

Слышались звуки, будто кто-то уходит прочь, короткое молчание, потом те же шаги вернулись обратно.

— Угребся, — сказал Кес. — Я проверил. Можешь смотреть, Смугляк.

И Смугляк Гардинер открыл глаза.

Кота со своим мечом исчез. Варана тоже не было видно. Только Кес остался: вылупился на него своими глазками, точно семечки яблока. Смугляк глянул на черную линию бамбука по верху соседнего утеса и дальше, на силуэт тикового леса.

— Едрены шишки, — ахнул Кес, — гля, как пялятся мартышки.

Смугляк услышал пронзительный обезьяний визг.

Уловил запах вонючей грязи джунглей.

И среди всей этой жизни вокруг Смугляк Гардинер в первый раз ощутил свою собственную смерть. И понял: вот это все останется и дальше, а от него не останется ничего, даже память о нем, пусть и сохранится кое у кого из немногих родных и друзей на несколько лет, возможно, десятилетий, будет полностью забыта и значить будет не больше, чем упавший бамбук или неизбежная грязь. Смугляк глянул в оба конца

дороги, и мысль о голых рабах, вкалывающих всего в какой-то миле от него, пробудила в нем жуткую ярость. Все это будет продолжаться и продолжаться, только он исчезнет. Куда бы он ни смотрел, всюду видел ярчайший мир жизни, которому он ни капельки не нужен, который ни на миг не задумается об его исчезновении и в котором не останется никакой памяти о нем. Мир этот продолжит *быть* и без него.

— Братан, ты в порядке? — спросил Кес.

Взгляд Смугляка Гардинера метался повсюду, и повсюду все, что он видел, было миром, для которого он ничего не значил, в котором он был ничем и которому был не нужен. Швырнут его на бамбуковый костер, скажут что-нибудь, а то и не скажут ничего, Джимми Бигелоу сыграет «Вечернюю зарю», а через десять-двадцать лет те, кто выживет, окажутся рабами в какой-нибудь новой японской империи. А через пятьдесят или сотню лет все станут воспринимать это совершенно нормально, и ничто из этого будет не лучше и не хуже, чем что угодно сейчас, с той единственной разницей, что его там уже не будет. Неожиданно ему захотелось спать. Просто обязательно поспать. Он перекатился на спину и лег. Тело восприняло это так, будто оно снова

стало растворяться в грязи.

— Нам двигать надо, — сказал Кес. — Тебя убьют, если останешься.

Кес уже наклонился, чтобы рывком поднять Смугляка на ноги, когда услышал гортанный крик и к своему ужасу увидел быстрым шагом возвращающегося по дороге Варана. Охранник оттолкнул Кеса в сторону, опять пнул ногой Гардинера и заорал: «Бьеки[66]-дом! Бьеки-дом», — указывая рукой на дорогу в направлении лагеря. Даже в бредовом состоянии узнику, похоже, с трудом верилось в такое.

— Бьеки-дом? — ушам своим не веря, выдохнул Смугляк, повторяя лагерное прозвание лазарета.

— Бьеки-дом! — снова заорал Варан, подкрепляя крик пинком.

Собравши все, какие мог, силы, Смугляк Гардинер поднял себя на четвереньки, развернулся, как усталый пес, и пополз к лагерю, пока охранник не передумал. Кес побыстрей зашагал в обратную сторону к железнодорожной просеке. Варан промчался мимо него, бегом догоняя прибывшего

---

[66] Примечания: 66

Чаще всего «бьеки» (*byoki — яп.*) переводится как болезнь, но в широком смысле может означать нечто нежелательное, неприятное или неприемлемое, вплоть до восклицаний «чушь!», «дичь!». То, что «худо», одним словом.

в лагерь полковника. Когда он скрылся из виду, Кес остановился.

С удивлением ощутил, как его левую ногу невесть отчего сжал сильный спазм, и принялся скакать по кругу, будто его подсоединили проводом к линии электропередачи. А потом тело его несколько минут неудержимо билось в судорогах, тряслось сильно и дико. Наконец мучения прекратились, и Кес вновь обрел возможность идти к той Дороге.

16

День только перевалил за середину, Долдон съел на обед свой грязный серый рисовый шарик и был на пути к кухне, чтобы выпросить еще одну жестянку из-под керосина и заткнуть ею еще не заделанную дырку в бачке для кипячения, сделанном из такой же жестянки. Еще он надеялся, что вдруг повар даст ему каких-нибудь очисток или рисовой шелухи.

Долдон был намного старше большинства пленных, ему, может, было даже уже под тридцать, из-за его глаз, которые всякому напоминали переполненные пепельницы, из-за странного молчаливого нрава некоторые подозревали, что он тронутый. До войны он был загонщиком, кочевал по тасманийскому нагорью и сейчас не носил ничего, даже вещмешка. Впервые он надел кальсоны, когда ему, призванному новобранцу, выдали две пары вместе с форменной одеждой. Он никак не мог надивиться роскошеству армейской жизни, итогом экзотичности которой стала поваренная книга, которую Долдон выиграл в «очко» на Яве. По словам Долдона, он шел себе, воображая рецепт рулета из свинины от миссис

Битон, когда наткнулся на Смугляка Гардинера, свалившегося в грязь посреди площадки для разводов.

«Бог знает, как он исхитрился приползти обратно по Узкоколейке, — говорил позже Долдон кое-кому из военнопленных. — Но приполз».

Те тоже недоумевали, как это Смугляк Гардинер прополз на четвереньках через камни и корни, пробираясь по грязи и лужам, вниз по скале, и изображали удивление, которое на самом деле было страхом, потому как через день, через неделю то же, возможно, выпадет и одному из них, и тогда придется отыскивать в самих себе то (что́ бы это ни было), что имелось у Смугляка.

— Кишки у него совсем взбунтовались, и весь он, бедолага, был засранный, — рассказывал Долдон. — Похоже, просто пробирался на карачках по этой, мать ее, гребаной дороге, пуляя повсюду сраньем.

Слушали Долдона со вниманием.

— Гребаный бедолага, хер мне в дышло, вам не узнать, черт, долго ли его там черти носили. Его всего лихоманка крутила, как червивый лист в ветреный день. Я думал, он загнулся. До того, мать его, жутко выглядел. Потом разглядел, что дышит. Я и подумал: я ж просто хочу убрать его

от япошек с глаз долой, ведь даже если ты дохляк, для япошки-то ты все равно сачкуешь, если нет тебя в чертовых списках больных. Я поднял его, этот обосранный скелет, он за меня держится, я за него, наполовину ковыляем, наполовину я Смугляка тащу, будто старую грязную обтурханную метлу, к тому бамбуковому душу. Набрал воды, тряпок достал, вымыл-очистил его снизу доверху, лицо ему вымыл, жопу его сраную вычистил.

Слушатели будто видели, как Долдон держит Смугляка, стоя под бамбуковым душем. Они-то знали, до чего это жуткая картина: два голых мужика, словно два дерева, привалились друг на друга. Когда Долдон говорил: «Чистыми быть здорово, кочерыжки», — они будто видели тот поток воды, что падал из бамбуковых труб, которые они же сами и проложили от ручья. Будто видели, как гнется и качается во все стороны Смугляк в объятиях Долдона. Будто видели, как древесными корнями стекает вода из впадин плеч Смугляка по его цыплячьей, с выпирающими ребрами груди, когда Долдон говорил: «Смой с себя эту гребаную вонь и из себя ее выкинь». И слушавшие задумывались, есть ли в ком-то из них хотя бы половина порядочности этого Долдона, матерщинника и полубезумца.

Долдон рассказал, как Смугляк только-только малость в себя пришел, когда появился второй после Матерого командир, Глазастик Тейлор, отличавшийся гангстерским ухарством и тем, что не было в нем ровно ничего от человека сурового, и Смугляк рассказал ему, как японский офицер хотел отрубить ему голову, но не стал, как Варан отослал его обратно в лагерь.

«Япошек никак не обвинишь в последовательности», — говорит Глазастик Тейлор, качая своей гангстерской головой и, протянув свои гангстерские руки, начинает его ощупывать. «К тому времени Смугляк уже лыка не вязал, — продолжал Долдон, — все бормотал про то, как до войны водил свою мадам в рыбный магазин «Никитарис» в Северном Хобарте кормить ее рыбой с картошкой. И все талдычит, как не может перестать думать про рыбу, что когда-то плавала себе кругами в большом баке в витрине того магазина. Плоскоголов, там, кефаль, лосось-черноспинок. «Ничего особенного», — бурчит Смугляк, пока Глазастик мнет его, веки ему поднимает, грудь выстукивает — вся эта докторская бузня.

«Просто рыба?» — спрашивает Глазастик.

«Ага, — говорит Смугляк, — просто рыба. Чертовы бедняги, загнанные в тот стеклянный ящик,

глазами хлопают».

«Покажи язык, Смугляк», — говорит Глазастик.

После утреннего сеанса в «Авалоне» Смугляк отправляется бродяжничать. Всегда — в рыбный магазин «Никитарис». Две барракуды — картошка — морской гребешок на масле — хлеб с маслом.

«Сначала они требуют, чтоб все работали до смерти, — говорит Глазастик, — а потом отправляют бедолагу обратно. Высунь язык, Смугляк».

А Смугляк знай себе распинается про то, как Эди это обожала. Киношка, а после рыбки поесть.

«А после?» — хотелось мне спросить, — хмыкнул Долдон. — А он знай себе талдычит про то, как не может перестать думать о всей той рыбе, что плавает в баке «Никитариса». Как это против природы. Что рыбы тоже военнопленные. Что, когда он вернется, отправится в рыбный магазин «Никитарис». Выловит всю эту рыбу, отнесет ее в доки и выпустит на свободу. «Плевать мне на то, что старина Никитарис думает, — говорит Смугляк. — Я их куплю, я ограблю эту тюрьму, что угодно сделаю, чтоб спасти этих рыб и выпустить их обратно в море, где им и надлежит быть».

Глазастик уговаривает его не горячиться, говорит, что у него все болезни, какие только есть,

что его поместят в лазарет на столько, сколько понадобится, а когда он после выйдет, то ни рыбе, ни его мадам покоя не видать.

Смугляк шатался, как травинка, — говорил Долдон. — Трудно было разобрать, о чем он думает и знает ли хотя бы, где находится. Может, воображал себе, что они с Эди рыбку едят после вечернего сеанса в «Авалоне», — говорил Долдон, — может, смеялся над рыбой в баке. Может, и не глядит на нее вовсе, может, просто пялится на титьки Эди, может, Эди просит его перестать на рыбу глазеть и побольше внимания обращать на нее. А может, и нет. Может, она говорит: «Ты на что глазеешь?» — а Смугляк весь из себя смущается и смотрит на рыбу, думая, может, что он сам одна из тех рыб, что плавают в баке, может, он голый военнопленный в джунглях, одной рукой за меня в обнимку держится, пока Глазастик Тейлор велит мне отвести его в лазарет. «Упросите там ввести ему столько хинина, сколько они смогут наскрести, — говорит, — и немного эметина против дизентерии». Наводит на меня свои большие гангстерские глаза, смотрит и говорит вполголоса: «Хинина нет, эметина нет, еды, считай, тоже. Но по крайности хоть отдохнуть сможет».

И тут, — говорил Долдон, — вы не поверите, но

Смугляк принимается хохотать, как будто он тут, с нами посреди чертовых джунглей, но направляется обратно в рыбный магазин «Никитарис» до войны. «Нет хинина, — говорит, — нет эметина. Две барракуды, дюжина морских гребешков в масле и немного, мать его, хлеба с маслом. Сэр».

И Глазастик в смех, — рассказывал Долдон. — И я туда же. И Смугляк хохочет. Уняться не может. «Две барракуды, — говорит Смугляк, — дюжина морских гребешков в масле и хлеба с маслом». Так и держим друг друга посреди той гребаной грязи, ржем так, что головы того и гляди отвалятся. Я понятия не имею, каков на вкус рулет из свинины. Но горячая, солененькая, жирная рыбка? Ни один мудак такого не забудет.

17

Уже на подходе к язвенному бараку Дорриго с головой нырнул в волну зловония от гниющей плоти. Вонь разлагающегося мяса была так сильна, что Джимми Бигелоу (он сопровождал Эванса в обходе за пределами холерного карантина, помогая в качестве санитара) пришлось отойти и проблеваться.

Зловоние усилилось, когда они оказались внутри язвенного барака. Дорриго Эванс зажал рукой нос, потом быстро убрал руку, расценив свой жест как еще одно оскорбление для людей, которые и без того уже слишком настрадались. И пошел по проходу между двумя бамбуковыми настилами, где лежали вповалку больные с язвами. Теперь зловоние изменилось, сделалось еще сильнее и острее, до того мерзостно едким, что у Дорриго слезы выступили на глаза. Голые люди лежали рядами, точно насекомые-палочники, умирающие после непонятного роения. Так много тел, похожих на шелуху от высохших цикад, вздымались и опадали на переплетенном бамбуке, лежали не ровно, а вкривь и вкось, отупевшие букашечьи глазки таращились широко и пусто,

цыплячьи груди с выпирающими ребрами опадали и вздымались, подавая единственный признак жизни. Время от времени Эвансу казалось, что он все же замечает что-то в их взглядах, но читались вещи чудовищные: зависть, внушающий страх фатализм или немыслимый ужас, в который они погружались все глубже и глубже. Смотреть было тяжело, еще тяжелее — не смотреть. Многие лежали в забытьи, и большинство ни на что не обращало внимания. Одни молчали, другие бредили, мотая головой из стороны в сторону, третьи что-то мычали и бормотали. Были и такие, кто беспрестанно стонал от боли, пронизывавшей их, словно дождь бамбуковый лес.

Дорриго Эванс проходил между настилами, оживленный, общительный, будто встречается в сельском пабе со старинными приятелями, но его благодушное настроение улетучилось, а желудок подвело, когда он увидел, как два санитара внесли Джека Радугу. Один из санитаров держал в руке какие-то грязные тряпки, стараясь унять кровь, которая сочилась из небольшой культи — это все, что осталось от правой ноги Джека, которого Дорриго Эванс оперировал уже два раза. Первый раз ампутировав ногу ниже колена, когда язва разъела ему голень и лодыжку. Второй — ко-

гда вокруг среза образовалась гангрена и доктору пришлось ампутировать ногу до середины бедра. Было это три недели назад — и вот он снова здесь. Санитары положили Джека на бамбуковый стол, куда клали пациентов, чтобы вычистить их язвы заостренными ложками. Дорриго Эванс подошел осмотреть ногу.

Но, еще ничего не увидев, учуял ее.

И сделал все, чтобы его не вырвало.

Опять произошло то же самое, и там, где следовало быть заживающей ране, была одна только черная гниль и зараза, кровь выбивалась из небольшого, похожего на палку обрубка. Дорриго Эванс понял, что швы, наложенные на бедренной артерии, разошлись.

— Гангрена, — произнес он, ни к кому не обращаясь, потому как любой, у кого есть обоняние, уже понял. — Кровоостанавливающий жгут.

Никто не шевельнулся.

— Жгут? О господи, нет, — сказал Дорриго Эванс, вспомнив, что он в язвенном бараке, где нет ни жгутов, ни чего-то похожего. Он торопливо расстегнул пряжку на ремне, вытащил его из шортов и обвязал им оставшуюся часть бедра Джека Радуги, тощий обрубок, не шире водосточной трубы. По виду он напоминал бумажный стаканчик,

сделанный из вонючего битума. Доктор осторожно затянул ремень потуже. Джек Радуга издал мычащий стон. Кровотечение замедлилось.

— Поднимите его.

Санитары усадили Джека Радугу, поддерживая его руками. Один из них предложил ему воды в консервной банке, но больной так и не смог поймать ее ободок трясущимися губами, и вода расплескалась.

— Мы забираем вас в операционную, капрал Радуга, — сказал Дорриго Эванс. И, когда один из санитаров замешкался почесать нос, полковник добавил тихонько: — Быстрее.

Санитары знали: чем тише полковник говорит, тем настоятельнее и безотлагательнее приказ. Они поспешили с носилками прочь, а Эванс повернулся к другому санитару:

— Отыщите майора Тейлора. Скажите, что он нужен мне в операционной. И не могли бы вы достать мне кусок проволоки, веревки или еще чего, чтобы подвязать шорты?

Полковник вместе со своими санитарами поспешил в операционную, Джимми Бигелоу изо всех сил старался поспевать за полковником, на быстроте которого, похоже, не сказывалась необходимость одной рукой придерживать шорты,

пока его длинные ноги месили грязь.

Операционной служила маленькая хижина. Главным ее достоинством было местоположение: на полпути между бараком лазарета и язвенной палатой, — тем самым ее отделили от больных, а значит, и от непреодолимых сложностей поддержания гигиены, связанных с ними. Крыша у нее была не брезентовая, а из пальмовых листьев, а значит, в операционной было более-менее сухо. Оборудование, которое в ней было установлено, напоминало представление ребенка об операционных. Его сладили из бамбука, пустых жестянок из-под продуктов и керосина, а также мелочей, украденных у японцев: бутылок, ножей, патрубков от грузовиков, — это было торжество магической мысли. Там стояли свечи, помещенные в рефлекторы из жести консервных банок, стерилизатор, сделанный из жестяных керосиновых канистр, операционный стол из бамбука, хирургические инструменты, изготовленные из шлифованной стали, украденной из двигателей, и хранившиеся в чемодане, который ставили на стол, чтобы крысы, мыши и прочая нечисть не могли по ним ползать.

Что я могу сделать? — раздумывал Дорриго, готовя инструменты к стерилизации. Он и понятия

не имел. «Что это вам в голову взбрело?» — спросил его Глазастик Тейлор, когда однажды Дорриго стал играть в карты на заключенного, которого Накамура намеревался наказать. «Мысль моя всегда одна, — признался Дорриго. — Идти в бой с ветряными мельницами. — Тейлор тогда рассмеялся, но Дорриго говорил совершенно серьезно. — Только вера в иллюзии и делает нашу жизнь возможной, Глазастик, — пояснил он, раскрывшись так, как никогда раньше. — Именно вера в реальность и губит нас всякий раз».

Он каждый день придумывал жизнь, и чем больше доверял своему воображению, тем, похоже, больше это получалось. Но сейчас-то как идти в бой? В дальнем углу хижины, подальше от операционного стола, он принялся оттирать руки, смывая с них маслянистую кровь под постоянной струей воды из бамбуковой трубы: еще один водопроводный шедевр, сотворенный узниками, которые провели из ручья неподалеку воду, которая, как подозревал Дорриго Эванс, вполне могла нести холерную палочку. Похоже, заражено было все, и любая попытка что-то изменить не приводила ни к чему, кроме как к ухудшению положения, и вела к еще большей смертности. Дорриго Эванс подозвал к столу Джимми Бигелоу

с канистрой драгоценной дистиллированной воды и попросил помаленьку лить ее ему на руки.

Умываясь, Дорриго Эванс старался собраться, настроиться и умом, и телом.

Им овладевала паника. Он понимал это и сдерживал себя, стараясь войти в ритм предоперационной подготовки. Убедиться, что тщательно очищен каждый палец. Это он сумеет, говорил он себе. Ногти: убедиться, что под ногтями ничего нет. Веры в то, что у него получится, не было, но другие верили, что он сможет. Но если он верит в то, что они верят в него, может быть, он и себя сумеет убедить? Кисти рук: не забыть про кисти. Все это было нелепо, и все же, говорил он себе, чтобы жить, прежде всего необходима нелепая вера, что ты сумеешь выжить.

Прибыли санитары с Джеком Радугой, который уже затих. Когда они укладывали его на операционный стол, пришел Глазастик Тейлор. Санитар достал какие-то куски разноцветного тряпья, связанные вместе в грубое подобие веревки. Протянул полковнику.

— Это мой ремень?

— Сари. Очевидно. Совсем недавно.

Полковник улыбнулся.

— Хорошо, если для разнообразия это поможет

поддерживать мои штаны. Сюда, — сказал он, локтями указывая на свои шорты и продолжая мыть руки.

Санитар продел самодельную веревку в петли на поясе шортов и завязал узлом на боку, придав узким бедрам высокорослого хирурга пиратский вид.

Получивший прозвище в честь знаменитого мельбурнского гангстера и из-за фамилии, и из-за мрачного обаяния (которое усиливали влажные глаза кенгуру, настороженные и в то же время ранимые, и подчеркивала ниточка усов), некогда упитанный Глазастик Тейлор теперь ужасно исхудал, тело придавало ему зловещий вид, какого никогда прежде не было, лишний раз подтверждая меткость прозвища. Его прошлое врача из пригорода в Аделаиде было столь же незамысловато, как экзотична была внешность. Не считая того, чему он научился, ассистируя Эвансу, свои познания в хирургии майор почерпнул из медицинской подготовки и анекдотов.

— Полковник?

— Ампутация, — произнес Дорриго Эванс, не отрывая взгляда от своих рук. — Еще раз.

— Дорриго, — опешил Глазастик Тейлор. — Вы культю видели?

— Я знаю.

— Там уже нечего отрезать.

Дорриго почувствовал, как с силой сжались его руки. Они должны быть чистыми.

— Я знаю. Вы можете… — начал Дорриго Эванс и заколебался.

Еще крепче сжал руки. Сможет ли он?

— Бога ради, Джимми, — резко бросил он, — эта чертова вода драгоценнее хорошего виски. Она не для полива. Я же сказал, лейте помаленьку.

— Он умрет от шока, Дорриго.

— Он умрет, если мы этого не сделаем. Это гангрена. Есть… Есть шанс, если мы ампутируем у самого бедра.

— Ой ли? — воскликнул Глазастик Тейлор. — Даже в самых современных госпиталях расчленение бедра только убивает людей. Приходится слишком глубоко вторгаться в тело. Здесь это бессмысленно.

— Сколько у нас анестетика?

— Хватит.

— Я как-то ассистировал при расчленении бедра, — сказал Дорриго. — В Сиднее, году в тридцать шестом. Операцию делал старик Ангус Макнейми. Лучше не бывает.

— Больной выжил?

— Больная. Аборигенка. Прожила целый день. Может, и два. Точно не помню.

— Почему бы просто не пойти на ампутацию очень высоко по бедру? Тогда есть шанс.

— Гангрена слишком высоко. Я не хирург. Но это еще не очень и высоко. Оттяпайте ногу там, где жгут. В любом случае — высоко ли по бедренной кости или у самого бедра — совсем не останется места, чтобы наложить жгут, и он умрет от потери крови. Тут же, черт побери, ноги вообще не осталось, Глазастик. Вот в чем беда.

— Если я смогу жестко надавить чем-то круглым и плоским где-то тут, — сказал Тейлор, показывая пальцами на собственном паху, нащупывая артерии, ощупывая тело, прикидывая диапазон действий. — Тут, — показал он, упираясь двумя пальцами себе в пах. — *Вот тут* — по бедренной артерии, это вполне сможет остановить кровь.

— Может, и нет.

— Может, и нет.

— Может, что-то вроде ложки с выгнутой ручкой? Может получиться.

— Может.

— Может.

— Хоть бы получилось. И, будем надеяться, удастся достаточно остановить кровь, чтобы

вы смогли работать. Кровь все еще течет. Но вы отрезаете культю, пережимаете артерии, а потом и зашиваете. Кровь у него все равно будет идти, но не так сильно, чтоб он умер.

— Мне придется действовать быстро.

— Вы не из тех, кто канителится.

Изможденное тело Джека Радуги слегка подрагивало. Глухой хрип сопровождал каждый его вдох и выдох.

— О'кей, — бросил Дорриго Эванс, тряся руками, чтобы они высохли. Он отправил Джимми Бигелоу за столовой ложкой и вернулся к бамбуковому столу.

— Мы собираемся еще немного подстрогать эту ногу, Джек, вырезать эту вонючую гангрену и…

— Мне холодно, — проговорил Джек Радуга.

18

Дорриго глянул на серое, как жир, застывший после жарки мяса, костлявое лицо, поросшее седой щетиной, жесткой, точно провод в предохранителе, на большие, как у опоссума, глаза, на курносый нос и грязные веснушки.

— Достаньте одеяло, — сказал Дорриго Эванс.

— У вас сигаретки не найдется, док?

— Боюсь, нет, Джек. Но после я постараюсь, чтоб ты всласть накурился.

— Ничто так не согревает, как хорошая затяжка, особенно если это «Пэлл-Мэлл», док.

И Джек засмеялся, закашлялся, затрясся — все разом.

Явился Ван Дер Вуд[67] с самодельным анестетиком. Из кухни вернулся Джимми Бигелоу со столовой ложкой, прихватив на всякий случай еще и половник. Зажгли свечи и две керосиновые лампы, но все они, похоже, лишь сделали более заметной темень в хижине. Санитар включил фонарик.

---

[67] Примечания: 67

Прозвище, означающее, что у того, кому его дали, синдром Ван Дер Вуда — «заячья губа».

— Пока не надо, — сказал Дорриго Эванс. — Запасных батареек у нас нет. Ждите, пока не скажу.

Жестом он попросил Джимми Бигелоу и Глазастика Тейлора встать рядом с ним у стола и запустить руки под Джека Радугу.

— На счет «три», господа.

Они перевернули Джека Радугу на живот. Когда Глазастик Тейлор воткнул иглу Джеку в позвоночник, тот издал звук, словно бы в унитазе вдруг спустили воду. Больному ввели капельницу, стали вводить анестетик. Явился Плакса Куни, повар невероятно маленького роста с ушами, которые казались украденными из мешка с брюссельской капустой, принес с кухни пилу для разделки мяса.

Снадобье Ван Дер Вуда было добротным, но сила действия его разнилась. Джек Радуга утратил чувствительность быстро, и уже шла подготовка к ампутации: кипятили кухонную пилу и ту малость хирургических инструментов, которая была в наличии. Когда все наконец было готово, Дорриго Эванс подал знак, что они приступают. Капельницу убрали, а Джека Радугу опять перевернули на спину.

— Действовать надо как можно быстрее, —

сказал Дорриго Эванс. — Тут главное сводить кровотечение к абсолютному минимуму. Держите его, — обратился он к Джимми Бигелоу и Плаксе Куни. Потом спросил Глазастика Тейлора: — Ложка готова? — Тейлор взметнул теперь уже изогнутую ложку в шутейном салюте.

— В атаку на ветряную мельницу, — скомандовал Дорриго Эванс.

И сделал глубокий вдох. Тейлор стал осторожно, но с нарастающей силой вдавливать черпак ложки в основание тощего живота Джека Радуги.

— Фонарь, — распорядился Дорриго Эванс. Джимми Бигелоу сделал шаг вперед и навел свет фонарика на обрубок.

Из лазаретных бараков послышался шум, но почти сразу же утонул в воплях Джека, когда Дорриго Эванс принялся отпиливать ему культю. Смрад от мертвой плоти был до того силен, что доктор крепился изо всех сил, чтобы его не стошнило. Впрочем, вопли Джека Радуги подтвердили Дорриго Эвансу, что он делает именно то, что надо: пилит плоть по-живому.

В операционную хижину вбежал санитар.

— В чем дело? — спросил Дорриго Эванс, не поднимая взгляда.

— Варан забрал Смугляка Гардинера из лаза-

рета.

— Что?

— Нам его было не остановить. Его за руки вытащили. Что-то там про людей, отсутствующих на той Дороге. Сейчас *тенко* идет. Его собираются наказать.

— Позже, — бросил Дорриго Эванс, почти уткнувшись лицом в зловонную культю Джека Радуги и весь сосредоточившись на своем деле.

— Майор Менадью сказал, что только вы сумеете их остановить.

— Позже.

Когда он перерезал бедренную артерию, из нее полилась кровь, сильно, но не бурно.

— Зажим, — произнес Дорриго Эванс. — В данный момент я ничего сделать не могу. Вот же чертово желтое отродье! Зажим? Отродье. Зажим!

Он пережал бедренную артерию, но ткань попросту выскользнула, и плотная трубочка, разбрызгав кровь по всему столу, продолжала кровоточить.

— Давите сильнее, — велел он Тейлору. А сам думал, что должен бы быть там, чтобы остановить такое возмутительное свинство. Еще он думал о сломанном дистилляторе, о том, что нуж-

но купить у тайских торговцев еще анестетика, о том, что в следующий раз первую ампутацию всегда будет делать как можно ниже и не доводить в будущем до таких ужасов, как этот.

Он во второй раз пережал бедренную артерию, и во второй раз она вырвалась, пришлось опять лезть в зловонную мертвую плоть и зажимать снова. Замер, выжидая. На этот раз зажим держал.

— О'кей, — сказал он, — о'кей.

Отрезал еще мяса. За минуту срезал все остававшееся гнилье. Кровотечение продолжалось, но Тейлор был прав: оно не было чересчур обильным, оставшейся ноги было достаточно — как раз, чтоб было что ампутировать. Впервые за целый час он слегка расслабился.

— Ложку убирать? — спросил Тейлор.

— Пока нет, — ответил Дорриго Эванс. Указав на гнилое мясо на столе, сказал Джимми Бигелоу: — Избавьтесь от этого бога ради.

Затем Эванс освободил столько кожи, чтобы хватило на лоскут покрыть рану. Потом аккуратно отделил живые мышцы ноги от кости, чтобы удалить кость повыше: тогда плоть смогла бы со временем срастись под костью и вокруг нее, образовав вполне терпимую культю.

— Пилу, — произнес он.

Санитар подал доктору кухонную пилу для мяса. Нужной силы хода добиться было сложно, и он работал осторожными мелкими движениями, подпиливая верхнюю бедренную кость, тщательно избегая образования осколков или дальнейших повреждений мышц. И довольно скоро отпал кусок кости длиной с палец.

Три человека теперь сосредоточенно следили за ходом операции. Дорриго Эванс начал сшивать бедренную артерию кетгутовой нитью, которую Ван Дер Вуд умудрился изготовить из оболочки свиного кишечника. Ее очистили, прокипятили и разъяли на прядки, потом опять очистили и прокипятили, затем в третий раз прокипятили перед самой операцией. В сравнении с хирургическими нитями самоделки были грубыми, зато держали. Только на этот раз шил он, вводя нить ни во что, в сырость, в неясное пятно из ткани и крови. Свет фонарика начал меркнуть, и Дорриго, собрав в кулак все силы и волю, старался наложить каждый шов в нужном месте.

А потом кровотечение прекратилось.

Получилось! Ему удалось зашить артерию, и Джек Радуга будет жить. Тут только Дорриго заметил, как тяжело он дышит. И улыбнулся.

Принялся готовить оставшиеся мышцы и лоскут кожи, чтобы укрыть ими остаток кости. Поднял взгляд на Глазастика.

— Убирайте ложку, майор. Осторожно.

Глазастик Тейлор поднял ложку. Дорриго Эванс продолжал работать, уже медленнее, тщательнее. Джек будет жить. Он спасет жизнь этого человека. Еще предстояло преодолеть заживление, возможность инфекции. Но пока его шансы благоприятны. Возможно, не велики, но все же благоприятны. Доктор нацелился на то, чтобы сделать сейчас все в наилучшем виде, он представлял себе дожившего до средних лет Джека Радугу в кругу детей с культей на подушечке. Живого. Любимого. И понимал: сделанное им не напрасно, не бессмысленно. Он не ударил в грязь лицом.

— Выключите фонарик, — произнес Дорриго.

Он закончил.

Распрямился, потер спину, подмигнул Джимму Бигелоу и бросил взгляд на культю. Сделано поразительно чисто. Доктор ощутил гордость за умелость своих рук. Заметил маленькое пятнышко просочившейся крови там, где только что сшил вместе лоскут мышцы, но санитар, уже обрабатывавший культю, стер пятнышко.

Дорриго закурил, глубоко втянул в себя долгожданный дым и засмеялся.

— Ложка! — воскликнул он.

— Кровожадно изогнутая ложка, — прибавил Глазастик.

— Это уже для журнала «Ланцет».

Когда Дорриго вновь глянул на Джека, на культе уже образовались несколько бисеринок свежей крови.

— Вы почему не обрабатываете и не бинтуете культю? — спросил Дорриго Плаксу Куни, когда тот во второй раз смахнул кровь.

Словно бы в ответ на его слова кровь почти так же быстро появилась вновь. Сшитые лоскуты набухали, небольшое просачивание обратилось в стойкое выделение, а потом кровь потекла изо всех частей раны. Плакса Куни в ужасе воззрился на Дорриго.

— Швы, держащие бедренную артерию, должно быть, не выдержали, — сказал Глазастик Тейлор, словами выражая то, о чем думал Дорриго, о чем думать ему совсем не хотелось. На мгновение он замер.

И вдруг закричал:

— Ложку!

— Что? — спросил Джимми Бигелоу, который

находился в другом конце хижины.

— На бедренной артерии разошлись швы. Придется ее опять открыть.

Глазастик Тейлор уже бегом возвращался с ложкой.

— Фонарь! Джимми, фонарь! У нас всего полминуты.

Дорриго знал: через полминуты сердце Джека Радуги откачает из его тела всю кровь. Еще до того, как ложку вернули в прежнее положение, тело Джека Радуги дернулось.

— Ложку!

Тело Джека Радуги зашлось в конвульсиях.

– *Ложку!* — заорал Дорриго Эванс.

Глазастик Тейлор принялся надавливать ложкой, но никак не мог удержать ее вжатой в дергающееся тело. Джимми Бигелоу включил фонарик и встал на свое место, но фонарик все тускнел и тускнул, а потом и вовсе погас.

— Фонарь! — орал Дорриго Эванс. — Где свет, черт побери?!

Тело дико запрыгало на столе.

— Держите его! Придавите! Сильно. Ложку! Сильно! Держите этого долбоеба!

— Я жму, мать его, со всей силы, а этот долбоеб никак не остановится! — орал Глазастик Тейлор.

Кровь была повсюду, они все были в ней. Она заливала бамбук и стекала маслянистыми струйками в темную грязь. Потребовалось еще несколько секунд, прежде чем Джимми Бигелоу с Плаксой Куни удалось зажать Джека Радугу и удерживать его, но все равно его истощенное тельце дергалось вверх-вниз, будто через него пропускали электрический ток, а руки державших скользили на крови, которая уже, похоже, все как маслом залила.

— Ногу, — произнес Дорриго Эванс. — Возьмите ногу!

Только на самом-то деле уже не осталось ноги, за которую можно было взяться, лишь нечто жутко шевелящееся и кровавое, что, казалось, хотело, чтобы его оставили в покое.

Оставшийся крохотный кусок бедра был уже до того скользким от крови, что работать с ним было очень трудно, в тусклом свете и кровавой путанице Дорриго Эванс с трудом различал хоть что-то отчетливо. Содрогания утихли, потом прекратились, и ему удалось отыскать швы, удерживавшие плоть вместе, так что он мог бы опять добраться до бедренной артерии, но когда он надрезал их, Джек Радуга опять дернулся. Ложка Глазастика скользнула в кровавой жиже, и кровь

ударила жуткой дугой, долетев до самой ступни здоровой ноги Джека.

Доктор лихорадочно рылся пальцами в мерзости обрубка ноги Джека, стараясь выискать что-то, что можно было сшить, зажимая прыгающую слизь, ощупывая мечущуюся слякоть — не было ничего, ничего, к чему можно было пришить, *ничего*, что могло бы удержать нить. Стенки артерии стали насквозь промокшей бумагой. Теперь, с нарастающим ужасом осознавал Дорриго Эванс, когда кровь продолжает вытекать, когда по телу Джека Радуги жуткими волнами прокатываются дикие судороги, он уже ничего не сможет сделать. «Но должен же быть какой-то выход, — говорил он себе. — Думай! Думай! Ищи!»

С каждым судорожным содроганием кровь била фонтанчиком. Как будто тело Джека Радуги с готовностью само откачивало себя досуха. Дорриго Эванс пытался зашить артерию как можно выше, кровь по-прежнему текла струей, Глазастик Тейлор был не в состоянии сдержать поток, кровь была повсюду, Дорриго отчаянно пытался придумать что-то, что дало бы шанс выиграть хоть немного времени, но ничего не получалось. Доктор шил, кровь лилась, света не было, швы все время лопались, ничего не держалось.

— Давите сильнее! — кричал он Глазастику Тейлору. — Остановите это чертово кровотечение!

Но как бы сильно Тейлор ни давил, кровь все не унималась, омывая ладонь и руку Дорриго Эванса до локтя, стекая вниз в азиатскую грязь, в азиатское болото, из какого им нет исхода, в азиатский ад, который все глубже засасывал их всех в себя.

Судороги уступили место дрожи. Дорриго Эванс пробирался все глубже в культю, плоть рвалась и отпадала, пока он действовал, один раз его игла ткнулась в кость. Он пытался сообразить, отыскать какой-то выход, не утратить надежду, когда расслышал, как Джек произнес несколько тихих слов, звучавших почти как всхлипы и надломы дыхания.

— Матерый?

— Джек?

— Я точно умру?

— Думаю, да.

— Холодно, — прошелестел больной. — Так, мать-е, холодно.

Дорриго Эванс, не сдаваясь, продолжал ковыряться в обрубке Джека, его босые ноги по колено ушли в кровавую грязь под бамбуковым операционным столом. Он знал, что в моменты

величайшего внутреннего волнения он всегда сохранял эту странную штуку — внешнее спокойствие. Он упорно отыскивал кусок артерии, пытаясь найти что-то в своей работе, за что можно было бы зацепиться, чтобы продолжить ее, бессознательно поджимая и разжимая пальцы ушедших в грязь ног.

И вдруг наконец ему это удалось, и он заработал с величайшим тщанием и заботливостью, чтобы быть уверенным: его труд не пропадет и Джек будет жить. Когда же дело было завершено и доктор поднял голову, он понял, что Джек уже несколько минут как мертв и никто в операционной не знает, как ему об этом сказать.

19

Полковника Коту все больше и больше раздражал этот кореец сержант. Все в охраннике казалось ненадежным и не вызывало доверия. Даже его показная манера вышагивать и то, как невыносимо медленно он поворачивался, выглядело как-то фальшиво. Оглядывая сверху донизу спутанный клубок шпал, камня, грязи, рельсов и голых рабов, копошащихся, как тараканы, полковник Кота понял, почему корейцев никак нельзя использовать в качестве боевых единиц на фронте.

Осматривая железнодорожные работы — насыпи и откосы, громадную просеку сквозь скалистые холмы, серые известняковые утесы, подпирающие черные тучи, великолепные тиковые эстакады над оврагами в джунглях, радугами выгибающиеся под муссонным ливнем, — он думал только о том, как не прикончил узника там, на дороге, и что кореец сержант стал свидетелем его странного поведения. И все-таки даже сейчас он так и не мог вспомнить правильный порядок слогов в хайку. Кореец сержант раздражал его чрезвычайно стремлением угодить, показ-

ной улыбочкой, нелепым согласием со всяким словом, которое изрекал Кота, расхваливанием успехов их предприятия. Полковник Кота был убежден: за каждой похвалой кроется презрение, за каждым согласием — издевательство, а каждая похвала свидетельствует о дерзком ощущении превосходства. Он пытался придумать, чем бы лучше всего запутать корейца и как можно сильнее ему досадить, и приказал произвести подсчет узников по головам — без всякой надобности, просто потому, что имел право распоряжаться.

К удивлению охранников, подсчет выявил нехватку девятерых: девять заключенных отсутствовали. Обнаруженное встревожило еще больше, когда восемь человек таинственным образом объявились при повторном подсчете полчаса спустя. Японец полковник с мордой как топор приказал восьмерым прятавшимся выйти вперед и понести наказание, потребовал, чтобы они признались, кто был девятым отсутствующим и где он находится.

Когда вперед никто не вышел, полковник Кота приказал отыскать сержанта из военнопленных, ответственного за эту бригаду, и сурово наказать, чтоб другим было неповадно. После небольшой суматохи выяснилось, что девятым как раз и был

тот самый сержант, что сейчас его на той Дороге нет, что он вернулся в лагерь.

Вернувшись в лагерь ближе к вечеру, полковник Кота учинил Накамуре разнос, гнев его подстегивало еще и то, что сам он забыл хайку и из-за этого не смог обезглавить узника — и это на глазах какого-то сержанта-корейца. В свою очередь, глубоко пристыженный, японский майор разыскал сержанта-корейца, чьего имени он никак не мог запомнить, надавал ему несколько крепких пощечин, выяснил имя заключенного, который явно (помимо всего прочего) скрывался в лазарете, и скомандовал построение. Заключенного же велел подвергнуть наказанию перед общим строем военнопленных.

Что до Варана, то он на мордобой внимания не обратил, зато приказ у него никакого восторга не вызвал: он хорошо ладил с заключенным Гардинером, и это указание, по его мнению, было еще бессмысленнее, чем большинство остальных. Пусть Гардинер и раздражал его порой своим пением и посвистыванием, зато этот заключенный не раз оказывался полезен. Всего несколько дней назад Варан получил от Гардинера свежую говядину для всех сержантов и капралов. Но так уж вышло. Стыдно, но Варан полагал, что после

взбучки Гардинеру по-прежнему будет нужен он, а ему — Гардинер. Так уж вышло, и остановить это было невозможно. Можно пойти войной на весь свет, только весь свет всегда победит. Что он мог поделать?

И вот Гардинера разыскали там, куда Варан его и отправил, — в лазарете. Поскольку ходить узник не мог, Варан приказал двум бывшим при нем охранникам тащить заключенного на плац для предания наказанию.

20

День уходил, становилось прохладнее, а заключенные думали, что тут им по крайней мере хоть не приходится вкалывать. Несколько минут (или сколько там это ни займет) они смогут передохнуть, отдыху узники всегда были рады, он был в их мире самой большой радостью наряду с едой. Но торчать тут им не хотелось.

Они стояли на плацу, сотня или около того заключенных, которые были на легких работах и которых только-только наступавшим вечером собрали под муссонным дождем стать свидетелями того, как Смугляка Гардинера, мужика, который жалел промокших обезьян, будет бить Варан за преступление, которого Смугляк не совершал. Число людей на плацу понемногу росло, так как охранники заставляли возвращавшихся с той Дороги присоединяться к скорбному сборищу.

Когда Варан устал, два других охранника вышли вперед продолжить его занятие. Из джунглей повеяло влажным фруктовым ароматом, кому-то он напомнил о вишнях, вызвал в памяти образ Рождества в кругу семьи, безделушки, которые когда-то готовили в подарок их матери.

Пока один охранник хлестал Смугляка по лицу крест-накрест, а второй молотил его по корпусу, кое-кто из заключенных старался порадовать себя воспоминаниями о жарком из тыквы, жареной ягнятине, сливовом пудинге и пиве, которым все это запивалось. И хотя их память будет хранить избиение Смугляка до самой их смерти спустя семьдесят лет и шесть дней, происходящее в тот момент было вне их власти, а потому и не слишком застревало в сознании, не больше, чем упавший камень или разразившаяся буря. Это просто было, и наилучшим способом как-то отнестись к этому было подумать о чем-то другом.

Баранья Голова Мортон (медленно, осторожно, так, чтобы не привлекать к себе внимания запретными движениями) разравнивал грязь под пальцами ног, еще разок занимаясь заливкой бетона, как до войны делал это иногда рабочим, заливая фундамент. Джимми Бигелоу кончиком большого пальца оглаживал указательный, и это нежнейшее из касаний уносило его в постель с женщиной, чьи пальцы легонько прогуливались по его бедру. Он вспоминал чудо легкого пуха ее усиков, когда она тянула его к себе целоваться.

Прошло еще десять минут, отдохнувший Варан, видимо почувствовавший отсутствие интереса

у заключенных, приказал им сделать шесть шагов вперед. Теперь самый звук ударов, оплеух и тычков, какие бы они ни были приглушенные, ощущался всеми, кого согнали на плац. Теперь уже нельзя было не смотреть, как два охранника в военной форме избивают почти голого человека. На его мокром распухшем лице появлялось выражение странного удивления всякий раз, когда охранники били его кулаками или бамбуковыми палками.

— Выручайте! — стонал Смугляк Гардинер. — Выручайте меня!

Или, возможно, просто похоже звучали выбитые из него крики. Каждый непривычный, натужный вдох Смугляка: то ли хрип, то ли всхлип кровью, а еще периодическое хрюканье, когда его тело справлялось с этим, да и то, как переносились побои, — от всех этих звуков теперь невозможно было отгородиться полностью. И все же они отгораживались.

Шкентель Бранкусси старался увидеть лицо своей Мэйзи. Каждый день он любовно разглядывал карандашный рисунок Кролика Хендрикса, зато когда пробовал заглянуть чуть подальше, вспомнить ее, — все сразу пропадало в тумане. Выдумка под Мэй Уэст обретала все большую

силу, а Мэйзи, какою она была, все тускнела и тускнела. И все же, пока шло избиение, Шкентель не оставлял попыток, ведь он понимал: теперь мерой его жизни станет способность поверить во что-то (что угодно), только не в то, что творится прямо у него перед глазами.

Так что пленные смотрели, но не видели, слышали, но не слушали, понимали, все понимали, но все равно старались не понимать. Временами, впрочем, какая-нибудь особенно несуразная выходка в ходе избиения вынуждала заключенных следить за происходящим, ну, например, когда Варан отыскал тиковое полено и запустил им Смугляку в голову или когда шарахнул по телу Смугляка Гардинера бамбуковой палкой толщиной в руку, будто бы это был не узник, а необычайно грязный ковер. Удар за ударом — по морде урода, по маске урода.

Заключенных мучил голод, и все больше они обращались мыслями к вечерней кормежке, которая, как бы скудна ни была, все еще была реальной и все еще ожидала их, а избиение лишало их счастья насладиться едой. Целый день они провели на работе без чего бы то ни было для поддержания сил, кроме маленького шарика клейкого риса. Вкалывали на жаре и под дождем.

Били камень, носили грязь, рубили и волокли громадные тиковые деревья и бамбук. Семь миль прошагали на работу и с работы. И не могли поесть, пока избиение не закончится или Смугляк не умрет, и грела их тайная надежда, что так или иначе все закончится скорее раньше, чем позже.

Еще больше людей приковыляли с той Дороги, число заключенных выросло до двухсот, потом превысило три сотни. И всем приходилось смотреть, как люди втаптывают в грязь человека, такого же, как и сами эти люди, и ни один из них не мог ни сказать, ни сделать ничего, чтобы изменить этот не подвластный их воле ход событий.

Им хотелось броситься на охранников, схватить Варана и двух других, избить до потери чувств, размозжить им черепа, пока не вытечет оттуда по капле серое вещество, привязать их к дереву и исколоть им штыками все пузо, обмотать им, пока они еще живы, головы гирляндами из их собственных сине-красных кишок, чтоб эти охранники познали малую толику их ненависти. Заключенные думали так, а потом им приходило в голову, что так думать нельзя. Чем дольше длилось избиение, тем более изможденными и пустыми становились их изможденные и пустые лица. Потом эти люди, которые не были людьми,

человеческие существа, не способные быть человеческими существами, услышали знакомый голос, крикнувший:

– *Бьеки!*

И они сразу же воспряли духом, когда, повернувшись, увидели бегущего к ним Дорриго Эванса. Когда его пораженное язвой колено задело торчавший бамбуковый пенек, Дорриго Эванс заорал еще громче:

– *Бьеки! Бьеки!*

Однако Варан не удостоил командира австралийцев никакого внимания. Другой охранник толкнул его в первый ряд заключенных, поскольку на плацу показался майор Накамура, шагавший в сопровождении лейтенанта Фукухары к толпе проследить, как исполняется наказание. Выйдя из строя, Дорриго Эванс попросил японских офицеров прекратить жестокую кару. Некоторые узники заметили, как Накамура слегка поклонился, почтительно признавая более высокое звание полковника, и как их полковник не поклонился в ответ, вызвав раздражение у японцев.

Все слышали, как говорил Матерый:

— Этот человек сильно болен. Ему нужны отдых и лекарства, а не побои.

А за его спиной избиение продолжалось.

21

Слушая, Накамура покачивался на каблуках. Тело его зудело, во рту было сухо, его распирали возбуждение и злость. Ему нужен был *сябу*, всего одна таблетка. Для него избиение заключенного было зрелищем безотрадным. Но что можно поделать с такими людишками, как эти? Что? Достойные и благородные родители воспитали его достойным и благородным человеком. И боль, которую вызывали в нем подобные муки, учиненные по его же приказу, представлялись ему показателем глубины его человеческого достоинства и благородства. Ведь будь это не так, зачем бы ему ощущать такую боль? Но именно оттого, что он человек достойный (понимавший достоинство в себе как послушание, как почитание, как болезненный долг), он и был способен отдать приказ об этом наказании.

Ведь побои служили большему благу. В одну ночь шансы на завершение их участка железнодорожного полотна неизмеримо возросли. И как раз оттого, что сегодня заключенные породили особенные трудности, и оттого, что охранники, и сами почувствов это, в свою очередь, повели себя

нестойко, покарать заключенного значило дать возможность охранникам вновь утвердиться в своей власти, а узникам напомнить об их священном долге.

Было и еще одно: отсутствие заключенных обнаружил полковник Кота, тем самым опозорены оказались он, Накамура, и все инженеры и охранники под его командой. Кара воздавалась не за вину, а за честь. В любом деле подобного рода выбора нет: человек существует ради императора и ради этой железной дороги (которая, по сути, и есть воплощение воли императора), или человеку нет смысла жить и даже умереть.

Фукухара сообщил ему, что австралийский полковник все равно опять толкует про лекарство. «Какое лекарство?» — подумал Накамура. Высшее командование не снабжало их ничем: ни механизмами, ни едой, разумеется, никакими лекарствами уж тем более, — присылало лишь малость старых поломанных ручных инструментов да невероятные приказы построить чудо из ничего в этой зеленой пустыне. Еще корейцев. Бесполезных корейцев. Ничего удивительного, что их не используют в качестве боевых единиц на передовой. Им же нельзя доверить даже охрану австралийских узников. Ему тоже требуется

лекарство. Ему нужно *сябу*. Потому как, если он не завершит этот участок железной дороги в срок, у него не останется иного выхода, как от позора наложить на себя руки. Совершать самоубийство ему не хотелось, но, подведя императора, он не сможет вернуться на Родные Острова. Не такой он человек. А чтобы завершить то, что необходимо было сделать в ближайшие несколько часов, ему нужно всего лишь немного *сябу*.

Избиение продолжалось, и Накамура заметил, что кореец сержант, похоже, вкладывает в удары меньше силы: в нем не чувствовалось целеустремленности, что донельзя раздражало Накамуру. Корейцы, положим, всего лишь корейцы, а сержант попросту не надлежаще исполняет порученное ему дело. Возможно, он подустал, только это не оправдание. Приказ Накамуры был: покарать, — приказ необходимый и оправданный, и все-таки охранник, похоже, не относится к этому приказу всерьез.

Пока Фукухара продолжал переводить заверения австралийского полковника, что заключенный ни в чем не виноват, что его, больного, отправил обратно в лазарет один из охранников, Накамура продолжал стоять там, испытывая жуткий зуд, понапрасну тратя время, наблюдая за

тем, как кореец еле-еле с узника пылинки стряхивает. Узник вроде и на ногах едва стоял, но все же успевал уклоняться от слабых ударов охранника. Когда узник спотыкался, Накамуре казалось, что тот делает это нарочно, чтобы увернуться или отстраниться от ударов бамбуковой палки, а охранник ничего не предпринимает, чтобы покончить с этим фарсом. Узник обращал кару в посмешище. Накамура взбеленился, кожа зудела его все больше… ему просто необходимо было принять таблетку *сябу*, и сколько еще можно ждать, глядя на такое неумение, такую тупость?

Австралийский полковник сменил тактику и, похоже, для прекращения избиения напирал на довод о поругании авторитета. Фукухара сообщил Накамуре, что, по словам австралийского полковника, кореец сержант совершенно игнорировал его (полковника и командующего офицера), когда заговорил с ним, унизив его звание и честь.

Накамура круто повернулся к Фукухаре. Он хотел было прекратить наказание, и тем бы для всех дело и кончилось: как ни неприглядно было исполнение, а службу свою наказание сослужило. Но когда Накамура повернулся, его левая нога наступила на постоянно волочившиеся по земле завязки обмоток, правый ботинок вывернулся

штопором, и майор, пытаясь убрать левую ногу, споткнулся о правый ботинок и плашмя шлепнулся в грязь. Никто слова не сказал. Избиение на время прервалось, потом поспешно возобновилось, когда японский майор снова встал на ноги. Одна сторона брючины у него вымазалась в грязи, рубашка перепачкалась.

Оглядев лица вокруг (врагов или союзников — не важно), Накамура остро ощутил, что все видели его унизительное падение. Пленные. Корейцы. Японские офицеры-сослуживцы. Хватит с него — натерпелся. Устал. С трех утра на ногах. У него еще много дел, день только клонился к концу, а железная дорога отставала от графика как никогда. Накамура, униженный, взбешенный, выпачкавшийся, увидел кучу инструментов, брошенных узниками. Разум его вдруг прояснился. Он понял суть сказанного несносным австралийским полковником: что чувствовал тот офицер, когда его оскорбили. И понял, как сможет разрешить трудности и австралийца-полковника, и собственные.

Он подошел к инструментам, выбрал рукоятку кирки, взвесил ее в руках и, размахивая ею, как бейсбольной битой, зашагал мимо австралийского полковника прямо к тому месту, где кореец

сержант мусолил заключенного. Майор поставил охранника по стойке смирно. Потом, твердо упершись ногами в землю, отвел деревянную рукоятку назад, взмахнул ею, как самурайским мечом, и со всей силы ударил охранника в левый бок, по почке.

Кореец застонал, качнулся, сложился едва не пополам и лишь с большим трудом вновь вытянулся в стойку. Накамура поднял рукоять кирки над его головой и, сильно размахнувшись, врезал корейцу по шее. Кончил он тем, что на отмашке ударил охранника рукояткой по скуле, после чего Варан упал на одно колено. Накамура заорал на него по-японски, швырнул рукоятку ему в голову, вернулся к Дорриго Эвансу и отдал поклон. Сам того не желая, Дорриго Эванс поклонился в ответ. Накамура тихо заговорил. Фукухара переводил для австралийского полковника, объяснив, что охранник понес кару за неуважение к австралийскому полковнику, и теперь наказание узника может быть продолжено.

Варан опять поднялся, подхватил рукоятку кирки, прошел, пошатываясь, несколько шагов до Смугляка Гардинера, утвердился на ногах, потом высоко поднял деревяшку и с вновь обретенным рвением обрушил ее на спину узника. Смугляк

Гардинер упал на колени, и, пока собирался с силами, чтобы встать, Варан ударил его ногой прямо в лицо.

Когда австралиец-полковник снова принялся возражать, Накамура взмахнул рукой, отсылая переводчика прочь. И заметил устало:

— Это не вопрос провинности.

Движения Смугляка Гардинера уже утратили грацию, когда его истощенное голое тело пыталось оправиться, подобраться и опять вовремя сделать движение, защищаясь от следующего удара. Все чаще и чаще узник запаздывал. Когда он отступил, удар бамбуковой палки охранника настиг его, попав прямо по скуле. Голова дернулась в сторону, Смугляк ойкнул, отшатнулся, старясь не упасть, но тело его уже вышло из послушания. Он оступился и упал на землю.

Пока охранники по очереди пинали Гардинера ногами, Накамура бормотал хайку Басё. Фукухара вопросительно взглянул на него.

— Да, — кивнул Накамура. — Скажи ему.

Фукухара продолжал таращиться.

— Он любит поэзию, — сказал Накамура.

— Это превосходно звучит на японском, — заметил в ответ Фукухара.

— Скажи ему.

— На английском у меня думать не выходит.

— Скажи ему.

Оглаживая рукой брюки, Фукухара обратился к австралийцу. Он вытянулся в струнку, так что шея его стала казаться еще длиннее, и продекламировал свой собственный перевод:

Мир скорби и боли…
Когда расцветает сакура,
Он пышнее цветет[68].

[68] Примечания: 68

Перевод Фукухары своеобразен. У Иссы есть две хайку, где скорбь (печаль) мира увязывается с цветением.

22

Дорриго Эванс взглянул на Накамуру, который яростно расчесывал себе бедро. И понял Дорриго Эванс: во имя того, чтобы железная дорога была построена, железная дорога, что в тот самый миг была единственной причиной чудовищных страданий сотен тысяч людей, — во имя бессмысленной линии насыпей, просек и трупов, выдолбленной земли, напластований грязи, взорванных скал и еще большего числа трупов, бамбуковых эстакад, шатающихся мостов, тиковых шпал и еще новых и новых трупов, бесчисленных крепежных костылей и непоколебимых рельсовых путей, и трупов за трупами трупов за трупами трупов за трупами — во имя того, чтобы существовала *такая* железная дорога, понял он, и должен был понести наказание Смугляк Гардинер. В тот момент он балдел от ужасной воли Накамуры (балдел от нее даже больше, чем погружался в отчаяние от избиения Смугляка Гардинера): угрюмая сила, праведное следование кодексу чести, не допускающее никаких сомнений. Ведь в самом себе Дорриго Эванс не смог бы отыскать равной жизненной силы,

способной бросить ей вызов.

Этот человек с застывшим лицом, в потрепанной форменной рубашке аскета, человек, только что палкой отделавший Варана, человек, пролаявший приказы, которые только что отдал, этот человек, Накамура, больше не казался Дорриго Эвансу непонятным, но человечным офицером, с кем он прошлой ночью играл в карты, жестким, но практичным командиром, с кем он еще утром торговался по поводу человеческих жизней, нет, он казался ввергающей в ужас силой, которая захватывает отдельных людей, группы, народы, гнет и сминает их против их природы, против их воли, с беспечным фатализмом уничтожая все на своем пути.

Варан нагнулся и подхватил Смугляка Гардинера, как делают пожарные: взвалил его на плечо, а потом помог снова встать на ноги. Последовала неловкая заминка, как будто избиение закончилось, но стоило Смугляку обрести равновесие, как три охранника принялись снова охаживать его бамбуковыми палками и рукояткой кирки, пока узник снова не рухнул. Так избиение пошло по новому кругу: побои, падение, пинки и тычки, чтоб стоял, чтобы опять бить.

И глядя на это (пока Варан в очередной раз

поднимал Смугляка Гардинера, чтобы потом снова свалить его с ног побоями), Дорриго Эванс чувствовал, будто жуткая дрожь сотрясает землю, и все в них сущее не может не отзываться дрожащей дробью в такт. И эта зловещая барабанная дробь была истиной этой жизни.

— Это должно прекратиться, — говорил Дорриго Эванс. — Это ошибка. Он болен. Это очень больной человек.

Его слова не были даже доводом, впрочем, Накамура просто поднял руку и заговорил с ним иным, любезным голосом.

— Майор Накамура говорить, у него есть немного хинина в запасе, — переводил Фукухара. — Помогать больным работать. Император даст повеление на это, это нужно железной дороге.

И барабанная дробь зазвучала вновь — все громче и громче.

Дорриго Эванс понимал, что Накамура старался помочь, но ничего не может поделать с избиением, которое ведется по его же приказу. Хинин поможет другим. Накамура может помочь тем, кому он может помочь, и хинин может помочь ему помочь им. Но он не может прекратить барабанную дробь. Не может помочь Смугляку Гардинеру. Этого требовала железная дорога.

Накамура это понимал. Дорриго Эванс вынужден был с этим смириться. У него тоже была доля в этой железной дороге. У Накамуры была доля. У Смугляка Гардинера была доля, и на его долю должно было выпасть зверское избиение, а всем им — каждому на свой лад — пришлось отозваться на эту жуткую барабанную дробь.

Судорожные движения тела Смугляка Гардинера, его рук и ног, когда он пытался защитить себя, были для охранников просто естественными препятствиями вроде дождя, бамбука или камня, на которые не следовало обращать внимания — только вырубать или крушить. Лишь когда он перестал бороться, охранники прекратили, наконец, ставить его на ноги, крики узника сменились долгим, протяжным хрипом, точно из вспоротых огнем кузнечных мехов, и угрюмая их работа сбавила темп до более умеренного, подобающего природе ручного труда.

Пока Дорриго Эванс глядел, внутри его что-то происходило. Вот оно: три сотни мужчин глазеют, как трое изничтожают человека, которого они знают, и все ж ничего не делают. Они и дальше будут глазеть и пальцем не шевельнут. Так или иначе, они дали согласие на то, что творилось, держали ритм с барабанной дробью, и Дорриго

был первым среди них, тем, кто появился слишком поздно, сделал слишком мало, а теперь еще и согласился с тем, что происходит. Он не понимал, как так получилось, понимал только, что — получилось.

На секунду ему подумалось, что он постиг истину наводящего страх мира, в котором невозможно избавиться от ужаса, в котором насилие неизбывно, великую и единственную истину, более великую, чем порожденные ею цивилизации, чем любое из божеств, которым поклонялся человек, ибо она и была единственным подлинным богом. Выходило, будто человек только для того и существовал, чтобы передавать насилие по наследству, обеспечивая вечность его владычества. Ведь мир не менялся, насилие всегда существовало, существует сейчас и никогда не будет искоренено, люди будут находить смерть от сапога, кулака и зверства других людей до скончания времен: вся человеческая история — это история насилия.

Но столь прочувствованные мысли были слишком чуждыми и гнетущими, чтоб их удерживать: они недолго потрепыхались в сознании Дорриго Эванса и улетучились. За его спиной Накамура шагал прочь. Мысли японского офицера были

тоже путаными и слишком тревожащими, чтобы извлечь из них смысл, и того меньше — удерживать их в голове. Их место заняли другие, более ободряющие, утешительные представления о долге, императоре, японской нации, а также непосредственные практические заботы завтрашнего строительства железной дороги, и снова, будто мышка в крутящемся колесе, сознание Накамуры вернулось к послушному исполнению предназначенной ему роли.

Десяти минут не прошло, а он уже совершенно забыл об избиении, и только спустя час, когда опять проходил мимо плаца и увидел все еще стоящих строем заключенных, понял, что экзекуция не закончилась. Еще два охранника держали штормовые лампы, освещая место действия, поскольку уже наступила ночь, узник каким-то образом растерял последние прикрывавшие его лохмотья и был голый, а форменная одежда трех охранников, приводивших наказание в исполнение, потемнела от дождя, грязи и крови. Узник уже не помышлял о сопротивлении или уклонении от ударов, а пассивно, словно мешок с мякиной, переносил избиение. Когда охранники не били его палками, они пинали его ногами по кругу, словно старый мяч. К тому времени он уже

не выглядел человеком, а так, чем-то ущербным и неестественным.

Накамура предпочел бы, чтоб избиение было прекращено некоторое время назад, но, похоже, лучше было не вмешиваться. Подкрепленный тремя таблетками *сябу*, он отправился на поиски капрала Томокавы, чтобы отправить того в речной лагерь купить бутылку меконгского виски у тайского торговца на реке. «Немного *сябу* и виски, — думал Накамура, — это то что нужно».

А барабанная дробь продолжалась, и когда другие охранники выдыхались и останавливались, Варан все равно продолжал молотить Смугляка Гардинера рукояткой кирки — старательно, послушно, ритмично.

И для его барабанной дроби мог быть лишь один конец.

23

Смугляк Гардинер открыл глаза и моргнул. На лицо падали капли дождя. Он упирался руками в грязь, но они утопали в ней все глубже. Он плавал в дерьме. Попробовал снова подняться на ноги. Ничего не вышло. Он плавал в еще большем дерьме. Попробовал свернуться калачиком, чтоб защититься. Бесполезно, он только снова утоп в какой-то мерзкой дыре. Когда он закрывал глаза, то возвращался туда, где его били. Когда открывал, тонул в дерьме, стараясь держаться на плаву, пытаясь выбраться. Было до того скользко и темно, что он никак не мог отыскать, на что опереться, а когда отыскал, не нашел сил выбраться. Тело уже не было помощником. Оно отзывалось только на пинки и удары, которые крутили его как угодно. Он и понятия не имел, долго ли там находился. Порой приходило в голову, что, похоже, вечно. А то вдруг казалось, что вовсе нисколько времени. Раз услышал, как его зовет мать. Было трудно дышать. Ощутил еще больше мягких дождинок, увидел, как поверх бурой грязи разлилось ярко-красное масло, услышал, как снова позвала мама, но трудно было

разобрать слова: то ли она звала его домой, то ли это было море? Был мир, и был он, а нить, соединявшая их, растягивалась и растягивалась, он пробовал подтянуться по этой нити, отчаянно старался протащить себя обратно домой, куда звала его мать. Попробовал позвать ее, но мозги побежали у него изо рта длинной-длинной рекой — к морю. Он опять моргнул. Обезьяна завизжала, ишь, белозубая. Над хребтом — улыбающаяся луна. Ничто не держит, и он тонет. Он слышал море. «Нет, — произнес он или подумал, что произнес. — Нет, не море. Нет! Нет!»

24

Нашли его поздно ночью. Он плавал вниз головой в «бендзе», длинной глубокой канаве размытого дождем дерьма, которая служила общим туалетом. Каким-то образом он дотащился туда из лазарета, куда его отнесли с переломанным телом, когда избиение наконец закончилось. Предположили, что, пытаясь присесть, Смугляк потерял равновесие и свалился. И, не имея сил выбраться, утонул.

— Срань всегда в сральнике, — буркнул Джимми Бигелоу, который сам вызвался спуститься на веревке в канаву, полную дерьма пополам с водой, чтобы вытащить труп. — Лады! — заорал он державшим веревку наверху, когда оказался по бедра в мерзкой жиже. — Лады!

Обвязывая труп второй веревкой, он разговаривал с ним:

— Эх ты, Смугляк, глупое мудило гребаное. Ты что, не мог на койке отосраться, как все другие болявщики? Ты что, не мог гребаное их одеяло сложить, как положено?

Когда тело Смугляка Гардинера подняли, Джимми Бигелоу бегло оглядел его в свете керосиновой

лампы. Сплошь покрытое личинками, оно было до того избито, раздроблено, вымарано, до того грязно и поломано, что на секунду ему показалось: не может быть, чтоб это он был.

Тело отнесли в лазарет. Баранья Голова Мортон, взяв жестяную канистру воды своими руками шахтера, такими жесткими, такими нежными, смыл с почерневшего тела всю мерзость и приготовил его к погребению на следующий день.

То был подходящий денек, чтобы умереть. Не потому, что день выдался какой-то особый, а потому, что не было в нем ничего необычного, теперь каждый день был подходящим для смерти, и на единственный донимавший их вопрос: кто может оказаться следующим, — ответ был дан. И чувство признательности, что им оказался кто-то другой, подтачивало их изнутри, где-то в кишках наряду с голодом, страхом и одиночеством, пока вопрос не возвращался, посвежевший, обновленный, неоспоримый. И единственный ответ, который они могли на него дать, был таков: они стоят друг за друга. Для них — с тех пор и навсегда — не могло быть никаких «я» или «меня», только «мы» и «нас».

25

На следующее утро Петух Макнис рылся в вещмешке в поисках своей книжки «Майн кампф», чтобы начать день десятиминуткой по заучиванию наизусть. Он проснулся среди ночи, терзаемый всего одной мыслью: если бы он вышел вперед и признался, что идея слинять с работы принадлежала ему, Гардинер бы не погиб. Но, рассудил он, поступи он так, наверняка сам бы сгинул вместо него. Или нет. А может, оба сгинули бы. Он убеждал себя, что с этими японцами ничего не угадаешь. И вновь уговорил себя, что Гардинер в любом случае был обречен — как старшой по бригаде и как больной.

Когда днем раньше Петух Макнис стоял на той просеке, когда японцы потребовали, чтобы виновные заключенные вышли вперед, громче всего у него в мозгу раздавался не рев японцев, а смех Гардинера после того, как Петух был пойман за руку, которой взялся за яичную скорлупу. В момент, когда Петух мог бы сделать шаг вперед, он только о том и мог думать, что о почерневшем утином яйце, которое Гардинер у него украл, да о яичной скорлупе, которую тот использовал,

чтобы выставить его на посмешище. Унижение предыдущего утра, учиненное руками Гардинера, по-прежнему вызывало в нем более тягостное ощущение, чем позднее воспоминание о том, как Гардинера избивали. «Нет, — думал Петух Макнис, — такого человека он не выручил бы». Но и смерти ему он не желал.

— Нет. Этого я не желал, — бормотал он про себя. — Не желал.

Посасывая свою рыжеватую бородку, он нащупал на дне вещмешка котелок, потом сырые вогнутые обложки своей книжки «Майн кампф». Он уже собирался вытащить книжку, когда рука его прошлась по парадной форменной рубашке, которую ему удалось пронести в сохранности через все свои беды. Петух всегда держал ее аккуратно сложенной и плоской, но на этот раз что-то выпирало из нее. Оставив книгу, он пощупал вокруг и вытащил из вещмешка утиное яйцо. Нижняя губа вывалилась у него изо рта. Облегчение, которое он ощутил, обнаружив яйцо, тут же сменилось ужасом, который было не выразить словами. Петух быстро сунул яйцо обратно в вещмешок, как какую-нибудь наипостыднейшую вещицу, которую нужно убрать с чужих глаз, и достал «Майн кампф».

Сколько он ни старался, ни слова из нее запомнить не смог.

26

Спустя десятилетия Джимми Бигелоу будет требовать от своих детей, чтобы они всегда складывали одежду именно так: складкой только наружу. И будет открывать ящики комода в их хлипком домике на окраине Хобарта, убеждаясь, что складки наружу и дети в безопасности. Он никогда не ударит и не шлепнет их за то, что они не сложили одежду складкой наружу. А будет умолять, уговаривать, будет требовать и под конец, отчаявшись, сам будет разворачивать и перекладывать одежду детей, а они будут стоять рядом в нервном ожидании. Им будет владеть какой-то безымянный страх, объяснить который он не в силах. Дети тоже пронесут до конца жизни эту сумятицу из любви и страха, которая шла дальше открывания и закрывания ящиков, дальше отчаяния и бормотания отца. Он знал, что им не понять. Но разве они не *понимали*? Как они могли не *знать*? То, что требовалось понять, было настолько очевидно. Никогда не угадаешь, когда все может измениться: чье-то настроение, чье-то решение, чье-то одеяло.

Чья-то жизнь.

Они ничего этого не знали. Только знали, что, как бы они ни набедокурили, отец их никогда не ударит. В самом худшем случае перебросит через колено, взметнет руку, да так и будет держать ее в воздухе нависшей над попкой. Иногда они через его ногу чувствовали, как отца изнутри бьет дрожь. Украдкой бросив взгляд вверх, они видели, как трясется у него рука, как слезы наворачиваются ему на глаза. Откуда им было знать, что отец отчаянно старается защитить их от неожиданного тычка ружейного приклада в их нежные детские щеки, предостеречь их от ужасов, которые этот жестокий мир готов обрушить на нерадивых, неблагоразумных и неподготовленных, — подготовить их ко всему тому, к чему никто и никогда не в состоянии быть готовым? Они же знали только одно: отец никогда не сделает им больно.

Пока тело отца, дрожа, моталось туда-сюда сквозь время, дети понимали, что он имеет в виду, говоря: «Лады», — и неожиданно спихивает с колена и снова ставит на ноги. Отводя взгляд, махнет поднятой рукой, мол, пошли вон.

— Вот так-то. Лады? Только. Только в следующий раз сложите складкой наружу. Наружу. Всегда наружу. Лады?

И они побегут на улицу под яркий свет солнца.

Наверное, рассуждал Джимми Бигелоу, он не наверстал как следовало бы время или пространство для любви. А спрятал ее в себе, и она упорхнула прочь. Наверное, он как-то выбрал (почему — он не смог бы объяснить) предсказуемый род занятий взамен дикого кружения любви, складывание одеяла взамен раскрытия сомкнутых рук.

Но иногда любовь оказывалась на месте: стоило выглянуть в окно и увидеть, как вскидывает глазенки малыш Джоди и машет ему ручкой, расплываясь в улыбке до ушей, ему странно было видеть любовь, играющую на заднем дворе, поросшем бурой травой, под алмазной струей дождевальной установки: он потрясенно понимал, что ему повезло дожить и познать это, любить и быть любимым. И он будет глядеть, как играют во дворе его дети под солнцем. Пристыженный. Пораженный. Солнечно было всегда.

27

А что же с той Дорогой? После того как мечта о всемирной японской империи рассыпалась радиоактивной пылью, у железной дороги не осталось ни цели, ни опоры. Японских инженеров и охранников, которые несли за нее ответственность, посадили в тюрьму или репатриировали, рабов, тех, что оставались на обслуживании той Дороги, выпустили на волю. Уже через несколько недель после окончания войны той Дороге пришел конец. Тайцы ее забросили, англичане разобрали, местные жители распродали.

Еще через некоторое время та Дорога стала кривиться и коробиться. Насыпи осыпались, эстакады и мосты смыло водой, а просеки заросли. Разруха преобразилась. Туда, где когда-то царствовала смерть, вернулась жизнь.

Та Дорога радовалась дождю и солнцу. На местах массовых захоронений прорастали семена, меж черепов, берцовых костей и сломанных рукояток тянулись ростки, стебли поднимались рядом с крепежными костылями и ключицами, усики обвивали тиковые шпалы и большие и малые берцовые кости, лопатки, позвоночники и

тазобедренные кости.

Та Дорога радовалась, когда зарастали насыпи, для которых рабы возили на лодках глину и камни. Она радовалась термитам, когда те сгрызали дерево рухнувших мостов, которое рабы рубили, несли и водружали наверху. Она радовалась ржавчине на железнодорожных рельсах, которые рабы, выстроившись длинной цепочкой, носили на плечах. Она радовалась гниению и разрушению.

Под конец только и осталось, что жара да дождевые тучи, насекомые с птицами да животные, а еще растения, а им, несведущим, было все равно. Человечество — это лишь часть множества, в котором каждая составляющая жаждет жить, и высшей формой существования является свобода: человеку быть человеком, облаку — облаком, бамбуку — бамбуком.

Пройдут десятилетия. Несколько коротких участков расчистят те, кто считает, будто память имеет смысл, только если ее со временем преобразовать в нелепо воскрешенное вроде ног без остального тела: туристические достопримечательности, священные достопримечательности, национальные достопримечательности.

Ведь та Дорога разрушилась, как рушатся в

конце концов все дороги, она была совсем ни к чему, и ничего от нее не осталось. Люди постоянно ищут смысл и надежды, но анналы прошлого — это всего лишь вымаранный в грязи рассказ о хаосе.

И о той колоссальной прорухе, безграничной и похороненной, которую далеко-далеко протянули сквозь плотные, непрерывные джунгли. Об имперских замыслах и делах людей, от которых осталась одна лишь высокая трава.

IV

Наша жизнь – росинка.
Пусть лишь капелька росы
Наша жизнь, и все же...
Исса

1

Вороны, осыпавшие, будто зернышки кунжута, щербатый верх Сидзюку Расемон[69], которых вспугнул брошенный в них камень, взлетели над Токио, точнее, над пеплом его прошлого. Внизу, под их хлопающими крыльями, город едва ли существовал. Не так давно те же вороны пировали на черных трупах, которых было полным-полно в объятом огнем городе. Теперь же они пролетали над обширной обугленной, развороченной равниной, по причудливым лабиринтам которой бродили вдовы и сироты, разбитые и хромые бывшие солдаты, безумные, умирающие и отчаявшиеся, время от времени на их пути возникал какой-нибудь джип с американской солдатней. В ту горькую зиму 1946 года восстановление ограничивалось палатками, шалашиками и укрытиями из кровельного железа, в которых ютились те, кому повезло больше других, что до

[69] Примечания: 69

Расемон (*букв.* «за́мковые ворота», *яп.*) — ворота, стоявшие на южных границах основных городских проспектов в древних японских столицах Наре и Киото. Они были построены в 789 году, но в XII в. пришли в упадок и заработали дурную славу. Легенды гласили, что Расемон служили пристанищем демону.

остальных, то им приходилось довольствоваться подземками, железнодорожными вокзалами или норами и пещерами в кучах щебня.

Человек, бросивший камень в ворон, Тендзи Накамура, в прошлом майор 2-го железнодорожного полка Имперской японской армии, прятался от холодного проливного дождя под ненадежной аркой, которую случай и кое-какое намеренное рытье образовали над переулком из упавших балок и развалин разбомбленных зданий. Местные жители, кому приходилось проходить туда и обратно через рожденный хаосом туннель в опустошенный район увеселений, носивший название Синдзюку, называли проход Синдзюку Расемон, словно эта груда обломков была большими воротами в их великий город. Лисы, крысы, проститутки и воры составляли основную часть обитателей Синдзюку Расемон, они жили в своих логовах, норах и полуобвалившихся комнатах. Гора Фудзи, которую Накамура мог рассмотреть даже из этих кривых ворот, вновь вознеслась над их миром, как это было полтора века назад, когда

ее изобразил великий Хокусай[70], ее опять было видно всю, вечно изменчивую и неизменную, недвижимую и бессмертную.

Вот только мир, над которым теперь высилась Фудзи, был свиреп и беспощаден, люди умирали в нем каждый день, но были вынуждены продолжать жить. На улицах было полно людей, потерявших рассудок от *касутори*, дешевого смертельного напитка, который избирали для себя голодающие или отчаявшиеся, или от *сябу*, украденного с армейских складов, или от того и другого. Нищета Накамуры покончила с его привычкой к *сябу*, и он был решительно настроен к ней не возвращаться. По просевшим полосам земли, которые когда-то были дорогами, бродили голодные собаки, сбивавшиеся в большие и грозные стаи, еще более голодные дети выходили на улицы, занимаясь карманными кражами, попрошайничеством и сводничеством.

«Волки — все до единого», — подумал Накамура.

Своими медлительными взглядами и порыви-

[70] Примечания: 70

Кацусика Хокусай (1760–1849) — великий японский художник периода Эдо. Один из самых известных в мире японских граверов по дереву. На картине «Большая волна в Канагаве», едва ли не самом знаменитом его произведении, изображена гора Фудзи.

стыми движениями эти детишки несли в себе что-то разом уязвимое и угрожающее, перед чем Накамура испытывал необъяснимый страх. Истощенные, они выглядели лет на шесть-семь, но чаще всего были уже подростками. Женщины продавали себя повсюду, очень немногие довольствовались незапятнанной честью и нищетой, отказываясь ублажать американских демонов. Большинство же наслаждалось достатком, становясь панпанутками[71]. Как-то раз, проведя ночь с такой женщиной, Накамура вдруг разозлился на то, чем она зарабатывала себе на хлеб и в чем он видел теперь отражение собственной жизни, и спросил, как смеет она якшаться с американцами. Та, держа в накрашенных улыбающихся губах только что прикуренную сигарету, ответила ему вопросом:

— А разве не все мы сейчас панпанутки?

С тех пор как два с половиной месяца назад Накамура демобилизовался, он жил среди таких вот превратившихся в руины людей и мест, в их среде он был никем и ничем — и довольствовался этим.

---

[71] Примечания: 71

Так называли японок, которые становились проститутками, обслуживая главным образом солдат оккупационной армии, в основном американцев. Выражение образовано от телеграфного сигнала «пан пан» (panne panne, *фр.*), означавшего поломку или неполадки в работе оборудования на борту морского или воздушного судна.

Вооружен он был одной только фомкой, которая служила как средством, с помощью которого он обеспечивал свое ненадежное существование, так и оружием самозащиты, на котором он каждые несколько минут давил еще и несколько вшей, перебравшихся на железку с его зудящего тела. С помощью фомки он выворачивал обломки деревянных рам из лежавших в руинах домов, выковыривал их из ила, грязи и пепла того, что некогда было Токио, старательно разламывал их на дрова и продавал угольщику, который жег древесный уголь. Оказавшись среди обугленных останков некогда великой столицы империи, Накамура думал только о том, где бы отыскать немного соевого супа или чашку риса. Время от времени такие поиски приносили негаданную удачу: днем раньше он наковырял из глубины щебня немного затхлых желудей, от которых отказались даже крысы. Впрочем, после этого он до сих пор больше ничего не ел.

Чтобы отвлечь мысли от голода, Накамура подобрал с земли затоптанную газету. Напечатали ее несколько дней назад, и он сумел пробежать несколько статей, не вникая ни в единое слово, пока одна статья вдруг не привлекла его внимания, да так, что мозги едва не закипели. Прочел

внимательно, безнадежно. В ней говорилось об выданных американцами ордерах на арест еще большего числа тех, кто служил в лагерях для военнопленных, на предмет выяснения их возможного участия в военных преступлениях. Заметка заканчивалась перечнем имен разыскиваемых подозреваемых, и где-то в середине списка он обнаружил то, чего так долго с ужасом ожидал: рядом с его фамилией значилось: «возможный военный преступник класса Б».

Накамура принялся чесаться. Он не был военным преступником, тем не менее американцы, которые и были настоящими военными преступниками, если б могли, казнили его, состряпав ложь из его жизни. В нем закипела ярость. Но в основе его гнева, врывавшегося в его повседневные мысли о выживании, лежал тупой, неизбывный страх животного, чующего, что судьба идет по его следу. Ведь Накамура был наслышан, как американцы, чьи неуклюжие громогласные фигуры мерещились ему повсюду, охотятся за теми, кого считают военными преступниками, как сопутствовала им в этой охоте зловещая удача, как среди первых в их списках числились те, кто имел хоть какое-то отношение к военнопленным. Сам он был решительно настроен выжить, не

попасться и не подвергнуться казни, поскольку этого требовала от него честь. Зуд делался нестерпимым, он залез рукой в штаны и только что не рвал себе пах. Вытащил рукой паршивый клубок из кожи, волос и вшей и швырнул его на землю.

В ожидании, пока улучшится погода, Накамура бегал пальцами вверх-вниз по потертой зеленой краске фомки, давя немногих вшей, все еще сидевших у него между пальцами и на самой железяке. И обдумывал свое положение: подворовывать дровишки — негодный способ выжить, его фомка уже лишилась половинки зуба с того конца, где гвоздодер, к тому же лицо с одной стороны саднило от удара какой-то зазубренной балки, неожиданно придавившей его два дня назад, ужасный холод, которого невозможно было избежать, вгонял его в еще больший голод, а теперь еще и американцы за ним охотятся. Глянув еще раз на свою фамилию в газетном списке, Накамура с ужасом уразумел, что американцы ведут на него охоту по меньшей мере уже несколько дней: методично исследуя все версии, избавляясь от ложных следов, выведывая у других, — и с каждым часом подбираются все ближе к нему, а он все ближе становится к смерти на виселице. Накамура понял: чтобы выжить, надо

что-то предпринять, а это значит, что теперь придется быть готовым сделать что угодно. Но затем настрой на борьбу сменился полнейшей безнадежностью и ощущением краха. Что он мог поделать? Что? Если следовать велению чести, думал Накамура, следовало бы поступить, как другие, и покончить с собой.

И в тот самый момент, когда Накамура решил взять судьбу в собственные руки и умереть с честью, он услышал наверху сдавленные крики. Все его существо наполнилось ненасытным любопытством: что же это за крики? — как будто делать что-нибудь (что угодно) было лучше, чем ломать голову над своей несчастной судьбой.

Он на четвереньках выполз из своего убежища, встал под дождем на ноги и медленно повел головой, старательно вслушиваясь. Потом услышал, как зашипела какая-то женщина. Звук шел откуда-то сверху, с горы щебня, которая образовала левую сторону Расемона.

Пробираясь по щебню как можно тише, Накамура взбирался вверх по большой куче кирпича и разбитых строений, которые образовывали левое крыло арочного прохода, крепко сжимая в кулаке свою фомку. Добрался до небольшой дыры в щебенке размером с кулак. Через нее увидел

остатки разбомбленной комнаты, освещенной через проем в том месте, где должна была находиться верхняя часть противоположной стены. Накамура разглядел, что комната, видимо, когда-то была аккуратным и приятным гнездышком, но теперь одни лишь обои в хризантемах оставались зримым свидетельством былого, да и те покрылись толстым слоем пыли и сажи, и комната, на взгляд Накамуры, превратилась в нечто вроде звериного логова. Из остатков трухлявых *татами* и нескольких подушек была сооружена кровать, а возле стоял столик на трех ножках (вместо четвертой его подпирали битые кирпичи), на котором возвышалось грязное зеркало.

Вновь послышалось женское шипение, уже совсем близко, и, нагнувшись в направлении женского голоса, Накамура смог разглядеть дальний угол комнаты. Там стояли панпанутка и молодой парень лет где-то шестнадцати-семнадцати, державший в руке длинный кухонный нож. У их ног лежало тело американского военного в форме, которому совсем недавно перерезали глотку, так что из раны до сих пор слабо текла кровь. Панпанутка выговаривала парню, спрашивая, зачем он убил американца, но печали в ее шипящем голосе не было, только недовольство.

Невидимый для их взглядов, Накамура быстро все это разглядел, но взгляд его привлекли не сама по себе драма и ее участники (это занимало его меньше всего), а то, что лежало на самодельном туалетном столике: два капустных вареника *годза* и плитка американского шоколада.

2

Накамура тихонько спустился от своего глазка и осторожно полез через верх Расемона и вокруг к пролому в стене. Когда он медленно поднял голову над оторванным листом кровельного железа, панпанутка обшаривала карманы убитого. Когда она перевернула тело американца набок, тот издал глухой стон. Девушка отпрянула, но, поняв, что это просто воздух вышел у покойника из легких, вновь занялась поисками в его одежде. Из заднего кармана достала рулончик американских долларов.

Но Накамура не мог оторвать глаз от вареников *годза*. Вспоминал, как они все время их ели, когда он служил в Маньчжоу-го, и думать о том не думали. Чувствовал, как рот наполняется слюной при воспоминании о тогдашних варениках и от доступности их сейчас.

Не в силах думать ни о чем другом, кроме того, как же хочется ему этих вареников *годза*, Накамура по-звериному подобрался и бросился через пролом. Вкатился в комнату, вскочил на ноги, размахивая ломиком. На миг все застыли, глядя друг на друга через тело убитого американца:

панпанутка в дорогом цветастом платье, свободных брюках и черных лаковых босоножках с пачкой американских долларов в руках, парень с ножом и Накамура с фомкой.

Зарычав, парень бросился с ножом на Накамуру, и тот, чувствуя, как поднимается в нем дух прошлого, научившего его соединять страх со спокойствием, слегка присел, чтобы тверже держаться на ногах, и взмахнул ломиком, словно это был меч. Тот широкой дугой прошелся в воздухе и с мягким хлюпающим шлепком обрушился парню на голову. Этот звук — молотка, входящего в арбуз, как показалось Накамуре, — долго-долго висел в воздухе. И в ту же самую непонятную вечность, бывшую при том всего лишь мгновением, всякое порывистое движение парня вперед прекратилось. Накамуре почудилось, что время странным образом остановилось, прежде чем парень бесшумно рухнул на пол.

И Накамура, и панпанутка не издали ни звука. Хотя тело и билось в диких судорогах, оба поняли, что парень мертв. Хлынула кровь, судороги затихали, потом и вовсе прекратились, и Накамура заметил, как вши, охваченные внезапной паникой, замелькали вокруг неопрятно длинных косм парня. И остро почувствовал, как комнату напол-

няет вызывающий озноб запах сырой пыли.

Панпанутка принялась хныкать. Накамура сделал два шага к трехногому столику и запихнул сразу оба вареника *годза* в свой наполнившийся слюной рот. Жадно заглатывая их, он не сводил глаз с девицы. У него возникла новая мысль. Используя вместо слов фомку, он указал на пачку долларов в руке панпанутки. Трясущейся рукой та отдала их ему. Накамура сунул деньги в карман, а потом кончиком вытянутой фомки задрал край ее цветастого платья. Девица медленно перевела взгляд с фомки на его глаза, затем поклонилась и сделала шаг назад. И начала раздеваться.

Голая, она оказалась кривоногой. Неаппетитно тощие бедра были усыпаны маленькими желтоватыми язвочками. Шелковистые волосы между ног резко выделялись на фоне шелушащейся белой кожи под ними. Груди у нее все еще были скорее опухлостями, нежели грудью, а кожа имела болезненный цвет. Накамура уже чуял ее запах, немытой, потной, словно корова в стойле в конце зимы.

Она подошла к колченогому туалетному столику и легла на неопрятный *татами*, воздев к нему ноги. Теперь он и дыхание ее слышал: резкое и частое пыханье. Она вызывала у него

отвращение, эта шлюха, продававшая себя американским демонам, а теперь предлагавшая ему свое мерзкое, измаранное тело. Он подобрал одежду панпанутки, положил в карман шоколад и пошел выбираться вон из этой пещеры. Остановился на минутку и глянул на два трупа.

Американец был уже никакой. У парня-японца все лицо в прыщах. «Слишком много пришлось убивать», — подумал Накамура. Может, следовало бы испытывать угрызения совести, чувствовать вину, поначалу в Маньчжоу-го так и было. Но вскоре мертвые утратили обличье. Он силился вспомнить хоть кого-то из них. «Мертвые и есть мертвые, — думал он, — только и всего». Все-таки — два трупа и один из них американец… беда его ждет, если не будет осторожен, ведь он уже и так в розыске.

Стараясь не наступить в большую лужу темной крови, Накамура склонился над американцем. От того пахло ДДТ, которым избавляли от вшей Накамуру, когда он демобилизовался. Было ощущение, будто американец принадлежал к какому-то иному виду, до того он был велик и до того странно выглядел. Австралийцы в джунглях не были нисколько не похожи на этого чересчур мертвого великана-американца.

Тщательно остерегаясь касаться трупа, он ловко засунул один конец ломика в полусжатый кулак американца и положил фомку ему на грудь. Потом, подумав, протащил ломик по ладони покойника, сильно давя тому на пальцы, и бросил его в лужу крови. Пока панпанутка не объявится и будет держать рот на замке, американцы и полиция придут к признанию очевидного: гомик попытался натянуть американца, вспыхнула драка, и оба расстались с жизнью.

С этим Накамура повернулся, подтянулся к пролому на высоте груди, который служил входом в это логово, когда услышал, как панпанутка поднялась с постели. Он не обращал на нее никакого внимания, пока не почувствовал, что она старается ухватить его за колени. Вырываясь, он пару раз лягнул ее хорошенько, и девица отлетела, растянувшись прямо на трупе американца.

Уже соскальзывая по щебню снаружи, Накамура услышал за спиной ее крики. Обернувшись, увидел, как панпанутка, закрывая руками свои вымазанные в крови маленькие грудки, кричала что-то про то, как американец ее изнасиловал, как прибежал ее брат и просто пытался ее защитить. На самом деле Накамура не слушал ее болтовню, даже и не думал пытаться. Он подобрался обрат-

но к пролому, схватил девицу за плечо и поднял кирпич над ее плаксивой головой.

— Забудь об этом, — произнес Накамура. — Забудь его, забудь своего брата и меня забудь. — Девица завыла еще громче. Он ткнул кирпичом ей в губы и сердито предупредил: — Жить будешь, если забудешь.

Толкнул ее обратно в пролом, карабкаясь, спустился с Синдзюку Расемон и направился в город.

За пятьдесят американских долларов, украденных у панпанутки, он смог купить себе подложные документы. На деньги, которые выручил, продав ее одежду другой панпанутке, купил билет на поезд в Кобе. И вот ехал в вагоне третьего класса, в котором были выбиты все стекла, сквозь дикую зимнюю ночь, оставляя подальше позади свое прошлое бывшего полкового майора Тендзи Накамуры и въезжая в будущее как бывший рядовой ИЯА Йошио Кимура.

В Кобе дела обстояли не лучше, чем в Токио. И этот город тоже — сплошные воронки и грязь, горы кирпича и стали, перекрученной, словно проволока, и японцы, тараканами ползающие вокруг в этой неразберихе. Но Накамура чувствовал: он проложил нужное ему расстояние

между собой и мертвым американцем с мертвым парнем. Несколько месяцев он только и знал, что сосать лапу, перебиваясь мелким воровством и приторговывая на черном рынке. Но никогда не чувствовал себя в безопасности. Один раз ему показалось, что он узнал издали долговязого австралийского офицера из одного из лагерей для военнопленных. Накамуру охватил такой страх, что еще неделю спустя если он и решался выбираться на улицу, то только ночью.

Он взялся пристальнее следить за процессами по военным преступлениям. Прочел, как одного японского солдата, который избил какого-то пленного, несколько раз совершавшего побеги, признали виновным и повесили как военного преступника. Такое никак не укладывалось в сознании Накамуры.

Один раз избил?

Он сам, служа в японской армии, бил всегда, и в том состоял его долг: бить других солдат. Да что говорить, когда он проходил подготовку, из него два раза дух вышибали, а однажды повредили барабанную перепонку. Его лупили дубинкой по ягодицам за выказанный «недостаточный энтузиазм» при стирке нижнего белья командира. Три офицера избили его до потери сознания, когда

— еще новобранцем — он не расслышал приказа. Оставили на весь день стоять по стойке смирно на плацу, а когда он упал, трое навалились на него и метелили за неисполнение приказа, пока он не потерял сознания.

Так как же всего одно избиение превращает человека в военного преступника? И что такое военнопленный? Разве Полевой устав не определяет, что взятый в плен офицер должен покончить с собой? Что такое какой-то пленный? Ничто, вот что. Человек без стыда, человек без чести. Не человек вовсе.

Один раз избил?

Он был хорошим офицером, и некоторые офицеры упрекали его за то, что за большинство нарушений дисциплины он наказывал всего лишь пощечинами.

«Вы чересчур добросердечны, — припомнил он, как пенял ему полковник Кота после того, как Накамура надавал по физии капралу Томокаве за какой-то проступок. — Какая-то пощечина за такое? Я бы отлупил его так, что он бы век не забыл».

И после этого Накамуре хотелось орать в ясное небо над Кобе: «Что такое военнопленный? Что?»

3

Чхой Санг-мин сидел в темноте на бамбуковой табуретке — роскошь, позволенная ему, как приговоренному. Слышал он, что какие-то бывшие военнопленные попросту выкинули Ким Ли с верхнего этажа борделя в Бангкоке, обнаружив его там. По его мнению, это было оправданно и разумно. Он надеялся, что Ким Ли плевал на них, когда его бросили на погибель. Ким Ли был охранником, как и он, он убивал пленных, а когда война закончилась, они убили его. Это представлялось совершенно понятным, не то что его собственное положение, где ничего не поймешь. У него вызывало отвращение лицемерие австралийцев, рядящих свою месть в обряды правосудия. В душе он понимал, что они все время и его хотели убить — так к чему все это притворство?

У него не было часов, ни наручных, ни стенных. Одна интуиция могла ему подсказать, как долго может тянуться эта ночь. Но интуиция, похоже, уже не работает. Ночь тянулась нескончаемо, и тем не менее она уже убегала прочь. Тюрьму Чанги заперли на ночь, наверное, часа два назад. Если бы его это занимало, он, может, и вычис-

лил бы, что уже около полуночи. Но это его не занимало, как, впрочем, и ничто другое. Чхой Санг-мин затерялся где-то вне границ мысли. Его разум отбивал время между двумя чувствами. Одно — панический страх, что мог бы навалиться на него безумным ноющим кашлем и заставить еще раз судорожно мерить шагами камеру в тюрьме Чанги, пытаясь отыскать путь к побегу, чтобы обнаружить лишь то, что убежать никак не возможно — ни из камеры, ни от своей неминуемой смерти.

А затем разум его воспламенялся гневом — не на судьбу или невозможность побега, а на факт, который был для него мучительной пыткой. Поскольку он был взят в плен как японский военнослужащий, ему наверняка должны были бы причитаться его пятьдесят иен месячного жалованья, которого он в глаза не видел уже два года, прошедших с конца войны. Гнев его разжигался не арифметикой или жадностью, а побудительным мотивом, который к тому же был и ощущением несправедливости. Пятьдесят иен — единственная причина, почему он тут сидит. Почему же тогда он их не получает?

А поскольку в душе он понимал, что никогда больше никаких денег не получит, что пятьде-

сят иен — нелепость, все ж так или иначе их у него украли. Разум резко переключился опять на страх, и узник вновь принялся мерить шагами камеру, выстукивая пальцами стены, пробуя руками решетку в окне, дверь, толкая, притрагиваясь, выискивая выход, пока опять не осознал, что никакой побег невозможен. И разум снова переключился на гнев, который ощущал в себе бывший охранник, обделенный на свои пятьдесят иен.

Процесс его шел в австралийском военном суде и длился два дня. Не считая случаев, когда обвиняемый подвергался прямому допросу, все делопроизводство велось на английском, и он почти ничего не понимал. Под конец судья (мужчина с лицом, как задутая ветром свеча, и голосом, как у гробокопателя) в первый раз посмотрел прямо на Чхой Санг-мина и заговорил. Переводчик, который не отрывал глаз от шевелящихся губ судьи, шептал Чхой Санг-мину на ухо разрозненные части японских предложений.

«Вследствие… противоречивая природа, — шептал переводчик, — представленных свидетельств… форма письменных показаний… обвинение в участии в убийстве… сержант Австралийских имперских войск сержант Фрэнк

Гардинер… снимается. — Толмач переключился на более обыденный тон и добавил: — Это добрая весть, очень добрая».

А потом опять вернулся к своему фрагментарному переводу:

«Обвинения… отдание приказа на убийство рядового Уота Куни… это поддерживается… так как наличествуют несколько других менее значимых обвинений… ненадлежащее обращение, в том числе лишение пищи и медикаментов, приведшее к страданиям, которых можно было избежать, и к смерти. Признан… признается виновным как военный преступник класса «Б»… вы будете… будет… будет подвергнут казни через повешение».

На этот раз толмач не добавил от себя никакого благоприятного толкования.

Были и еще слова, но больше осужденный ничего не слушал. Когда Чхой Санг-мина допрашивали в суде, он пытался объяснить, что он, сержант-кореец, никак не мог отдать приказ предать смерти заключенного, однако австралийский адвокат процитировал протокол допроса японского офицера (полковника Кота), показавшего, что он, сержант, и отдал. Показания Коты уже помогли осудить нескольких охранников из Кореи и

Формозы, а еще Чхой Санг-мин слышал, что сам полковник позже был отпущен без обвинений. Чхой Санг-мин указал, что Куни уже не было в том лагере, когда якобы был отдан приказ о его казни. Но лагерные документы, путаные и неполные, никак не подтверждали, что это было так.

После вынесения приговора австралийский защитник, вялый человек с блестящими, влажными глазами, которые напоминали осужденному корейцу лезвия скальпеля, уговаривал его подать петицию о помиловании. Чхой Санг-мин уже примирился с мыслью сложить голову на чужбине и не видел смысла затягивать агонию. От внимания Чхой Санг-мина так же, как от других корейцев и формозцев, заключенных в Чанги, как военные преступники класса «Б» и класса «В», не ускользнуло, что победители-союзники, казалось, нередко освобождали офицеров со связями среди японской знати и делали тех, кто рангом пониже (вроде тех же охранников), козлами отпущения, которых и вешали. Чхой Санг-мин думал о майоре Накамуре, которого так и не арестовали и, без сомнения, никогда не арестуют, о полковнике Коте, которого в очередной раз выпустили на волю. Оба, наверное, работают на американцев где-нибудь.

— Все равно, — сказал Чхой Санг-мин.

— Что? — спросил защитник, бегая влажными глазами туда-сюда.

— Все равно, — повторил Чхой Санг-мин, демонстрируя этими словами свое фаталистическое отношение к жизни, но его защитник понял их как согласие на попытку предотвратить казнь и смягчить приговор. Адвокат подал петицию: жизнь и муки Чхой Санг-мина были продлены еще на четыре месяца.

Чхой Санг-мин замечал, как по-разному воспринимали свою судьбу все находившиеся в Чанги, как в соответствии с этим изобретали себе прошлое. Одни наотрез отвергали обвинения, но все равно были повешены или заключены в тюрьму на долгие сроки. Другие признавали вину, но отказывались признавать полномочия австралийских судов. Их тоже повесили или посадили — на сроки и подлиннее и покороче. Остальные отрицали свою вину, ссылаясь на то, что мелкой сошке вроде охранника или солдата невозможно было не признавать власть японской военной системы, того меньше — отказаться исполнить волю императора. С глазу на глаз они задавали простой вопрос. Если они и их действия были просто выражением воли императора, почему же

тогда император все еще на свободе? Почему американцы поддерживают императора, но вешают их, бывших всего-навсего орудиями императора?

Но в душе все они знали, что императора не повесят никогда, а их повесят. Просто что неизбежно, то неизбежно: как люди, не признававшие вины, били, пытали и убивали во имя императора, так теперь и их следует во имя того же императора повесить. Их вешали заодно и так же скверно, как и тех, кто вину признавал, или тех, кто заявлял, что они ничего такого не совершали, и когда они один за другим повисали, проваливши в люки, ноги у них у всех дергались одинаково, дерьмо из задниц валилось одинаково, и их внезапно взбухшие пенисы одинаково исторгали мочу и семя.

За время процесса Чхой Санг-мин о многом получил представление: о Женевской конвенции, о порядке подчиненности, о японской военной структуре и так далее, — о чем до того не имел ни малейшего понятия. Он выяснил, что австралийцы, которых он боялся и ненавидел, на свой странный лад относились к нему с уважением, как к тому, кто совсем другой, чудовищу, которого они прозвали Вараном. И Чхой Санг-мин не без удовольствия узнал, до каких громадных

размеров возвеличился он в их ненависти.

Ведь он чувствовал в австралийцах то же самое презрение к нему, какое, он знал, сидело в японцах. Он понял, что еще раз оказался ничтожеством, каким был в Корее ребенком, когда стоял в углу класса после того, как был пойман на том, что шептал по-корейски, а не говорил по-японски, каким был, когда прислуживал в японской семье, где его положение было хуже, чем у жившего в доме щенка, каким был в японской армии — охранником, ниже самого низкого из солдат-японцев. Лучше уж участь Кима Ли, чем его нынешняя. А ведь ему известны некоторые, натворившие куда больше зла, чем он или Ким Ли, и оставшиеся в живых. Как? Почему? Нет тут никакого смысла.

Избиение австралийских заключенных, с другой стороны, имело много смысла. Пусть и на короткое время, но он ощущал себя кем-то, пока лупил и пинал австралийских солдат, стоявших намного выше его, и знал, что может хлестать их по щекам, сколько его душе угодно, может бить кулаками, может палками, рукоятью кирки или стальными прутьями. Это делало его чем-то и кем-то, хотя бы и на то время, пока австралийцы корчились и стонали. Он смутно догадывался, что

некоторые от его побоев умерли. Так, наверное, они все равно умерли бы. Место было такое и время такое, и сколько ни думай, смысла в том, что случилось, не прибавится и не убавится. Сейчас единственное, о чем он жалеет, так о том, что не убил гораздо больше. И жаль, что не испытывал побольше удовольствия от убийств и от бытия, создававшего такую большую долю убийств.

За время процесса, глядя на беседующих друг с другом австралийцев, Чхой Санг-мин осознал, что все это так или иначе вышло за пределы ненависти. Была уверенность в жизни, какой у него никогда не было, зато у стоявших выше его японцев она была всегда. И когда его наделили властью над жизнью и смертью австралийцев, он поначалу бил их только потому, что таков был японский порядок, в котором его вырастили, и он не видел ничего примечательного в том, чтобы отхлестать человека, который, на твой взгляд, чересчур медлителен или отлынивает от работы.

В Корее, в городе Пусане, он прошел такую же строгую военную подготовку, как и рядовые Имперской японской армии. Только они не были японцами, все — корейцы, которым не суждено было стать солдатами: их служба состояла в охране вражеских солдат, которые сдались в

плен, потому что были чересчур трусливы, чтобы самим свести счеты с жизнью. Наряду с тем как маршировать, стрелять и орудовать штыком его научили умению *бинта*, давать пощечины, которое японцы настоятельно требовали пускать в ход при малейших промахах со стороны заключенных. Даже если ошибался всего один человек, по щекам отхлестать следовало всех. Каждый день корейцев, обучающихся на охранников, выстраивали в две шеренги лицом друг к другу, и в каждой паре обучаемых они должны были по очереди бить стоящего напротив: правой рукой по левой щеке, левой рукой по правой, — останавливались только тогда, когда лицо того, кого били, сильно распухало. Все приказы выполнялись неукоснительно. *Бинта* и подчинение приказам — вот она, нынешняя жизнь Чхой Санг-мина: правой рукой по левой щеке, левой рукой по правой. Ему жутко хотелось убежать и отправиться домой, но он знал: если он это сделает, у его семьи будут большие неприятности с японскими властями. Да и потом, очень скоро он станет получать по пятьдесят иен в месяц.

Он помнил, как прошептал стоявшему напротив рекруту, что станет бить несильно, если тот ответит ему такой же любезностью. Их уловку

быстро разгадал командовавший японский офицер, очень красивый человек, которого рекруты обожали. Чхой Санг-мин даже подражал его походке, той четкости, с какой красавец поворачивался, когда к нему обращались. Теперь же этот офицер орал Чхой Санг-мину прямо в ухо:

— Попритворяться хочешь? Так притворись, что это не больно.

И с этими словами ударил коротким стальным прутом Чхой Санг-мина по почкам с обеих сторон с такой силой, что тот после этого несколько дней мочился кровью. На следующее утро, когда обучающихся вновь выстроили в две шеренги и приказали надавать пощечин друг другу, Чхой Санг-мин бил своего напарника с отчаянной яростью, которая так и осталась в нем навсегда: правой рукой по левой щеке, левой рукой по правой.

И поначалу, когда его, низенького тщедушного корейского паренька шестнадцати лет от роду, прислали в джунгли на далекой земле, он перепугался при виде более здоровых, более высоких и постарше годами австралийцев, орангутангов с широкими плечами, толстыми руками и волосатыми ногами. Они все время насвистывали и распевали. Опыт его жизни убеждал, что корей-

цы с японцами не слишком увлекаются ни тем ни другим прилюдно, и ненавидел это странное веселье. Вот и зашел дальше, чем, строго говоря, требовалось, со своими расправами, чтоб у них в мозгах отпечаталось: он больше мужчина, чем они все, — чтоб ясно стало, что веселье свое они должны прекратить. А через некоторое время эти люди стали усыхать и сжиматься, руки их повисали плетьми, а ноги торчали палками, посвистывали они меньше и только иногда пели.

И, если честно разобраться, заключенные заслуживали того, что получали. Они пытались отлынивать от работы, а когда не выходило, делали ее плохо и лениво. Положим, хоть и гораздо реже, но они все равно временами свистели или пели, когда он находился рядом. Крали они все: еду, инструменты и деньги. Если у них получалось исполнить работу плохо, то им в том прямо триумф виделся. Сами-то кожа да кости, они попросту сникали, когда работали и мерли там, на железной дороге. Мерли, бредя на работу, и мерли, возвращаясь с работы. Мерли во сне, мерли в ожидании кормежки. Случалось, мерли, когда их бьешь.

Чхой Санг-мин злился и на мир, и на заключенных, когда те умирали. Зло брало потому, что не

по его вине не было ни еды, ни лекарств. Не по его вине свирепствовали малярия и холера. Не по его вине они были рабами. Так распорядилась судьба, и то была их судьба, а его судьба — оказаться там. Им судьба уготовила умирать там, а его судьба — умереть тут. Он попросту обязан был каждый день предоставить столько людей, сколько требовалось японским инженерам, убедиться, что они приступили к работе и оставались на той работе, какую японские инженеры считали нужным завершить. И свое дело он делал. Не было еды и не было лекарств, а дорогу надо было строить, дело надо было сделать, и все закончилось так, как всегда заканчивалось — и для них, и для него. Но он делал это все, делал свою работу, и их участок дороги был построен. И Чхой Санг-мин гордился таким достижением, единственным достижением, какое было ему известно в его короткой жизни. Он делал все это, и это было приятно.

Те случаи, когда он совершенно выходил из себя, были для него самыми восторженными. В своем мире темноты и невежества он ощущал свободу — более того, в первый раз в жизни чувствовал, что живет. Вся его ненависть, весь страх, злоба и гордость, его триумф и его слава сходились вместе, когда он причинял боль другим

(или так ему теперь казалось), и на то короткое время жизнь его что-то да значила. Когда такое случалось, он избавлялся от своей ненависти.

Хотя нарастал нажим со стороны инженеров завершить строительство железной дороги, было еще приятно и интересно следить, как чем больше он их мордовал, тем меньше они оставались людьми, насколько реже теперь они посвистывали или пели, как все больше он в своих глазах делался человеком. Ведь пока он только тем и занимался, что пинал ногами, бил кулаками и лупцевал, он был свободен. Он слышал рассказы, как в Новой Гвинее служащие ИЯА ели австралийцев и американцев, и понимал, что тут дело в чем-то большем, чем просто голод. Понимал и то, что ничто из этого не служит оправданием, ничто не будет иметь никакого значения для австралийцев, для их адвокатов с глазами-скальпелями или судей, похожих на оплывшие свечи. Ведь когда он был охранником, он жил по-зверски, вел себя по-зверски, понимал по-зверски, рассуждал по-зверски. И он понимал: такое зверское и было единственным человеческим, что он позволял себе сохранять.

Ему не было стыдно за свое открытие, что его человеческое было зверским, было лишь недо-

умение: куда это его заведет? Когда ему перевели его приговор: смертная казнь через повешение, — он перенес это по-зверски, не понимая, но тупо сознавая, что свобода его позади и теперь ему пришел конец.

Глаза судьи свечными фитилями склонялись к нему, отсвечивая мерцающим пламенем, а он смотрел в них глазами, которые (он знал) уже мертвы. И покачивал головой туда-сюда, почувствовав, как что-то большое и ужасное свалилось на него. Ему захотелось тогда спросить про свои пятьдесят иен, но он смолчал, а теперь вдруг снова принялся метаться по камере, отыскивая путь, что привел бы к побегу. Только нет никакого пути — и никогда не было.

4

Они вымирали быстро и как-то странно: в автокатастрофах, в результате самоубийств и кожных болезней. Слишком много детей у них рождалось с недостатками и осложнениями, калеками, умственно отсталыми или попросту странными. Слишком часто их браки оказывались неудачными и нестойкими, а если и сохранялись, то скорее благодаря существующим тогда законам и обычаям, чем их собственной способности исправить неверное. А неверное было для некоторых чересчур велико.

Они отшельниками уходили в буш или оставались в городах, живя бок о бок с другими, и слишком много пили, были они слегка тронутыми вроде Быка Герберта, которого по пьяни лишили прав, так он стал ездить по городу на лошади, когда хотелось выпить, а выпить ему хотелось очень и очень с тех пор, как они с женой договорились о самоубийстве, поделили пополам яд, а когда он проснулся, она была мертва, а сам он живехонек. Они стали молчунами или невероятными болтунами вроде Петуха Макниса, который оброс жиром и показывал всем шрам

от аппендицита, неизменно утверждая, что это его япошки штыком пырнули. «Петух, твою мать, не мели напраслину про япошек», — сказал ему Галлиполи фон Кесслер, попавший как-то на одно такое представление в Броадмедоузском пабе ЛВА[72]. «Не беспокойтесь, — обратился к сидящим рядом Петух Макнис. — Это всего лишь Кес. Он всегда был комунякой, но парень хороший. А сделал это охранник, которого звали Лев Гор, я давал показания против этого гада после войны».

Все они пили. Пили и пили и никак не могли напиться допьяна, сколько бы ни выпили. Когда они уходили на гражданку, армейские шарлатаны просили, чтобы они и их семьи не болтали об этом, предупреждая, что болтовня до добра не доведет. Прежде всего вряд ли это потянет на рассказы какого-то героя. Не о Кокоде[73] ж речь

---

[72] Примечания: 72

Лига военнослужащих Австралии, организация, цель которой — помогать тем, кто служил и служит в Силах обороны Австралии. Располагает сетью отделений, санаторных пунктов, клубов, пабов и т. п. по всей стране. В настоящее время в ЛВА состоят около 190 тысяч человек.

[73] Примечания: 73

Битва за Кокоду — серия сражений, произошедших с июля по ноябрь 1942 года между японской и австралийской армиями на территории австралийской части Папуа.

или о «Ланкастере» каком над долиной Рура[74]. И не о «Тирпице», Колдице[75] или Тобруке.

Что ж это в таком случае было? «А было это — сидеть в рабстве у косоглазого», — именно так и сказал Друган Фахи на их встрече в «Надежде и якоре».

«Тут особо-то бахвалиться нечем», — произнес Баранья Голова Мортон.

Ребята были забавные. Кое-кто исчез. Ронни Оуэн женился на итальянке, и она рассказала жене Бараньей Головы Мортона, Салли, что только через два года узнала, что Ронни был солдатом. Вот так-то вот.

«Бонокс Бейкер много лет ничего не говорил, а однажды ночью подошел к плите с пистолетом, — рассказывал Джимми Бигелоу. — Разнес ее в хлам. Видок был ни дать ни взять чертова терка для сыра с изнанки. После этого опять замолчал. Вот так вот как-то».

«Бедняга Шкентель Бранкусси», — бросил

---

[74] Примечания: 74

Операция «Порка» — один из наиболее известных бомбардировочных рейдов времен Второй мировой войны в Европе. 17 мая 1943 года бомбардировщики «Ланкастер» совершили налет на плотины в Германии, применяя специально разработанные «прыгающие бомбы». Вода, хлынувшая из водохранилища, затопила долину Рура.

[75] Примечания: 75

В замке Колдиц около Лейпцига во время войны находился лагерь для военнопленных офицеров армий союзников.

Баранья Голова Мортон. История была до того печальная, что пересказывать ее никому не хотелось.

Шкентель пронес карандашный портрет жены через все лагеря, плыл с ним на адовом корыте, на котором их переправляли в Японию, держал при себе, когда работал на верфи «Мицубиси» в Нагасаки, рисунок не пропал, хотя и здорово поблек при взрыве атомной бомбы, когда сам Шкентель каким-то чудом уцелел. Он двинул в горы искать безопасное место, шел мимо мертвых, плавающих в реке, будто поленья во время сплава, и мимо живых, с которых кожа слезала длинными полосками, похожими на морские водоросли, ковылял мимо скульптур из обугленных человеческих существ — идущих, едущих на велосипедах, бегущих, мимо всех тех японцев, что корчились в агонии в вздымавшемся аду из голубого огня и черного дождя, и все они, как и военнопленные, каких он помнил, умирая, звали матерей. И все это время он старался увидеть Мэйзи такой, какой нарисовал ее Кролик Хендрикс в то утро в сирийском селении, где стоял запах людей, попавших в беду.

Он старался представить ее как единственную вещь в мире, которая не была всем этим, и до

тех пор, пока она там, он не умрет и не сойдет с ума, пока она там, мир добр. По пути в Манилу, куда его отправили на авианосце ВМФ США, он показал открытку американским морякам, и те согласились, что он очень удачливый малый. Наконец он добрался до Фримантла на пароходе, который шел в Мельбурн, и оттуда позвонил домой.

«Телефон Дэйва и Мэйзи, — ответил мужской голос. — Дэйв слушает».

Шкентель Бранкусси повесил трубку. Когда его судно вышло из Фримантла в море, в первую же ночь кто-то заметил, что Шкентель бросился за борт. Его так и не нашли.

Пиво стало чем-то вроде горючего для огня. Они пили, заставляя себя чувствовать так, как должны были чувствовать, если бы не пили, так, как чувствовали когда-то до войны, когда не пили. В тот вечер они чувствовали себя свирепыми, невредимыми и еще не загубленными, они еще смеялись над тем, что случилось в прошлом. И смеясь, они говорили, мол, война — это пустяк, и каждый погибший живет в них, и все случившееся с ними — это просто дрожащая прыгающая штуковина, бьющаяся внутри так сильно, что нужно поскорее выпить еще, чтобы умерить этот

эффект.

В тот вечер Шкентель Бранкусси был жив в них, и маленький Уот Куни был жив в них, и Рачок Берроуз, и Джек Радуга, и Кроха Мидлтон были живы в них — все множество умерших, а Баранья Голова Мортон признался, что иногда даже с нежностью вспоминает этого грязного жалкого гаденыша, Петуха Макниса, который, должно быть, уже помер. А Галлиполи фон Кесслер (который явился на встречу в старых, будто сшитых из шинели штанах, до того обтрепанных у обшлагов, что, судя по виду, он их у чучела купил) помянул Смугляка Гардинера, а потом Джимми Бигелоу затянул песню: «С каждым днем и во всем помаленьку становится лучше».

В тот вечер они стояли у камина в пабе «Надежда и якорь», пока их брюки сзади не стали такими горячими, что подтолкнули тех, на ком они были, выпить еще по пиву. Стоял сорок восьмой, а может, сорок седьмой год. Когда бы это ни было, погода вечером была не ахти, и приятно было сидеть под крышей, в тепле. Они не собирались вместе с тех пор, как ушли на гражданку. Джимми Бигелоу говорил мало. Семейная жизнь, в какую он вернулся, была не той семейной жизнью, которую он оставлял. Или он вернулся другим.

«Стараюсь как могу», — обмолвился он в разговоре.

Опять же — дети. У него их в конце концов стало четверо, и его называли семейным человеком. Но он им не был. Он был человеком, у которого четверо детей. Никто особо не поминал Смугляка Гардинера, кроме Галлиполи фон Кесслера, который произнес: «Никитарис».

— Ага, — кивнул Баранья Голова Мортон. — Рыбный магазин «Никитарис», черт бы его побрал. Говорил о нем без умолку, помните?

5

Джимми Бигелоу отмалчивался. Он был подавлен, в этом все дело, наверное. Но он в разговоры не лез. Его надежды стать музыкантом, стать кем-то не оправдались. Работал на каком-то цинковом заводе кладовщиком. Музыка больших джаз-оркестров, которую он *любил*, была теперь не в моде. Новая музыка, бибоп и современный джаз, не была для него музыкой. Так, сбивчивый шум, делающий вид, будто музыку можно извлечь из уличных пробок. Под такую ни потанцевать, ни влюбиться. То была музыка не Эла Боулли. Играли Бенни Гудман или Дюк. Оркестры-ансамбли все ужимались, если не исчезали вообще.

То, во что он верил, уходило в море, скрываясь из глаз, утрачиваясь навсегда. Уходило то, к чему, как ему казалось, он возвращался домой. То, чем он надеялся стать и на чем строить жизнь. Оказалось, что это медного гроша не стоит. Он уже не вписывался в собственную жизнь, его жизнь рушилась, а все, что еще держалось: работа, семья, — похоже, разваливалось на куски. Он хотел наладить все с Далси, со своей жизнью, с бибопом и свингом, но было слишком поздно. Ему хоте-

лось наладить все, но это было невозможно.

Однако вовсе не поэтому, выйдя из паба, они направились на Элизабет-стрит к рыбному магазину «Никитарис». Чтобы исправить все неверное. Они ушли потому, что уже почти наступила полночь, время закрытия давно миновало, они ж были пьяные, их выставили, и они не смогли придумать ничего для себя получше.

Стояла одна из тех ночей, какие весной случаются в Хобарте, — холодная, как милостыня, со снегом, во всю мочь засыпавшим гору, с гаванью, будто в мыльной пене, с ледяным дождем, бившим и царапавшимся в окна и по железным крышам, точно буйный пьяница, которого заперли.

Они прошли по Элизабет-стрит до рыбного магазина «Никитарис», следуя за шинельными штанами Галлиполи фон Кесслера, шагавшего впереди. Можно было жахнуть по улице из миномета — и ни в кого не попасть. Рыбный оказался не таким магазином, какой представлялся им в лагерях: повсюду народ, и пар, и запах жареного, и девчушка Смугляка, сидящая внутри в ожидании, когда они войдут и сделают то, что должны. Нет, ничего подобного.

— Заперто, как у той монашки, — сказал Бара-

нья Голова Мортон, когда они добрались.

«Никитарис» оказался закрыт: двери на замке, внутри ни души, свет везде погашен, кроме лампочек, освещавших длинный бак с рыбой в витрине. Рыба плавала в нем — все кругами, кругами. Пара плоскоголовых, трубач, две золотистые ставриды и спинорог. Не считая их, пялившихся на аквариум, вылизанная ночью улица была пуста.

— Ну так, — заговорил Баранья Голова Мортон. — Нельзя сказать, что они *точно* выглядят несчастными.

— Может, в каждый отдельный момент и мы в лагерях не выглядели, — сказал Джимми Бигелоу.

Они стояли кружком, руки в карманах, поводили плечами, чтоб согреться, постукивали ногой об ногу, будто ждали, когда прибудет полночный поезд. Или отойдет.

— Нет ничего бестолковее сборища пьяниц, — сказал Галлиполи фон Кесслер. — Даже тупые клуши чего-нибудь да делают.

Джимми Бигелоу казалось, будто от него одна внешность осталась, внутри же — ничего. Какая-то беда с чувствами. Ему хотелось чувствовать, только этого по одному хотению не получишь.

Он поднял камень, покатал его на ладони. Бросил взгляд на витрину. На толстенном стекле красовалась надпись с затейливыми завитушками: «РЫБНЫЙ МАГАЗИН “НИКИТАРИС”». Он отвел руку, размахнулся сплеча и без лишних слов, со всей силы запулил камнем в витрину.

Они слышали, как треснуло стекло. Не все сразу. Но точно во времени, медленно, со вздохом разверзся длинный пролом. Джимми Бигелоу улыбался так, будто у него рот разошелся до ушей.

Потом они все принялись швырять камни, витрина разбилась вздребезги, а они оказались внутри. Галлиполи фон Кесслер, у которого был врожденный дар импровизации, схватил сетку для обжаривания картошки в масле и принялся вылавливать ею рыб. После нескольких неудачных попыток они таки затолкали рыб в два поломойных ведра и зашагали в сторону доков, стараясь не расплескивать воду.

На крупной зыби, проникавшей даже в этот отдаленный уголок гавани, под жестоким ветром, метавшимся над бухтой, качалось несколько лодок рыбаков и краболовов. Стоя на краю дока Конституции, Баранья Голова Мортон нагнулся над ведром и заорал:

— Вы, мать вашу, свободны!
И опрокинул ведро.
Рыба попадала в плещущуюся воду.

6

На следующий вечер в «Надежде и якоре» эту историю рассказывали со смаком, даром что сдерживал все возрастающий стыд. Наконец Джимми Бигелоу предложил пойти переговорить с Никитарисом и рассчитаться с ним за витрину. Было еще не поздно, и в магазине горел свет. Стекло в витрине уже заменили, хотя еще и не расписали.

Внутри несколько старушек готовили картошку фри, и какой-то малец драил полки с товарами в торговой части магазина. Баранья Голова Мортон спросил, нельзя ли увидеть мистера Никитариса. Малец исчез и возвратился откуда-то из задних комнат с невысоким старичком, чье дряхлое тело сохранило тихую решимость каменщика, кем старичок был в молодости. Волосы у него отливали серебром, а кожа была цвета какого-то пятна, которое пытались вывести, да не сумели. Влажная пустота пролегала вокруг его темных глаз. От него пахло табаком и анисом.

— Мистер Никитарис, — начал Джимми Бигелоу.

— Ребят, вам чего надо? — сказал старик. У него был сильный акцент. Голос звучал устало

и раздраженно. — У меня был паршивый день. Вам чего надо?

— Мистер Никитарис, — повторил Джимми Бигелоу, — мы…

— Оставьте-ка просто свой заказ вон у той пожилой леди.

— Мы…

— Миссис Патифис, вон там, — сказал старик, показав узловатым пальцем.

— Мы пришли извиниться, — сказал Джимми Бигелоу.

— У нас товарищ был, — начал Баранья Голова Мортон. И на этот раз старый грек ничего не сказал в ответ. Он до того ссутулился, что с трудом видны были его глаза, взгляд которых шарил по полу, выложенному черной и белой плиткой, пока Баранья Голова рассказывал историю с начала и до конца.

Когда рассказ закончился, Джимми Бигелоу сказал, что они хотели бы заплатить старику Никитарису за разбитую витрину, за рыбу и за весь причиненный ущерб.

Старый грек с ответом не торопился. Взгляд его то уходил вверх, то блуждал кругами, поворачивая слегка дрожащую голову, старик вглядывался в каждого по очереди.

— Он был вашим другом?

Как и все иммигранты, он, похоже, обладал безошибочным чутьем на древнейшие, самые верные слова в своем новом языке. Он так выговорил это слово, что оно воспринималось лишенным коварной весомости «товарища».

— Да, — ответил Баранья Голова Мортон. — *Нашим* другом.

Баранья Голова Мортон достал бумажник:

— Сколько мы вам должны, мистер Никитарис?

— Мое имя Маркос, — сказал старик. — Но зовите меня Марко.

— Мистер Никитарис. Это была ваша витрина, а мы ее разбили.

Старик вскинул дрожащую старую руку и тряхнул ею.

— Нет, — сказал он, — высадили. — Спросил, не голодны ли они, и, не дожидаясь ответа, объявил, что они должны стать его гостями и поесть. — Садитесь и ешьте, — пригласил старый грек. — Поесть полезно, ребятки.

Мужчины переглянулись, не зная, что делать.

— Вы мои гости, — сказал старик, выдвинув табуретку и положив руку на плечо Джимми Бигелоу. — Прошу вас. Садитесь. Вы должны

поесть.

Вот они и сели.

— Вам нравится вино? У меня есть красное вино, которое вам, может быть, понравится. Подавать его мне не полагается, так что не устраивайте из этого представления, но пейте сколько хотите, ребятки.

Он отошел к плите с горячим маслом, наполнил сетчатый дуршлаг резаной картошкой, потом вернулся.

— Вы любите акулье мясо, или лучше барракуда? Некоторые предпочитают акулу, но, поверьте мне, барракуда костлявая, это правда, зато она нежная. Очень нежная. Вы должны поесть. Есть это полезно.

Он подал рыбу с картошкой фри на их столик, затем наполнил под стойкой несколько стаканчиков красным вином и тоже подал. После чего сам присел с ними. Пока они ели, он дал им выговориться. Когда же они выдохлись, он заговорил о том, что такая зима предвещает хорошее лето для абрикосов, да-да. Потом повел рассказ о своей жизни, об острове Липсос, откуда он родом, прекрасной, но суровой тамошней жизни, о своей покойной жене, о том, что у них, людей молодых, впереди целая жизнь. Богатая жизнь. Хорошая

жизнь. Да-да. Как говорят люди, посещение его рыбного магазина доставляет им радость. Он надеется, что это так.

— Правда надеюсь, — говорил старик. — Такова жизнь.

— У вас есть дети? — спросил Джимми Бигелоу.

— Три дочери, — ответил грек. — Порядочные девушки. Порядочные семьи. И сын. Хороший мальчик. Хороший…

Тут старый грек на секунду запнулся, бормоча что-то неразборчивое, и лицо его, казалось, затряслось и сошло со своей неуклюжей оси. Он поднес к лицу руку с узловатыми пальцами, похожими на старые обрезанные ветви абрикоса, дрожащие под порывом осеннего ветра. Словно пытался закрепить свое лицо в картинке достоверности.

— Его убили в Новой Гвинее в 1943-м, — выговорил он. — Бугенвиль.

Магазин неспешно опустел, сотрудники убрали помещение, заперли и ушли, улица снаружи замерла, лишь иногда какая-нибудь редкая машина, шелестя, полосовала лужу. Внутри же они просто рассказывали и рассказывали старику греку о многом и многом, пока не стало до того

поздно, что не осталось ни одного открытого паба. Но им было уже все равно. Они все сидели и сидели. Говорили о рыбалке, о еде, ветрах и кладке камня, о выращивании помидоров, о том, как держать кур и жарить баранину, ловить раков и морских гребешков, сказки рассказывали, обменивались шутками, россказни их ничего не значили, но их поток значил все, будучи сам по себе хрупким и прекрасным мечтанием.

Трудно сказать, насколько полезными сочли их желудки ту рыбу с картошкой и дешевое красное вино. На вкус было отменно. Старый грек сам сварил им свой особый кофе — густой, черный и сладкий в маленьких чашечках, — и угостил их печеньем с грецкими орехами, которое испекла его дочь. Все было странным и в то же время притягательным. На простых стульях сиделось легко, и место тоже уже казалось вполне достойным, а люди — приятными, и, пока длилась та ночь, казалось Джимми Бигелоу, не было другого места во всем свете, где ему хотелось бы быть.

7

Осенью 1948 года, сойдя по трапу «Дугласа ДС-3» в Сиднее, Дорриго Эванс и ужаснулся и поразился, увидев, что она встречает его. Японцы с немцами, может, и сдались в 45-м, зато Дорриго Эванс не сдался и не сдавался еще некоторое время. Он мужественно старался вести свою войну, жадно хватаясь за любые возможности, предоставлявшиеся невзгодами, интригами, балансированием на грани войны и приключениями. Представлялись они все реже и реже. Много лет спустя он осознал, как трудно признать, что во время войны, даром что три с половиной года провел военнопленным, он в чем-то важном был свободен.

Вот и откладывал свое возвращение как можно дольше, однако через девятнадцать месяцев работы по всей Юго-Восточной Азии в самых разных армейских ведомствах (занимавшихся всем: от репатриации до воинских захоронений и послевоенного восстановления) он исчерпал все прикрытия и уперся в необходимость выбирать: либо обычная карьера в армии, либо возможности жизни на гражданке. Чутье ничего не

подсказывало ему, в чем могли бы заключаться эти возможности, но неожиданно они показались привлекательными, армия же перестала быть увеселительной прогулкой, как когда-то, с ее поражениями и победами, с ее образом жизни — жизни! — когда все устоявшееся то и дело рвалось в клочья, пуская все прочно сложившееся по воздуху. Богатство, слава, успех, лесть — все, что придет позже, казалось, лишь обостряли ощущение бессмысленности, какое ему предстояло изведать в гражданской жизни. Он никак не мог признаться самому себе, что смысл его жизни придавала смерть.

«Невзгоды пробуждают в нас лучшее, — сказал ему сидевший рядом приземистый толстяк-офицер из Комиссии по воинским захоронениям, когда ДС-3 довольно тревожно швыряло шквалистым ветром из стороны в сторону при заходе на посадку в Сиднее. — Повседневность — вот что нас гробит».

Шагая по бетонке к кучке людей, ему не знакомых, он решительно настраивался встретить новую гражданскую жизнь, как встречал и одолевал такое множество других препятствий за семь лет, что они не виделись, — с обаянием и отвагой, а еще с пониманием, что время скоро смоет все

безумства далекого прошлого, как, похоже, смывает (или так ему казалось) почти все.

«Вперед, в атаку, — шептал он себе, собирая лицо в улыбку, которую, казалось ему, считали обаятельной. — В атаку на ветряную мельницу».

Обыденная красотка махала рукой в перчатке. Обыденный жест, смысл которого, насколько он понимал, донести содержимое обыденного сундука чувств, полагающихся в приданое девушке: радость, восторг, облегчение — *любовь*, как он допускал, признанная верность, которой он опасался. Ничто из этого не имело для него особого смысла, он был вне всего этого. Положим, после первых нескольких слов он узнал ее голос, летний воздух казался слабеньким, пустым и как-то разочаровывал после парного безумия Азии, и даже после того, как они поцеловались, он все никак не мог вспомнить ее имя. Губы ее показались сухими и разочаровали: будто пыль целовал, — но наконец-то, по счастью, имя вспомнилось.

— Элла, — произнес он.

Да, подумал, это оно. На вкус горше ржавчины.

— О… Элла.

— О, Элла, — произнес он мягче, надеясь, что какие-то другие слова, значимые для этого имени и для него, возможно, сами придут на язык, если

он просто повторит ее имя. Не пришли. Элла Лансбери лишь улыбнулась.

— Не говори ничего, дорогой, — сказала она. — Прошу, не говори никаких фальшивостей. Я не переношу фальшивых мужчин.

— Но я, — сказал он, — абсолютная фальшивка. Ничего иного во мне нет.

Она уже улыбалась — той занудной, всезнающей, ничего не понимающей улыбкой, которую ему только предстояло невзлюбить еще больше, те же неожиданно сухие губы сообщали ему, что все устроено, что ему больше не о чем беспокоиться. Теперь он припомнил, что в 41-м сделал ей предложение: способ поцеловать ее в грудь. Насколько он помнил, было это в последнюю ночь того, чему предстояло стать его последним отпуском с Эллой до погрузки на суда, а он беспрестанно думал об Эми. Чтобы унять поток непрерывных вопросов Эллы о том, почему он не делает предложения, и убежать от непрекращающихся раздумий об Эми, а заодно и от вызванного этим стыда, он соображал, каким образом преодолеть сложный лабиринт, ведущий к ложбинке между грудями, и не нашел ничего лучшего, как загадать извечную загадку: «Элла, ты выйдешь за меня замуж?»

Она действительно не знала, о чем он на самом деле думает? Не знала?

В грудях ее не было забытья. Все в Элле лишь напоминало ему — еще болезненнее — об Эми. Ему и тогда было стыдно, а сейчас было еще стыднее.

— Вот почему я и люблю тебя, Элвин, — сказала она. Элвин? Секунду он понять не мог, что она имеет в виду. Потом вспомнил: это он и есть. От этого тоже вкус был горше ржавчины. — Потому что ты кто угодно, только не фальшивка.

И так же, как она заключила его в объятия, пылкие и тесные, так и все, кого он встречал в последующие несколько дней, приходили к неизбежному заключению, что они должны пожениться: семь лет назад в надвигающемся сумраке войны и вопроса не было, что обручение устроено поспешно, а его неминуемое отплытие за океан теперь с такой готовностью принималось во внимание, что не оставалось места ни для каких-либо рассуждений, ни для задних мыслей. За истекшие годы Дорриго Эванс прожил несколько жизней, тогда как ее единственная жизнь (так, во всяком случае, виделось ему) была посвящена представлению о нем, в ком он себя едва узнавал. Время от времени он ощущал в себе что-то злое и дерзкое, но он был измучен как никогда,

и казалось, куда легче позволить, чтобы жизнь его устраивалась значительно более широкой общей волей, чем его собственными, личными и, несомненно, неуместными ужасами. Во всяком случае, разум его, так ему казалось, представлял собой какой-то тюремный лагерь ужасов. Вовсе не хотелось придавать ему больше значимости, чем требовалось. Дорриго понимал, что вокруг многие из взволнованных его грядущей женитьбой куда более трезвы и здравомыслящи, чем он, а потому всецело положился на их трезвость и здравомыслие (настолько идущие вразрез с его еще более странными суждениями) в надежде, что они, возможно, вытащат его на новое и лучшее место. В столь детском подходе отразилась еще и часть его натуры: его неизменно привлекало волнение нового и неведомого, особенно когда оно еще и пугало. И, поскольку ничто не пугало его больше, чем перспектива женитьбы на Элле Лансбери, то есть то, что он проделал три недели спустя в алкогольном тумане и новом костюме, который она выбрала, и в нем навсегда осталось ощущение, что в нем видели такую же показуху, какой было их бракосочетание в соборе Святого Павла.

Они еще не успели поцеловаться, как он опять

забыл свое имя: почувствовал себя потерявшимся в запахе ее пудры, — а потом оно наконец вспомнилось. «Элвин, да, точно… Я, Элвин…» — произнес он. Повернулся и посмотрел на нее, всю накрашенную, напомаженную в обрамлении кружев и цветущего флердоранжа, но видел только узенькое личико, странный нос, который всегда казался ему немного противным, выгнутые дугой тоненькие брови, — и не находил в ней ничего привлекательного. «Беру тебя, Элла», — сказал он уже мягче, и Элла Лансбери (которой скоро предстояло стать Эллой Эванс) просто улыбнулась, губы у нее слегка разошлись, но ничего не произнесли.

«Я не Элвин, — хотелось ему объявить на свадебном торжестве, — и я абсолютная фальшивка». Но вместо этого он лгал и говорил о любви, которая пережила семь лет разлуки, мифический срок, достойный Улисса и его спутников. И хотя единственный классический герой, которого он в действительности напоминает, — это баран (громкий смех), Элла воистину его Пенелопа, и он счастлив наконец-то прибыть на свою Итаку (громкие аплодисменты).

Всю оставшуюся жизнь Дорриго Эванс уступал обстоятельствам и ожиданиям и привык назы-

вать это бремя долгом. Чем сильнее чувствовал он вину за свой брак, за свою неудачу вначале как мужа, а позже — отца, тем отчаяннее старался делать только то, что было благом для его общественной жизни. И то, что было благом, что было долгом, всегда оказывалось самым удобным бегством, которое было комфортно неизбежным, именно тем, чего ожидали другие. А вот плохим и безнравственным был он сам, решил он в первый раз, когда всего через месяц после медового месяца спал с другой, а не со своей женой — с ее лучшей подругой Джоан Ньюстед, женщиной с завораживающими влажными губами и лукавой улыбкой. Случилось это в какой-то хибаре в Сорренто в разгар дня, когда все остальные удобно разошлись кто куда.

Но пережитый опыт — только арка,
Через нее непройденное светит… —

шептал он ей потом, проводя пальцем вверх и вниз по москитной сетке, прежде чем вновь повернуться к ней, уронить голову и ухватить ее темный сосок краешком нижней губы, продолжая читать наизусть Теннисона и овевая мягким дыханием ее грудь:

…И край того нехоженого мира,

Чем дальше путь держу, тем дальше тает.

В тот вечер устроили барбекю, потому что мясо, оставленное висеть в допотопном холодильном шкафу, начало портиться на жаре, и хотя карточки на мясо только что были отменены, все равно чувствовалась неловкость оттого, что хорошее мясо может пропасть. Вероятно, он выпил слишком много, вероятно, он выпил недостаточно, думал он после, только голова у него кружилась, а живот был будто гвоздями набит. Ему казалось, что он обрюзг и взвинчен от того большого, неверного и скрытного, что встало между ним и Эллой, Эллой, от которой он отныне не хотел ничего скрывать, тогда как Джоан Ньюстед ревниво относилась к вниманию, какое Дорриго оказывал ее лучшей подруге, своей жене. Что он делает? — ломал он голову. — Неужели надеется, что его выведут на чистую воду?

Филейный стейк жарился на неистовом жаре докрасна раскаленных углей, но когда он разрезал мясо, оно еще не дошло, и на миг он вновь вернулся туда, направляясь через весь лагерь на свой второй за день обход в разгар муссонных дождей и Гонки. Приблизившись к язвенному бараку, Дорриго утонул в облаке вони от гниющей плоти. И вспомнил, что вонь гнилого мяса была

до того сильна, что Джимми Бигелоу при первой возможности выскочил наружу проблеваться.

8

После вынесения приговора Чхой Санг-мина перевели в «Галерею П» тюрьмы Чанги, где приговоренные жили вместе как равные — японцы, корейцы и формозцы. Ему выдали грязно-коричневую форму, помеченную английскими буквами «CD». Буквы, объяснили ему, означают, что он приговорен к смерти. Чхой Санг-мин заметил, что каждый CD отчаянно старается заполнить свои дни какой-нибудь деятельностью, и ни один по виду не был ни удручен, ни излишне озабочен тем, какое будущее ему уготовано. Да он и сам чувствовал, как у него отлегло от сердца, словно чувство страха, преследовавшего всю жизнь, и ощущение собственной неполноценности исчезли без следа. Все это не имело теперь никакого значения. И все потому, что пришел его черед умереть.

Каждое утро их выводили из камер, заставляли умыться — и начинался еще один день занятого небытия. Они сидели на пышущей жаром галерее без рубах в центре камер, играли в *го* или *сеги*, перечитывали какую-нибудь книжку или журнал из немногих бывших в наличии или просто

сидели в одиночестве. Раз в несколько недель с уведомлением о казни являлся капитан-индиец в серебряных очках, за которыми медленно плавали туда-сюда блестящие головастики глаз. Скованные страхом узники молча ожидали, гадая, кому выпало умереть, и каждый чувствовал громадное облегчение, когда жребий выпадал не ему, а кому-нибудь из соседей.

В третье из таких посещений Чхой Санг-мин понял, что умереть предстоит ему, но не потому, что ему это подсказали чувства, ведь к тому времени чувств у него, кажется, уже не осталось. И не из бумажки, которую ему вручили. Бумажку он держал в руках, но никак не мог совместить самого себя и свою жизнь с тем, что, как ему сказали, было написано в бумажке.

Он поднял взгляд, обвел им «Галерею П». Это бумажка ничто, а он — человек. Человек, рассуждал Чхой Санг-мин, это что-то. Человек, хотелось сказать Чхой Санг-мину, наполнен столь многим, так многое в нем меняется. Человек — хороший ли, плохой — великолепен. Не может такого быть, чтоб вот эта штуковина, это ничто, которому вовек не измениться, могло означать конец всему, что движется и меняется в нем — хорошем, плохом, великолепном.

И все же это было так.

А вот по ужасному облегчению, которое высказали другие узники, облегчению, которое окатило его дыханием обжигающего пламени, он как раз и понял наконец, что на следующее утро его казнят.

Тем четверым, кому предстояло умереть, дали японскую еду и сигареты. К ним пришел буддийский монах. Чхой Санг-мин, который никогда особо не задумывался о религии, помнил, что его отец (о котором он тоже не особо много думал) сказал однажды, что он *чхондогест*[76]. А потому присутствие буддийского монаха его рассердило.

Чхой Санг-мин посмотрел на принесенный ему рис, суп *мисо* и *темпуру*. Ему очень хотелось острого материнского *кимчхи*, он ненавидел пресную японскую еду. Только теперь ненависть и злоба не принесут ему добра. Он не мог есть свою последнюю трапезу. Если съест свою последнюю трапезу, это будет последним, что он съест. Последняя трапеза было согласием с неизбежностью смерти. А он был несогласен со своей смертью.

Он курил сигареты, которые ему дали, и не

[76] Примечания: 76

Последователь корейской религиозной партии «Чхондоге-Чхонудан» («Партия молодых друзей небесного пути»).

говорил ни слова, когда другие приговоренные рассказывали о своих близких. Их разговоры ему не нравились: на руках у него была бумажка, против которой его жизнь казалась космической силой.

Ничего он не сказал и после ужина, когда охранники внесли весы и жестом велели встать на них. Чхой Санг-мина взвесили. Измерили его рост. Он знал, зачем это, потому что другие ему рассказали. Откуда они сами узнали, было загадкой. Рассказывали они ему так, будто свои познания о виселице впитали с молоком матери.

Палач, говорили они, приладит пеньковую веревку на нужной для человека высоте в соответствии с его ростом, так падение будет правильным и наберет максимальную силу, чтобы под конец сломать ему шею. Потом он наполнит песком мешок до того же веса, что и у Чхой Санг-мина, привяжет его к пеньковой веревке и оставит висеть на ночь, чтоб она вытянулась, так что, когда завтра Чхой Санг-миг полетит в люк, веревка не спружинит. А если она не спружинит, то шея у него должна сразу же сломаться.

Ему вспомнился японский офицер, который выказал замечательную выдержку в ночь перед казнью. Когда стража пришла его взвешивать, он

сказал им на ломаном английском, что умирает за Японию, что не испытывает стыда за то, что заставлял пленных упорно работать на императора, и как человек военный понимает, что умирает просто потому, что его страна потерпела поражение.

Чхой Санг-мин мечтал о такой ясности и четкости. У японцев это есть, по крайней мере он всегда чувствовал, что у японцев это есть. А теперь-то он еще и понимает, что чуял, когда пытался выбить кулаками и сапогами это из военнопленных: у австралийцев это тоже есть. У всех есть, у каждого в этом мире есть. Кроме, наверное, него самого.

Виселица стояла за галереей, где Чхой Санг-мин и трое других сидели в ожидании своего последнего в жизни узилища. В дни казней те CD, которым еще предстояло утверждение даты казни, молча ожидали в этой галерее, им было слышно, как приговоренный поднимается на эшафот, слышны его последние слова. Тот японский офицер выкрикнул: «Да здравствует император!» Люк, хлопнув, распахнулся, и почти сразу же последовал глухой удар.

«Но что хорошего в таком отношении для меня, корейца?» — подумал Чхой Санг-мин. Для своей страны он ничего не совершил, и его страна ниче-

го для него не сделала. Никаких убеждений у него не было. Он подумал о родителях, представил, какой мукой для них станет известие о его смерти, и понял, что никак не смог бы им объяснить, ради чего он умер. Только и есть что пятьдесят иен в месяц.

Пока они ждали в этом предбаннике смерти, приговоренный охранник по имени Кендзи Могами распевал песни. Они с ним очень недолго работали в каком-то лагере для военнопленных. У него было прозвище Лев Гор, но и он, никогда никого не ударивший, тоже должен был умереть. Чхой Санг-мин вспомнил, как один австралиец пел, а он заставил его прекратить пение, но с пением Кендзи Могами он ничего поделать не мог. Еще один японский офицер вальсировал в одиночку. Потом их развели по камерам.

Спать он не мог. Почти болезненно ощущал себя живым и бодрствующим: теперь хотелось вкусить и познать каждый миг своей жизни. Не давая мозгам дико метаться между отчаянием из-за невозможности бежать и злостью оттого, что он не получает своих пятидесяти иен, он попробовал вспомнить, как другие встречали смерть во время казни.

«Ура великой корейской стране!» — выкрикнул

один кореец, делая роковые тринадцать шагов.

«Какая великая корейская страна? — крутил головой Чхой Санг-мин. — Что с моими пятьюдесятью иенами? Я не кореец, — думал он про себя. — И не японец. Я человек из колонии. Где мои пятьдесят иен, хотелось бы знать? Где?»

Его отец, крестьянин, когда-то хотел, чтоб он получил образование, но времена были трудные, и после трех лет начальной школы, заучив кое-какие японские мифы и историю, он бросил школу, пошел в услужение в корейскую семью. Платой там ему были стол, две иены в месяц и постоянные колотушки. Было ему тогда восемь лет. В двенадцать он пошел работать в японскую семью, где платой были стол, шесть иен в месяц и взбучки время от времени. В пятнадцать он прослышал, что японцы набирают охранников для службы в лагерях военнопленных. Плата составляла пятьдесят иен в месяц. Его тринадцатилетнюю сестру японцы уговорили поехать в Маньчжоу-го поработать женщиной для утешения за такую же плату. Тогда она говорила ему, что будет помогать солдатам в госпиталях, была, как и он, в большом восторге. Поскольку ни читать, ни писать сестра не умела, больше он о ней ничего не слышал, теперь же, когда он узнал,

что делали женщины для утешения, он старался не думать о ней, надеясь, что она умерла — ради ее же блага.

Хотя у него было немало имен: его корейское имя — Чхой Санг-мин, японское имя, которое ему дали в Пусане и обязывали отзываться на него, — Акира Санья, австралийское имя, которым сейчас его зовут охранники, — Варан, — он чувствовал, что понятия не имееет, кто он такой. Некоторые приговоренные могли похвастать твердыми убеждениями относительно Кореи и Японии, войны, истории, религии, справедливости. Как понял Чхой Санг-мин, у него ни о чем никаких понятий не было. Только разделять понятия других казалось ему ничуть не лучше, чем не иметь вообще никаких понятий. Потому как были это не их собственные понятия, а почерпнутые из лозунгов, радиопередач, армейских наставлений, — одни и те же понятия, какие усваивались при одних и тех же бесконечных избиениях, которые и сами они переносили во время японской военной подготовки. В Пусане его хлестали по щекам, потому что голос у него был слишком тихий, хлестали за то, что он слишком уж кореец, хлестали, чтобы показать, как надо хлестать по щекам других — со всей силы и наотмашь. Чхой Санг-мин ненавидел

это. Хотел сбежать, вернуться домой. Только он знал: если сбежит, его накажут и, что еще хуже, накажут всю его семью. Ему дают пощечины, говорили ему, чтобы из него получился сильный японский солдат, но он знал, что ему никогда не бывать японским солдатом. Быть ему тюремным охранником, сторожить людей, которые и звания такого не заслуживают, — тех, кто предпочел плен смерти.

Уже на пороге смерти Чхой Санг-мину отчаянно захотелось заиметь собственое мнение хоть о чем-нибудь. В ту долгую ночь он надеялся, что мнение у него в конце концов появится, раскроет его, мнение, которое позволит ему что-то понять и в то же время познать покой. Он надеялся уподобиться тому японскому офицеру, который верил в императора, или тому корейскому охраннику, который верил в Корею. Наверное, ему следовало запросить больше пятидесяти иен. Но никакой идеи не появилось, и слишком уж быстро настало утро.

Когда в камере стало светлеть, ему захотелось спокойствия, понадобилось то чувство, какое он впервые испытал ребенком, прислуживая в японской семье. Японец, отец семейства, был инженером, получившим образование в Шотлан-

дии. Он носил твидовые костюмы, как британец, держал домашнего пса, который в те времена питался куда лучше Чхой Санг-мина, потому как кормили собаку отборными кусочками со стола японского семейства. Семейство пса обожало, а потому одной из ежедневных обязанностей Чхой Санг-мина было его выгуливать. У пса были большие глаза и крупная голова, которая дергалась, когда животное смотрело на Чхой Санг-мина в ожидании, когда тот в очередной раз бросит ветку. Однажды Чхой Санг-мина послали на рынок, он пошел туда с собакой, и, решив срезать путь, отправился боковыми улочками. В одном месте споткнулся пальцем босой ноги о лежавший на дороге старый кирпич. В ярости поднял его, а пес меж тем устремил на него взгляд, полный доверия и обожания, дернул головой из стороны в сторону, ожидая, когда кореец бросит кирпич, словно тот был мячом или веткой. И Чхой Санг-мин с размаху долбанул кирпичом пса по голове, потом еще и еще раз, пока руки у него не стали темными и липкими от крови и костного крошева.

Тело пса он продал мяснику за десять иен, а потом пошел обратно к японской семье, где служил. В воздухе стоял сладкий аромат, легкий ветерок

приятно холодил лицо, каждый прохожий, проходя, казалось, дружелюбно улыбался ему, и им овладело невероятное чувство покоя и удовлетворения от того, что он сделал. Как же хотелось ему еще раз почувствовать, еще раз познать тот волнующий миг неведомой силы и свободы, что принесло с собою убийство живого существа. Жаль, в его камере не было никого, кого он мог бы убить и тем возродить давнее ощущение, теперь уже скоро другим переживать удовольствие от его смерти, как когда-то он сам его пережил, убив пса японского инженера. Свет в камере делался все заметнее: он четко разглядел сначала свои руки, затем бедра, а потом и ноги — и вдруг ощутил, как ужас пробирается к нему в живот. Чхой Санг-мин понял: никогда больше не увидеть ему себя в утреннем свете.

Он затеял драку с охранниками, когда пришли вести его на виселицу. Он увидел таракана и захотел его убить. Времени не хватило. После того как ему связали руки за спиной, вызвали врача, и тот через переводчика спросил, не хочет ли он принять успокоительное. Чхой Санг-мин завопил. Он по-прежнему видел таракана. Ему дали четыре таблетки фенобарбитала для успокоения нервов, но тело его было слишком возбуждено,

и таблетки сразу выскочили обратно вместе с рвотой. До того как доктор сделал ему укол морфина, Чхой Санг-мин успел раздавить таракана каблуком. Его слегка подташнивало и голова кружилась, когда он прошел короткое расстояние от «Галереи П» до виселицы, поддерживаемый с обеих сторон солдатами. Теперь все происходило очень быстро. Когда вышли во двор, он увидел два прислоненных к стене мешка с песком. Во дворе было с дюжину человек или больше, шестеро на эшафоте, и еще больше внизу. По сходням, устланным соломой, его отвели на эшафот. Поразило, насколько веревка оказалась толще, чем он ожидал. Она напомнила ему корабельный трос. Какая-то зверская радость появилась при виде большого, могучего узла. «Я понимаю, — хотелось ему сказать веревке. — Ты меня заждалась». Думалось ему спокойно, даже как-то приятно, зато все лицо дергалось. Так много народу, и ни один ни слова не скажет, а у него лицо никак не перестает дергаться. Сбоку, метрах в пяти, зиял открытый второй люк, а из него тянулась туго натянутая веревка. Он понял: на том конце, недоступный взгляду, болтался Кендзи Могами.

Его спросили, не желает ли он что-нибудь сказать. Чхой Санг-мин поднял голову. Где-то

колокол отбивал время. Он глянул вниз на солдат и журналистов. Ему захотелось сказать, что у него есть идея. Кто-то тихонько смеялся. Не было у него никакой идеи. Ему платили по пятьдесят иен, а пятьдесят иен — это куш невеликий, а куда того меньше — идея. Пятьдесят иен — ничто. На люке перед собой он увидел сделанные мелом отметины, как он понял, чтоб ноги встали точно куда надо. «Пятьдесят иен!» — хотелось ему воскликнуть. Солдаты все еще держали его за руки. Он заметил, что пятна меловой пыли похожи на белую гальку. Он склонил голову, и на нее накинули балахон. Закрыл глаза, потом открыл. После месяцев, которые текли ужасно медленно, теперь все неслось слишком стремительно. Он чувствовал холст, и почему-то его темнота пугала гораздо больше, чем ночь его собственных глаз, а потому он снова закрыл их. Утро уже стало жарким. В балахоне было душно. Почувствовал, как через голову ему накинули петлю, и в ту же минуту понял, что колени ему стянули вместе. Собрался было попросить помедлить, подождать, но почувствовал, как решительным толчком петлю затянули вокруг шеи, и издать удалось лишь звук, похожий на неожиданный всхлип. Стало труднее дышать. Лицо со зверской силой ходило

ходуном. Нельзя было даже плюнуть в них, как, он надеялся, сделал Ким Ли, когда его убивали. Солдаты, державшие его за руки, подтолкнули его, и он дважды по-лягушачьи скакнул вперед, зная, что теперь стоит на меловых отметинах люка. Последней его мыслью была та, что ему хочется почесать нос, когда он ощутил, как пол под ним внезапно пропал, и он услышал, как люк с грохотом ушел вниз. «Стойте! — закричал он. — А как же мои пятьдесят…»

9

Прошли годы. Он встретил медсестру по имени Икуко Кавабата, молодую женщину, чьи родители погибли во время бомбежки Кобе в последние месяцы войны. После подписания мира брат ее умер от голода. И этот город тоже обратился в пустыню из щебня и руин, и история Икуко была до того обыкновенной, что она, как и многие другие, сочла за лучшее не распространяться об этом.

У Икуко была блестящая кожа и большая родинка на правой щеке, и то и другое неизъяснимо трогало Накамуру больше, чем ему хотелось бы в этом признаться. Еще у нее была ленивая улыбка, которая одновременно возбуждала и раздражала его. Этой улыбкой она старалась положить конец любым раздорам и перебранкам между ними, иногда это сразу же срабатывало, но и тогда порой он воспринимал ее как свидетельство глупости и слабости женского характера.

Через Икуко Накамура нашел работу в больнице, сперва санитаром, а позже кладовщиком. Он с радостью расстался со своей работой на черном рынке, поскольку та не была ни чересчур прибыльной, ни слишком безопасной, а он еще

и все время боялся, что его разоблачат и передадут американцам. Даже на своей новой работе он сторонился людей, впрочем, тогда многие делали то же самое, и Накамуре казалось, что все понимают, почему такое множество народу не хочет, чтобы кто-то знал и понимал их. Он переехал жить к Икуко, столько же из стремления сохранить свое уединение, сколько и из желания человеческого общения. Она пребывала в добром здравии, оказалась хорошей хозяйкой, и он был признателен, что отыскал женщину с такими достоинствами.

Несмотря на привычку к одиночеству, он пристрастился играть в *го* с доктором из больницы, которого звали Камея Сато, и за несколько лет привычка переросла в доверие, а доверие в свою очередь в тихую дружбу. Сато, который был выходцем из Оиты[77], был предан своим пациентам, тихий и скромный человек, он в отличие от других врачей имел странное обыкновение не носить белый халат. В *го* Сато играл гораздо лучше Накамуры, и однажды вечером бывший солдат спросил хирурга, в чем секрет хорошей игры в *го*.

---

[77] Примечания: 77
Префектура на юге острова Кюсю.

— Тут вот какая штука, господин Кимура, — сказал Сато. — Во всяком деле есть принцип и структура. Только нам они непонятны. Наша задача — отыскать этот принцип и эту структуру и действовать внутри ее как ее часть.

Ответ Сато, ясное дело, особого смысла для старого солдата не имел. А потому, мягко вминая два пальца в одну сторону живота Накамуры, врач продолжил:

— Если мне нужно удалить аппендикс, я войду здесь, разделю мышцы в соответствии с принципом и структурой, которым меня обучили в Университете Кюсю, и таким образом смогу удалить воспаленный отросток с наименьшей опасностью и неприятностями для пациента.

Это навело их на разговор о Кюсю, одном из лучших университетов Японии по обучению медиков. Накамура вспомнил прочитанную в какой-то газете статью о врачах, которых судили и заключили в тюрьму за то, что они, по утверждениям американцев, практиковали вивисекцию на живых американских летчиках, причем без применения анестетиков. Тогда и сама статья, и вынесенные приговоры разозлили Накамуру, и сейчас он заговорил об этом не без волнения, страстно заключив:

— Американские враки!

Сато поднял взгляд от столика с *го*, потом вновь опустил его, поставив на место черный камень.

— Я был там, господин Кимура, — сказал врач.

Накамура уставился на Сато, пока скромный хирург не поднял взгляд и не обратил его — непривычно пристально — на самого Накамуру.

— Я был там интерном уже под самый конец войны, руководил мной профессор Фукудзери Ишияма. Однажды меня попросили доставить американского летчика из палаты, где тот находился под охраной. Высокий такой, с очень узким носом и рыжими кудрявыми волосами. При задержании он был ранен: выстрелил солдат, помогавший его схватить, — но мне он доверял. Я указал ему на кресло-каталку, и он сам уселся в него. Мне велели привезти его не в операционную, а в прозекторскую в анатомическом отделе.

Накамура заинтересовался:

— А там?

— И там он опять доверился мне. Я указал на прозекторский стол. В помещение набилось несколько врачей, сестры и другие интерны, а еще армейские офицеры. Профессор Ишияма еще не пришел. Американец, как ни странно, встал, а потом сам улегся на прозекторский стол.

И подмигнул мне. Ну, знаете, как американцы подмигивают. Подмигнул и улыбнулся. Будто я с ним шутки шутил.

— А потом, — сказал Накамура, — ему дали наркоз, и профессор Ишияма прооперировал его рану.

Сато держал на ладони еще один камень *го*, проводя большим пальцем взад-вперед по его отполированной в форме линзы поверхности, словно массировал слепой черный глаз.

— Нет, — сказал Сато. — Два санитара привязали ему руки-ноги, туловище и голову к столу кожаными ремнями. Профессор Ишияма пришел, когда это еще не закончилось, и начал с обращения к собравшимся. Он разъяснял, как вскрытие еще живых людей помогает получить важные научные данные, которые помогут нашим солдатам в грядущих великих битвах. Работа эта нелегкая, но все великие достижения требуют жертвенности и преданности. Таким способом они, врачи и ученые, имеют возможность доказать, что они достойные слуги императора.

Накамура взглянул на доску *го*, но мысли его уже не были заняты игрой.

— Помню, меня гордость распирала оттого, что я был там, — сказал Сато.

Все, о чем рассказывал Сато, было исполнено важнейшего смысла для Накамуры: в конце концов, тот же довод, изложенный по-иному для иных обстоятельств, определял всю его взрослую жизнь, — и хотя он и не думал об этом, сходные принципы и ритм рассказа Сато убеждали Накамуру, что профессор Ишияма, даже если он и не применял обезболивания, действовал правильно и этично.

— А американец все равно не сопротивлялся, — продолжал Сато. — Он и представить не мог, что его ждет. Прежде чем профессор Ишияма начал, мы все отдали пациенту поклон, как будто это была обычная операция. Может быть, это ободрило его. Для начала профессор Ишияма вскрыл ему брюшную полость и удалил часть печени, затем зашил рану. Следом он удалил желчный пузырь и кусок желудка. Американец, поначалу на вид умный и полный жизни молодой человек, теперь выглядел старым и хилым. Во рту у него был кляп, но очень скоро он уже и кричать был не в силах. Под конец профессор Ишияма извлек у него сердце. Он все еще билось. Когда профессор положил его на весы, гирьки дрожали.

Рассказ Сато обтекал Накамуру, как река в половодье обтекает каменные валуны. Слова

обходили его вокруг, потом переливались через него и наконец накрыли с головой. Однако ничто в нем не дрогнуло. И пусть рассказ подтверждал, что все сказанное американцами было правдой, а он, Накамура, был неправ, причины, почему это делалось, были исполнены для Накамуры такого важного смысла, что он не почувствовал ничего примечательного в истории человека, которого режут на куски, когда он еще жив и в полном сознании.

— Было как-то не по себе, но поначалу я как-то не особенно много об этом думал, — продолжал Сато. — В конце концов, шла война. Через несколько дней последовали другие операции на других летчиках: вскрытие средостения у одного, отделение корней лицевого нерва у другого. На последней, где я присутствовал, в черепе военного проделали четыре отверстия и стали втыкать в мозг нож — посмотреть, что получится.

Они играли в *го* в небольшом садике, разбитом для персонала больницы. Стояла весна, и Накамура слышал раннее вечернее птичье пение. Рядом рос клен, обращавший длинные солнечные лучи в переливающиеся нити темноты и света.

— После войны, — заговорил Сато, — профессор Ишияма повесился в тюрьме. Арестовали еще

кое-кого, приговорили к смерти, затем приговоры пересмотрели и в конце концов всех выпустили на свободу. Какое-то время я думал, что и меня отдадут под суд, только теперь то время давно в прошлом. Американцам нужно, чтоб это забылось, да и нам тоже.

Сато подтолкнул к Накамуре газету, которую читал, со словами:

— Вот, взгляните.

И указал на небольшую заметку, сопровожденную фотографией. Писали о благотворительной деятельности некоего г-на Рюочи Найто, основателя Банка крови Японии, успешной компании, покупающей и продавающей кровь.

— Я знаю коллег, которые работали с господином Найто в Маньчжоу-го. Господин Найто был одним из руководителей наших самых лучших ученых, занимавшихся там похожими вещами. Вивисекцией. И многим другим. Испытание биологического оружия на заключенных. Сибирская язва. Еще бубонная чума, как мне говорили. Испытание огнеметов и гранат на заключенных. Операция была грандиозной, имела поддержку на высочайшем уровне. Сегодня господин Найто весьма респектабельный человек. А почему? Да потому, что ни наше правительство,

ни американцы не желают копаться в прошлом. Американцев интересуют наши разработки биологического оружия: оно помогает им готовиться к войне против Советов. Мы испытывали это оружие на китайцах, они хотят пустить его в ход против корейцев. Я говорю, людей вешали, потому что им не повезло или они были мелкими сошками. Или корейцами. Но сейчас американцам нужно делать бизнес.

— Мы тоже жертвы войны, — произнес Накамура.

Сато ничего не сказал. Где-то в самой глубине своего существа Накамура чувствовал, что он, как и японский народ, был уважаемым, добродетельным человеком, облыжно обвиненным. Жертва, да — он, Икуко, его казненные товарищи по оружию, сама Япония. Это чувство объясняло ему все, что на него свалилось, даже придавало некоторое величие его жалкой жизни из тайн и уловок, фальшивых документов и растущей разобщенности с другими людьми. Но рассказ Сато его взволновал. В нем, похоже, брезжила отдаленная перспектива божественного освобождения.

— Вам знаком тот странный звук под конец землетрясения? — спросил Сато. В тающем свете его усталое лицо все больше размывалось в су-

мраке. — Слышали, как после встряски и диких оползней, — продолжал врач, — все вещи: картины, зеркала, окна в рамах, ключи на крюках — начинают дрожать и издавать этот странный звук? А снаружи все, что вам было знакомо, возможно, уже исчезло навсегда?

— Конечно, — кивнул Накамура.

— Словно сам мир вокруг издает этот переливчатый звук?

— Да, — кивнул Накамура.

— Когда у весов в прозекторской от толчков сердца американца дребезжала сделанная из нержавейки чашечка, был такой же точно звук. Словно бы мир дрожмя дрожал.

Сато изобразил на лице загадочную улыбку.

— Знаете, почему он доверял мне?

— Профессор Ишияма?

— Нет, американский летчик.

— Нет.

— Потому, что считал: мой белый халат означает, что я его спасу.

10

Накамура с Сато никогда больше не заговаривали о прошлом врача. Но что-то в его рассказе стало вызывать у Накамуры тревогу. В последующие месяцы их игры в *го* делались все менее частыми. Теперь Накамура находил, что хирург (который раньше казался ему таким интересным и доброжелательным партнером) как-то поскучнел, стал нудным, а игра сделалась каким-то бременем, какое приходилось терпеть, а не удовольствием, каким следовало бы наслаждаться. И он чуял (каким-то неведомым, непостижимым образом), что такое отношение становится обоюдным. Сато перестал заходить в конторку склада покурить с Накамурой, а Накамура поймал себя на том, что избегает появляться в тех местах больницы, где можно было встретиться с Сато. В конце концов они совсем перестали играть в *го*.

Отдалившись от Сато, Накамура сблизился с другими людьми, нашел в себе силы так или иначе быть правдивее как человек. Он пришел к пониманию, что вокруг много людей, похожих на него: гордых, достойных мужчин, исполнивших свой долг и отнюдь не намеренных этого сты-

диться — таких, кто тоже считал себя жертвой войны. И он понял, что время, когда никто не был тем, кем, по его утверждению, он был, когда никто не был тем, кем казался, когда все помнили только то, о чем можно было говорить, — это время теперь ушло. Когда последние из остававшихся в тюрьмах военных преступников были освобождены, Накамура отказался от всякого притворства и уловок и, решив, что лучше всего жить по чести, признав правду, вернул себе свое настоящее имя. На следующий год он женился на Икуко.

У них были две дочери, здоровые детки, которые, подрастая, прониклись глубокой любовью к своему благородному отцу. Их младшая дочь, Фуюко, в шесть лет едва не погибла, когда ее сбил школьный автобус. Главным, что сохранилось в памяти Фуюко о том периоде, был отец, днем и ночью сидевший возле ее кроватки со склоненной головой. Дочерям он казался почти что существом из иного мира: то рубашка не на те пуговицы застегнута, то ремнем забыл подпоясаться, то беспокоился о том, как бы не сделать больно паукам, которых он ловил в доме и выпускал наружу, или комарам, которых нарочно никогда не прихлопывал.

Он один ощущал странность в самой основе своего преобразования в свое же представление о человеке достойном. Было ли это лицемерием? Было ли искуплением? Виною? Стыдом? Делалось ли это намеренно или бессознательно? Было ли это ложью, или то была правда? В конце концов, он был свидетелем множества смертей, наверное, ощущал он иногда с почти дикарской гордостью, невозможно оспорить (что ни в малейшей степени этому не противоречит), что был даже пособником чьих-то смертей. Но никакой ответственности он не чувствовал, время вымыло из его памяти все, связанное с его преступлениями, позволив вместо этого сохраниться в ней дидактичным россказням о доброте и смягчающих обстоятельствах. С годами он убедился, что тревожит его только то, как мало из всего этого его тревожит.

Весной 1959 года, больше из любопытства, нежели оптимизма, Накамура решил попытать счастья получить место в Банке крови Японии. К его удивлению, его пригласили на собеседование. Ранним зимним утром он сел в поезд на Осаку. В представительстве Банка крови Японии его заставили прождать почти до обеда, пока наконец не проводили — и не в приемную, как он ожидал, а в

большой начальственный кабинет. Там усадили и снова велели ждать. Не было ни души. Через четверть часа дверь открылась, и чей-то голос велел ему не оборачиваться и не смотреть, а сидеть как сидит. Он почувствовал, как чьи-то пальцы прочертили дугу сзади у него на шее. А потом за спиной мужской голос стал декламировать:

Что в море,
Где трупы скроет вода,
Что в горах,
Где трупы укроет трава.

Разумеется, Накамура узнал «Уми юкаба», древнее стихотворение, ставшее во время войны до того популярным, что с него начинались сообщения о сражениях по радио, в которых неизменно сообщалось, что японские солдаты встретили почетную смерть, предпочтя ей бесчестье сдачи в плен. Накамура прочел последние строки, словно они были паролем:

Мы смерть принимаем
За императора,

Не оглядываясь никогда[78].

И еще раз почувствовал пальцы на своей шее.

— Такая отличная шея, великолепная шея, — проговорил человек у него за спиной.

Накамура обернулся и поднял взгляд. Волосы стали седыми, короткими и колючими, тело располнело, зато лицо, пусть чуть больше обвисло и улыбалось сейчас, так и осталось акульим плавником.

— Я должен был увидеть вашу шею. Просто должен был убедиться, что вы именно тот человек, которого я представлял. Вот видите, я никогда ничего не забываю.

Поймав вопросительный взгляд Накамуры, Кота пояснил:

— Кое-какие старые соратники по Маньчжоуго сочли, что здесь я смогу принести кое-какую пользу.

Остальное собеседование стало для Накамуры формальностью, словно все давным-давно было

---

[78] Примечания: 78

«Уми юкаба» — японская военно-патриотическая песня из семи начальных строк стихотворения поэта Отомо-но Якамоти, которые были положены на музыку в 1880 году. Позднее вошла в «Марш военных кораблей» (1900), ставший официальным маршем бывшего императорского флота, Морских сил самообороны Японии; в тех случаях, когда марш исполняется со словами, исполняется и семистишие «Уми юкаба» (*пер. с англ.*).

определено. Когда он уходил, Кота поздравил его с новым местом работы. Вернувшись вечером домой, Накамура едва не рыдал, рассказывая Икуко о том, что произошло.

— Что, — вопрошал он Икуко, — может подготовить к такой доброжелательности?

* * *

Много десятилетий спустя молодой японский журналист националистических взглядов, Таро Отомо, пожелав исправить множество накопившихся неверных представлений о роли Японии в войне за Великую Восточную Азию, отправился интервьюировать прославленного солдата, Сиро Кота, которому ныне было сто пять лет. Он прочел несколько статей Кота, которые публиковались в 1950-х годах в журналах, имевших отношение к дзен-буддизму, где говорилось о глубокой духовной основе японского понятия *«бусидо»*[79]. Кота утверждал, что именно так японцы (вдохновленные дзеном) оказались в состоянии уяснить, что в конечном счете нет никакой разницы между жизнью и смертью, и это наделило их столь

[79] Примечания: 79

Букв.: «путь воина» (*яп.*), слово, определяющее образ жизни самурая, своего рода обозначение рыцарства.

грозной военной мощью, несмотря на недостаток материальных ресурсов. Однако когда Таро Отомо в сопровождении местных официальных лиц и бригады местного телевидения явился поздравить Коту со стопятилетием, дома никого не оказалось.

Таро Отомо был молод и сообразителен, он проявил настойчивость и нанес визит старшей дочери Коты, Реко, чтобы убедить ее в своих благих намерениях в надежде через дочь получить доступ к старому ветерану. Увы, Реко обескуражила Таро Отомо, заявив, что отец не расположен беседовать с людьми незнакомыми, тем более о войне и своей службе, которую так легко представить в неверном свете. «Он пытается в старости своей сделаться живым Буддой», — сообщила она Таро Отомо.

Отомо было ясно, что Реко ее отец мало интересует. Решив, что лучше действовать в обход нее, он с некоторыми из своих друзей-националистов взялся за организацию празднования стопятилетия Коты. Это было бы уважительно и достойно, имело бы целью воздать почести ветеранам войны, а заодно и во всеуслышание заявить о ложно понимаемой духовной основе войн Японии в двадцатом веке. Но всякий раз,

когда Отомо являлся с визитом к Коте, дома, похоже, никого не оказывалось. Что-то в поведении Реко и странном отказе Коты пустить его на порог стало раздражать Таро Отомо, и однажды вечером он высказал свое раздражение за бутылкой своему старому школьному товарищу, а теперь лейтенанту полиции Такеси Хасимото.

Хасимото учуял недоброе. Не без труда ему удалось проверить документы социального обеспечения и заметить, что Реко наделена правами поверенного в делах отца. Два месяца назад со счета Коты было снято два миллиона иен. Хасимото добился разрешения на проведение обыска в квартире Коты. В прошлом это был завидный район города, но дома, некогда фешенебельные, а потом оставленные без ремонта, в последние годы пришли в упадок. К стенам повыше первого этажа были привинчены грубые проволочные сетки — подхватывать падающую штукатурку. Поскольку двери лифта так и не пожелали открыться, Хасимото с тремя полицейскими пришлось взбираться на седьмой этаж по лестнице пешком.

В квартире, стены которой сплошь занимали книжные полки с поэзией, Хасимото обнаружил в постели мумифицированное тело древнего

старика. Не было никакого запаха. Старик был мертв уже много лет, а может, подумал Хасимото, и десятилетия. Левой рукой он дотянулся до расшитого цветами покрывала и очень медленно приподнял его. Жидкие фракции медленно разлагавшегося тела впитались в простыни, оставив на них густое темное пятно. В центре такого ореола лежал Сиро Кота с кожей, пергаментом натянутой поверх костей.

На тумбочке у кровати живого Будды (теперь уже мертвого) лежала старая книжка великого лирического дневника путешествий «Дорога далеко на север» Басё. Хасимото раскрыл ее на странице, заложенной высохшей травинкой.

«Месяцы и дни — путники вечности, — читал он, — а сменяющиеся годы — странники».

11

Майор Джон Менадью был командиром Джека Радуги, а потому он и должен был исполнить это дело, но у Джона Менадью не хватило на это мужества: у него никогда ни на что не хватало мужества, ни тогда на той Дороге, ни после возвращения в Австралию. Дорриго Эванс получил письмо от Бонокса Бейкера, где тот сообщал, что, насколько он наслышан, вдову Джека Радуги никто не навестил, что награды Джека, которые следовало ей передать, все еще у майора, который, выходит, так и не объявился. И вот через несколько месяцев после возвращения из медового месяца, когда Дорриго Эвансу уже стало ясно, чем оказался его брак и желать такого вообще-то не стоило, он сел на самолет, летевший рейсом на Хобарт. Джона Менадью он отыскал в пабе совсем рядом с рыбным магазином «Никитарис».

Там, в джунглях, Джон Менадью выяснил, что вожак из него никакой. «Есть люди вроде Матерого, кому такое дано», — думал Джон Менадью. Но не ему, что было непонятно, потому как отец говорил Джону, что тот вожак, а вожак человек или нет — определяется только характером. В

Хатчинской школе его уверяли, что он вожак, потому как лишь вожаки допускались в Хатчинскую школу. «Быть вожаком, — говорили ему, — это твой естественный удел, поскольку это естественный удел всех прирожденных руководителей, каковы все мальчики Хатчинской школы». Так мир продолжал его уверять, и Джон (и оттого, в какой школе учился, и оттого, какие у него были связи, и оттого, каким характером он обладал, и оттого, какой удел его ждал) пошел прямо в офицерское училище. Джон искренне верил во все это, считал самоочевидным, а самого себя прирожденным командиром, пока не попал на ту Дорогу. Тогда он пришел к пониманию, что главнейший его интерес не в том, чтобы помогать другим, а в спасении своей собственной жизни, и еще он понял, что отец был прав насчет характера, но ошибался насчет своего сына.

Что такое авторитет, Джон Менадью понимал. И в тот день, сидя в баре совсем рядом с рыбным магазином «Никитарис» с фунтом филе барракуды, при том, что ему удалось сохранить и внешнее благообразие, и саму жизнь, майор знал: авторитета у него нет ни на грош. Он старался понять, что же это такое, чему дано существовать в таком человеке, как Дорриго Эванс, презренном

бабнике и едва не уроде, одиночке, прячущемся в толпе, который ни в грош не ставит любую власть, за исключением той, какой обладает сам по какой-то оскорбительной прихоти божьей, и покровительству, которое он оказывал Джону Менадью, придавал самый обыденный вид, не имевший никаких особых последствий.

— Сожалею, виноват, — сказал Джон Менадью Дорриго Эвансу. — Я съездил к миссис Лес Уитл. И после этого уже не мог заставить себя повторить такое. Вы помните Леса?

— Помню. Он был замечательным Робертом Тейлором в «Мосте Ватерлоо». И играл он не с кем иным, как с Джеком Радугой, верно?

— Не помню. Вы слышали, как он умер?

— Нет.

— Кончилось тем, что он попал в лагерь в Японии. Рабский труд на япошек в угольной шахте под Внутренним морем. Они умирали с голоду. Когда война кончилась, янки стали сбрасывать на парашютах продукты в лагеря для военнопленных в тех местах. Освободительные войска из США сбрасывали стальные бочонки в сорок четыре галлона, наполненные едой. Те, покачиваясь, плавно спускались вниз, точно пушинки одуванчиков, как сказал один парень. Парни с

восторгом ждали. И тут эти сорок четыре галлона в стальных упаковках начали приземляться, проламывая крыши, раздавливая в лепешку все, на что падали. И один из этих бочонков в сорок четыре галлона, под завязку набитый шоколадками, приземился на Леса. Раздавил его до смерти. — Майор передал Дорриго Эвансу обувную коробку, в которой перекатывалось несколько медалей на лентах. На крышке коробки скотчем была приклеена бумажка с фамилией и адресом жены Джека Радуги.

— Что это за смерть? — произнес Джон Менадью, не сводя глаз с обувной коробки. — Умирающий от голода убит едой? Нашими же союзниками? Шоколадками. Господи боже мой, Дорриго, чертовыми шоколадками! Что тут скажешь?

— И что же вы сказали?

— Что положено. Наврал. Она очень достойная женщина. Маленькая такая, коренастенькая. Но — с достоинством. И она слушала мою ложь. И долго-долго ничего не говорила. Потом сказала: «Я по-настоящему никогда его и не знала, понимаете. Вот в чем беда-то. Мне было бы легче, если б я его знала».

Жена Джека Радуги жила неподалеку от Нейки, в нескольких милях от небольшой деревушки,

притаившейся в лесу на склоне горы повыше Хобарта. Услышав, как Дорриго Эванс выспрашивает дорогу, бармен представил его невысокому человеку, который водил грузовичок пивной компании, доставлявший товар, и которому было по пути. Он согласился подвезти Дорриго до места и забрать оттуда на обратном пути часика через два.

Едва выехали из Хобарта, как пошел снег. У грузовичка был один дребезжащий дворник на ветровом стекле, расчищавший небольшой клинышек, в котором проглядывал зимний мир, где эвкалипты и громадные папоротники диксонии антарктические, отяжелев от свежевыпавшего снега, склонялись над дорогой. Все остальное исчезло в белизне, как заметил Дорриго Эванс, и мысли его подались туда же. Он вскинул руку и резко распрямил пальцы в воздухе, стараясь понять, не было ли иного, неведомого ему способа остановить кровотечение из бедренной артерии. Пальцы его расталкивали и захватывали пустоту, холод, белизну, ничто.

— Замерзли, а? — спросил пивной водитель, заметив, как пассажир задвигал пальцами. — Я потому и вот в этих езжу, — водитель поднял с баранки руку в шерстяной перчатке. — Иначе

того и гляди окочуришься от поганого обморожения. Скотт[80] в чертовой Антарктике — это я и есть, приятель.

Они ехали в гору через Ферн-Три и мимо Нейки. Когда перевалили на дальнюю сторону гряды, водитель высадил Дорриго Эванса у входа на ферму, представлявшего собой две зеленые, поросшие лишайником стойки и сломанную калитку, створка которой валялась у засыпанной снегом дорожки. На вид ферма казалась полуразрушенной, а белизна и напряженная тишина, порожденные снегом, вызвали ощущение, что место это покинутое. Ограда и рамы для хмеля покосились, а кое-где и попадали. Навесы казались шаткими, а небольшая дощатая сушилка для хмеля провисла.

Хозяйку он нашел в маленьком бетонном сарае для дойки, где она сбивала масло. На ней была хлопчатобумажная юбка с каймой из красных гибискусов и старый домашней вязки шерстяной свитер, протершийся на одном локте. Голые ноги ее были небриты и покрыты синяками. Как пока-

---

[80] Примечания: 80

Скотт Роберт Фолкон (1868–1912) — английский исследователь Антарктиды. В ноябре 1911 г. с четырьмя спутниками отправился к Южному полюсу и достиг его 18 января 1912 г. На обратном пути все пятеро погибли.

залось Дорриго, с лица ее не сходило выражение рухнувших надежд, дрожащая линия рта расходилась с обоих уголков на тонкие морщинки.

Он назвал себя и номер своей части и не успел больше и слова сказать: хозяйка повела его через кухню, где было тепло от потрескивающей посредине плиты, в гостиную, где было темно и холодно. Она обращалась к нему: «Сэр». Когда он сказал, что это совершенно не обязательно, стала называть его мистером Эвансом. Он сел в мягкое кресло, которое отдавало сыростью.

Через раскрытую дверь на противоположной стороне коридора он увидел ажурную деревянную панель, крашенную блестящей кремовой эмалью, до самого потолка, а перед ней железную кровать. Он надеялся, что она успела познать счастье с Джеком. Представил себе их в такую же зимнюю ночь, которая наступит всего через несколько часов, а они вместе, им тепло, наверное, глядят, как в спальне в камине над горящими угольями исчезают последние язычки пламени, Джек попыхивает сигаретой. «Пэлл-Мэлл», конечно.

12

— У нас пятеро детей, — сказала она. — Два мальчика и три девочки. Малышка Гвенни — вылитая копия отца. Младшенький, Терри, родился уже после того, как Джек ушел на фронт, он отца никогда не видел.

Повисло долгое молчание. Дорриго Эванс в своей медицинской практике приучился ждать, пока люди скажут то, что им и вправду хочется сказать.

— Не выношу быть одна, — проговорила она наконец. — От одиночества меня охватывает жуткий страх. Когда он ушел на войну, я спала вместе со всеми детьми. — Она улыбнулась воспоминаниям. — Вшестером в одной постели, черт возьми. Смешно, а?

Засвистел чайник, и она исчезла на кухне. Он пожалел, что позволил ей снять с себя армейскую шинель. Вернулась она с чаем в щербатом зеленом эмалированном чайнике и остатками большого кремового торта.

— Сейчас так тихо, — сказала она, — это оттого, что снег выпал. Как громадное одеяло. Вот почему я люблю, когда детишки рядом. Но малыши се-

годня у сестры Джека, а большие в школе. — Она помолчала. — Джек любит снег, а я, господи, от него так мерзну…

Она предложила ему торт, но он отказался. Она поставила тарелку с тортом на маленький столик сбоку, несколько секунд смахивала указательным пальцем крошки с ее края, а потом, не поднимая взгляда, спросила:

— Вы верите в любовь, мистер Эванс?

Вопрос был неожиданный. Он понял: отвечать на него не нужно.

— Потому что, по-моему, вы ее сочиняете. В вас ее нет, вы не одарены ею. Вы ее сочиняете.

Она замолчала, возможно, ждала, что он на это скажет, но когда Дорриго Эванс и не согласился, и не возразил, она, похоже, осмелела и продолжила:

— Так мне кажется, мистер Эванс.

— Дорриго. Прошу вас.

— Дорриго. Это то, что я и вправду думаю, Дорриго. И мне казалось, что мы с Джеком, мы тоже собирались ее сочинить.

Она села и спросила, не против ли он, если она зажжет свет. Она никогда не зажигала его, когда Джек был рядом и дымил, как паровоз, призналась она, но сейчас…

— А то все кажется, что он здесь, а это вроде как-то помогает… понять, что нет его тут, и все. «Пэлл-Мэлл», а? — предложила она, доставая сигарету из ярко-красной пачки. — «Вудбайнз» — это не для Джека. Хоть чуть-чуть шика, чтоб мириться со всей этой хренью. Он всегда был какой-то заторможенный, Джек-то. Заторможенный и при этом закрутивший с бойкой женщиной, и бывало говаривал: какой дурак не будет счастлив?

Она затянулась, положила сигарету в пепельницу и уставилась на нее. Не поднимая взгляда, сказала:

— Но вы-то сами верите в любовь, мистер Эванс?

И раздавила кончик сигареты в пепельнице.

— А вы?

Там, за окнами, подумал он, за этой засыпанный снегом горой целый мир миллионов людей. Он представлял себе их — в их городах, на жаре и залитых светом. И представлял себе этот домик, такой заброшенный и одинокий, такой уединенный, ему подумалось, что когда-то этот домик, должно быть, показался ей и Джеку, пусть и очень ненадолго, чем-то вроде вселенной, в центре которой они двое. И на миг он оказался в «Короле Корнуолла» с Эми в номере, который

они считали своим: с морем, солнцем и тенями, с белой облупленной краской на раме стеклянных дверей, с ржавым замком, с послеполуденным ветерком и ночью, пронизанной шумом прибоя, — и вспомнил, как когда-то им тоже это казалось центром Вселенной.

— Я нет, — сказала она. — Нет, не верю. Мир тесен, вам так не кажется, мистер Эванс? У меня есть подруга в Ферн-Три, она учит игре на фортепиано. Очень музыкальна, она-то. Мне-то самой медведь на ухо наступил. И вот однажды она мне рассказывает, что у каждой комнаты есть звучание. Просто надо его найти. И принялась рассыпать трели, и вверх и вниз. И вдруг одна нотка вернулась к нам, просто отскочила от стен, поднялась от пола и заполнила все помещение таким превосходным звуком, словно песня без слов. Похоже на то, как сливу бросишь, а сад шумит тебе в ответ. Вы не поверите, мистер Эванс. Эти две совершенно разные вещи: звучание и комната — находят друг друга. Звучало это… *уместно*. Я глупости говорю? Вам не кажется, что именно это мы и называем любовью, мистер Эванс? Звучание, которое доносится нам в ответ? Что отыскивает нас даже тогда, когда мы не хотим, чтобы нас нашли? Что в один прекрасный день

нам попадается кто-то, и все, что есть в этом человеке, неведомым образом возвращается к нам звучанием песни без слов. И ложится на душу. Оно прекрасно. Я совсем не умею выразить это в словах, верно? — вздохнула она. — Со словами-то я не в ладах. Но это именно то, чем мы были. Джек и я. На самом-то деле мы не знали друг друга. Не уверена, что все в нем мне нравилось. Полагаю, что-то во мне его раздражало. Только я была той комнатой, а он был тем звуком, а теперь его нет. И все молчит.

— Я был рядом с Джеком, — начал он. — Под конец. Он очень хотел покурить. «Пэлл-Мэлл», разумеется.

13

Весь матрас сбился комками, а в середине его образовался небольшой провал, не очень удачно заложенный старой футболкой с эмблемой какой-то хобартской команды. Он повернулся на бок, стараясь улечься по контуру матраса, его высохших рек и долин, склонов, впадин и оврагов. Угнездившись на матрасе, он припал к ней, упершись коленями у нее под коленями, прижав бедра к ее бедрам и положив руку на изгиб ее бедра, обвил ее и так держал. Огромное, казалось, облегчение: выговориться столь о многом, что не давало покоя обоим, ничего не перепутав в словах. Ей невыносимо было быть одной. Возможно, они лежат вместе, чтобы согреться. Возможно, жмутся друг к другу, стараясь отрешиться от молчания. В надежде, что отзовется тот звук. При том, что оба знали: тот, кто лежит рядом, понимает, что он не отзовется никогда. Слышно было, как тающий снег начинает шуршать по железу крыши. Тепло, его вполне хватало на то, что он с нею. Наверное, ничего другого и не было. Он ощущал свой чудовищный возраст. В июле ему стукнет тридцать четыре. Они жались друг к

другу без слов, пока он не услышал, как бибикает возле дома пивной грузовичок.

После того как он уехал, она бросила медали в топку плиты. Спустя несколько дней она выгребала золу и какое-то время никак не могла понять, что за оплавленный слиток оказался в печном совке, когда она выбросила золу в загон для несушек. Через девятнадцать лет нагрянули большие пожары 67-го, сжигая все на своем пути. Ферма хмеля, которой уже управлял ее сын, ее деревянный домик и его кирпичный (поновее) дом, их с Джеком фотографии — все сгинуло в огне. И поверх бывшего когда-то медалями слитка, там, где стоял когда-то наполовину ушедший в землю загон для кур, лег новый слой золы. Годы спустя на этом месте выросли чистоуст, кизил и мирт, а потом на месте мечты всей жизни Джека встал лес, и лес стал сбрасывать листву, кору и ветки, так что через еще какое-то время зола исчезла под покрывавшими ее слой за слоем перегноем, торфом и новой жизнью.

Она вышла замуж за парня моложе ее, который хорошо относился к ней, а она — к нему, только это было совсем не то же самое, что было у них с Джеком Радугой. Новый муж погиб в аварии на тракторе, так что его она тоже пережила.

К концу жизни она поняла, что уже не в силах вспомнить, как выглядел Джек. Ни как звучал его голос, ни чем он пах, ни как он прижимался к ней и ласкал ее, неспешно попыхивая сигаретой («Пэлл-Мэлл», разумеется), пока она засыпала. Иногда ей вспоминалось звучание комнаты. Но она никак не могла удержать запах, мысль или звук, а сон уносил ее куда-то глубже и еще дальше. Она пыталась, но не могла припомнить ничего, кроме небольшого отрезка времени (совсем коротенького), когда ей не было ни одиноко, ни холодно.

Пока грузовичок катил обратно с горы, Дорриго Эванс разговорился с пивным водителем, как порой бывает между незнакомыми людьми, не вдаваясь в объяснения, зачем оказался в этих краях.

— Что-то у них было, — говорил он. — Он мертв, а я жив, но у него было то, о чем я никогда не подозревал.

— И что же?

— Он был частью пары, — выговорил Дорриго Эванс.

— Парой, — хмыкнул пивной водитель. — Мои родители были парой. А мы с моей… у нас вроде

как день «Д»[81]. Круглые сутки.

Он дважды переключил скорость, только что не встал на педаль тормоза, заставляя грузовичок ползти, одолевая один из множества крутых поворотов, образовавшихся на дороге, которая, извиваясь, ползла через лес. Когда дорога пошла прямо, он опять поставил грузовичок на вторую и продолжил разговор.

— Но — пара? Точно говорю, нет. Она женщина хорошая. Но — любовь?

— Любовь, — кивнул Дорриго Эванс. — Да, полагаю, любовь.

Милю-другую пивной водитель о чем-то раздумывал. А потом сказал:

— Наверно, полно людей, которые любви и не знавали никогда.

Такая мысль никогда не приходила Дорриго Эвансу в голову.

— Наверно, да.

— Может, наши лица, наши жизни, наши судьбы, наши счастья и несчастья — все это нам просто даровано. Кому-то достается много, кому-то все выходит боком. То же самое и с любовью.

---

[81] Примечания: 81

Исторически: День высадки союзных войск в Нормандии, открытие полномасштабного второго фронта в 1944 г. *Здесь:* Начало боевых действий.

Вроде как разного размера стаканы для пива. Тебе достался большой, ты всех обскакал, ты его пьешь, а его как не бывало. Ты знаешь ее, а потом не знаешь ее. Может, от нас с ней ничего и не зависит. Никто не строит любовь, как строят стену или дом. Ее подхватывают как простуду. От нее страдают, а потом она проходит, и притворяться, будто это не так, и есть дорога в ад.

— То есть?

— Петлять приходится, — сказал водитель грузовичка. — Вы откуда, говорите, приехали?

— С материка.

— Так я и думал, — бросил водитель грузовичка, для которого это признание, похоже, стало и объяснением и концом очень уж личного разговора.

Когда самолет, летевший дневным рейсом на Мельбурн, накренился и выровнялся, Дорриго Эванс увидел в иллюминатор заснеженную гору на фоне идеально голубого неба. «Мир существует, — подумал он. — Он просто есть». Потом гора исчезла в белизне, и мысли его, как ему показалось, подались туда же. Он вскинул руку и резко распрямил пальцы в воздухе, как будто мог бы еще вовремя пережать бедренную артерию.

— Чувствуется, как тут холодом несет, — произнес приятный голос в коконе близости,

образовавшемся внутри оглушительного рева мощных винтомоторных двигателей. Повернувшись, Дорриго Эванс впервые заметил, что рядом с ним сидит привлекательная женщина. Ее блузка из ткани с узорами цвета спелой кукурузы на голубом фоне открывала начало ложбинки, подчеркнутой вздымающимися округлостями очень белой груди.

— Чувствуется, — согласился он.

— А куда вы летите? — спросила она.

Он улыбнулся.

— У вас руки по виду совсем замерзли, — проговорила она.

— Петлять приходится, — сказал он, неожиданно осознав, что держит пальцы растопыренными вверх, расталкивая и захватывая пустоту, холод, белизну, ничто.

Наша жизнь – крыша ада,
по которой шагаем,
любуясь пышностью цветов.
Исса

1-5

Несколько недель в горле Тендзи Накамуры слышались непонятные хрипы, и как-то после долгого собеседования, на котором утверждали кандидата на должность заместителя главного бухгалтера (в принятии таких решений он теперь участвовал), он потер свою одеревеневшую от напряжения шею и наткнулся на странное вздутие. Он и внимания на нее не обратил: разумеется, это было естественно, потому как дел у него по работе в отделе кадров оказалось больше обычного, к тому ж на подходе была должность старшего управляющего, так что никак нельзя было отвлекаться на раздумья о болезни.

Увы, горло беспокоило все больше. Когда же он начал замечать, что больно стало глотать еду, он до крайности сократил свое питание и перешел на диету, состоящую главным образом из супа *мисо*. И только когда началось кровохарканье, он сдался и пошел к врачу. Диагноз был однозначным: у Накамуры рак горла.

Опухоль удалили, и хотя операция несколько неблагоприятно сказалась на его голосе, На-

камура выдержал удар с честью. Приучился относиться к себе как к спасенному и носился со своим новым тоненьким и гнусавым голоском, как с почетным отличием. Его переполняло ощущение невероятного везения. Однако три месяца спустя, проведя пальцем по шее, он наткнулся на небольшой желвак, упругий и странный. Мысль о нем он выбросил из головы. Но желвак рос, потребовалась новая операция плюс радиационная терапия, после чего Накамура ослаб и на вид сильно состарился. Ему выжгли слюнные железы, и теперь он мог глотать только разжиженную пищу, да и то с трудом. Благодаря этим испытаниям Накамура узнал наконец, какой необыкновенной женщиной была Икуко. Она целиком посвятила себя уходу за ним, неизменно была благожелательна и заботлива и, казалось, не замечала его высохшего и тщедушного тела. Оправляясь от тяжелых последствий своего лечения, он все больше стал ценить то, как свежо и приятно от нее пахнет, какой блестящей остается ее кожа, словно бы самое тело ее было кладезем пользы. Порой он чувствовал, что просто потрясен излучаемым ею здоровьем, которое, похоже, наилучшим образом выражала ее, казалось, не сходившая с губ ленивая улыбка.

Каждое утро перед уходом на работу Икуко вставала на два часа раньше, чтобы позаботиться обо всем, что могло ему понадобиться. Он восхищался ее практической жилкой, но любил, чтобы она просто находилась рядом и ласково касалась его. Через какое-то время он готов был что угодно сделать, только бы она села рядом и нежно погладила его по лицу пальцами. И хотя она считала, что ничего не делать (так она это называла) — это попусту тратить время, в жизни Накамуры это самое «ничего» стало самым важным. Тогда страх исчезал, боль на короткое время делалась терпимой, и ему оставалось только гадать, как это он ухитрялся так долго не замечать достоинств жены.

И более, более того: ведь достоинства жены выявили так много хорошего в нем самом. Он переносил болезнь со стоицизмом и юмором. Находил время наведываться к другим, болевшим еще тяжелее, чем он, и даже сделал кое-что для благотворительной организации, устраивавшей обеды для престарелых. Он стал добрее и заботливее ко всем и каждому: к своей семье, друзьям, соседям, даже к незнакомцам. Тендзи Накамура был потрясен, открыв в себе такие залежи доброты. «Я, — решил он, — хороший человек». И эта

мысль невероятно утешала и успокаивала его, болевшего раком, что изумляло всех, кто его знал.

2

Как раз, когда Тендзи Накамура восстанавливал силы после болезни, когда он пришел к осознанию, насколько был счастлив в своей жизни, и отыскало его письмо от Аки Томокавы, который служил в его взводе на железной дороге. Старый его капрал уже несколько лет разыскивал своего командира и писал, мол, надеется, что это письмо наконец-то доберется до него.

Томокава всегда раздражал Накамуру узостью своих взглядов и подобострастием, но теперь он смотрел на старого капрала совсем другими глазами и видел в нем благородного и достойного человека, с кем их столько связывает. Накамуру тронула преданность Томокавы, которая казалась ему сродни доброте его жены, Икуко, доброте его дочерей, приходивших каждый вечер поговорить с ним, и которая требовала от него какого-то доброго поступка в ответ. С того самого дня на Синдзюку Расемон, когда Накамура прочел свою фамилию в списке подозреваемых военных преступников, он взял за правило избегать любых контактов с бывшими однополчанами и (если не

считать случая, который привел его к работе под началом Коты) он этого правила придерживался.

Однако теперь такое отношение показалось ему глупым и эгоистичным. Времена возмездия со стороны союзников давно прошли. Томокава, который в конце концов оказался на северном острове Хоккайдо, похоже, разыскал многих однополчан и знает об их судьбах, которые сложились по-разному. И не только об этом, но и о том, что группа инженеров-железнодорожников из их старого полка даже побывала в Таиланде (так теперь называли Сиам) и отыскала ржавый корпус первого паровоза, проделавшего путь по всему участку железной дороги Сиам — Бирма в 1944 году. Они восстанавливают его, имея целью вернуть локомотив в Японию, где его, возможно, выставят в святилище Ясукуни в честь их великого достижения.

Услышав об этом самоотверженном труде, Тендзи Накамура понял, что с возрастом он обрел много благ, в частности то, что больше не надо испытывать страх. А когда ушел страх, ему захотелось обрести гордость и разделить эту гордость с другими. Письмо Токомавы отметило в его сознании момент, когда он окончательно избавился от бремени страха, с которым жил со

времен Синдзюку Расемон. Невзирая на болезнь, Накамура решил съездить в холодный город Саппоро на дальнем севере, чтобы еще раз встретиться со старым однополчанином.

Когда он добрался туда в середине зимы, в городе полным ходом шли приготовления к празднику снега. В 1966 году Накамура видел по телевизору, что тон на празднике снега задавали чудища, которые с тех пор стали популярными персонажами японских кинофильмов и на японском телевидении. Когда он ехал в такси от аэропорта Саппоро до дома Томокавы, то видел солдат из Японских сил самообороны, помогавших делать гигантские ледяные скульптуры. Когда они проезжали мимо, водитель такси настойчиво называл каждую: Гамера, огнедышащая черепаха, Годзилла, Гигант Робо, Красная Кобра с огромным лбом и торчащими из пасти клыками, Мотра[82], гигантская гусеница, и император Гильотина с громадной головой и щупальцами. Ни одно из имен ничего не говорило Накамуре, но его восхищали изысканное японское мастерство, неукротимый японский дух, выраженный в

[82] Примечания: 82

Этот вымышленный персонаж предстает в японских фильмах и комиксах в виде гигантской бабочки, хранительницы Земли, ярого врага Годзиллы.

такой тщательной работе.

Томокава жил в высотном доме, построенном государством, и Накамура потерялся в этом комплексе. К тому времени, когда он разыскал нужную квартиру, он совсем выбился из сил и продрог. И все-таки — Томокава! Как здорово было снова увидеться с ним! Он растолстел, полысел и, подумалось Накамуре, вроде стал меньше ростом, но — все тот же старина Томокава с головой, похожей на редьку, пусть редька немного и подпорчена пигментными пятнами, которые испещряли лицо старого однополчанина, вызывая в памяти Накамуры неясные образы какого-то пресмыкающегося. И если он был все еще несколько раздосадован, то Томокава до того обрадовался при виде своего старого командира, был до того откровенен и до того не изменился, что Накамура теперь решительно находил милым и даже обворожительным то, что раньше вызывало у него раздражение.

Жена Томокавы оказалась еще ниже мужа, к тому же у нее, к несчастью, была неестественно большая верхняя челюсть, и от этого иногда казалось, что она больше жует слова, чем произносит их. Несмотря на это (или как раз поэтому), она была уверенной в себе (немножко чересчур, на

взгляд Накамуры) женщиной, однако он предпочел увидеть в ее излишней фамильярности в обращении с ним свидетельство радушия и доброты, а то были достоинства, делавшие госпожу Томокава не вполне обыкновенной женщиной.

— Человек, наделенный такими талантами, командир, — бормотала госпожа Томокава, провожая его в гостиную, устроенную в западном стиле, вершиной которого служили два больших мягких кресла. — Солдат, бизнесмен и наш собственный Хокусай!

Тендзи Накамура скрыл замешательство за улыбкой, не разобрав, то ли женщина спутала его с бессмертным художником, то ли попросту зажевала половинку слова. Но не было никакой путаницы.

— Вы по-прежнему рисуете, командир?

Она держала в руках военную почтовую открытку и протянула ее Накамуре. На ней был нарисован небольшой портрет Томокавы, каким тот был в 1943 году на железной дороге. Стало ясно, что госпожа Томокава решила, будто это Накамура нарисовал, поскольку на обороте открытки рукой Накамуры были написаны приветствие и коротенькая фраза о том, что Томокава пребывает в наилучшем здравии.

За окнами день померк от снежных туч.

— Простите, — сказал Накамура, — но мне надо немного отдохнуть.

Он попросил разрешения сесть. Западные кресла он считал духовно грубыми и физически неприятными, сидеть в таком кресле было все равно что попасть в удушающие объятия какого-то чудища. Путешествие утомило его гораздо больше, чем он предполагал, а выписанный ему морфий, который он старался принимать в пути по минимуму, чтобы не выглядеть осоловевшим, похоже, подействовал на него сильнее обычного.

Появилось странное ощущение, будто его куда-то уносит и отдаляет, оно не было неприятным, и в то же время он ясно слышал каждый звук в комнате, ощущал каждый запах и даже движение воздуха. Мебель ожила, даже несчастные кресла стали для него живыми, и он чувствовал, что понимает все вещи, но всякий раз, когда он пытался выразить это понимание словами, оно ускользало. Неожиданно ему захотелось домой, но он понимал, что это невозможно, пока не будут исполнены все формальности его визита к Томокаве. Он прикрыл глаза и вдруг понял, что всюду вокруг него мир живет не так, как ему всегда казалось, и когда он открылся навстречу

этой радости, он понял еще, и что умирает.

3

Когда Дорриго Эванс стал соответствовать определению «мужчина средних лет», черты его стали все больше уходить от стандартов, в них все сильней проглядывали приметы Дон Кихота, как будто он переутомился и перенапрягся во всех смыслах, словно, как однажды выразилась Элла, громкость в нем врубили до отказа: на вид внушительный, но не от мира сего, а глаза странные, ищущие. Для его почитателей это лишь добавляло очарования, даже утонченности. Недоброжелатели же видели в этом лишнее подтверждение тому, насколько возмутительно он другой. Мужественная решимость оставалась при нем. Высокий рост и сутулость средних лет, как он понимал, зачастую ошибочно принимались за солидность, но Дорриго Эванс отнюдь не был неблагодарен за маску, какую позволяла носить такая путаница.

После войны он десятки лет чувствовал, что дух его спит, и хотя он упорно старался пробудить его потрясениями и опасностями последовательных (а порой и одновременных) супружеских

измен, а также проявлениями бессмысленного милосердия и безрассудными действиями хирурга, пользы это не приносило. Дух продолжал сладко спать. Реальность его восхищала, будучи врачом, он проповедовал ее и пытался следовать ей на практике. На самом же деле сомневался в ее существовании. Побывав винтиком в системе фараонова рабства, высшей точкой которой был божественный король-солнце, он пришел к пониманию, что нереальность есть величайшая сила в жизни. И жизнь его теперь, как ему казалось, была одной монументальной нереальностью, в которой все не имеющее значения: профессиональное честолюбие, погоня за статусом, цвет обоев, размер кабинета или получение постоянного места на автостоянке — наделялось величайшей значимостью, а все действительно важное: наслаждение, радость, дружба, любовь — задвигалось куда-то на задворки. Это делало жизнь по большей части скучной, а в целом — странной.

Выяснилось, что он больше не боится замкнутых пространств, толпы, трамваев, поездов: всего того, что томило его изнутри и отсекало свет, — зато теперь во многом другом ему виделось бегство от этого света. Он слишком много повидал, что-

бы и дальше страшиться всего остального, что наполняет вечера, дни, годы, порой лучшую пору жизни, но и это ему наскучило. Все же он терпел скуку, хотя и маялся ею на бесчисленных мемориальных обедах, завтраках для сбора средств, благотворительных мероприятиях, вечеринках с шерри и умопомрачительного ужаса званых обедах, а позже на заседаниях советов клиники и колледжа, всяких благотворительных организаций, клубов и обществ, которые уговорили его стать одним из покровителей.

Все это наводило на него скуку. Наводила скуку Элла. Наводили скуку друзья Эллы. Дом от усталости вызывал головную боль. Он сам на себя наводил скуку. Все большую и большую скуку наводила на него рутинная хирургия, к чему, он знал это, полагалось бы стремиться ответственному хирургу: сложности возникали как раз там, где не было рутины, там ничего не ладилось, там гибли люди, часто совершенно неожиданно, но порой жизнь там и спасали. Наводила на него скуку череда его супружеских измен, именно поэтому, убеждал он себя, он и добивался их еще более рьяно, воображая, что должна где-то быть та, кто разрушит чары оцепенения, ледяного сна его души. Случалось, какая-нибудь жен-

щина не понимала его и воображала будущую жизнь вместе с ним. Он быстро исцелял ее от недуга романтической влюбленности. За ним шла слава, что его интересуют только плотские удовольствия, хотя по правде не было ничего, что интересовало бы его меньше.

Чем глубже продвигался он в атаке, тем дальше отходила ветряная мельница. Он размышлял над идеей греков о каре как о постоянных неудачах в том, чего жаждешь больше всего. Так, стоило Сизифу вкатить свой камень на вершину горы, как он тут же скатывался обратно, и Сизифу приходилось возвращаться к подножию и повторять попытку на следующий день. Так, вечно испытывающий голод и жажду Тантал, который принес смертным пищу богов, волей богов был обречен стоять в озере и смотреть, как вода всякий раз, как он наклонялся напиться, уходит, а усыпанная плодами ветвь у него над головой поднимается вверх так, что ее уже не достать, всякий раз, как он тянется к ней сорвать себе что-нибудь поесть. Наверное, именно так и устроен ад, пришел к выводу Дорриго: вечное повторение одной и той же неудачи. Наверное, он уже там и находится. Подобно Сократу, искавшему бессмертную душу, когда он умирал, выпив цикуту, Дорриго искал

ту, что была его настоящей любовью, там, где она всегда отсутствовала: в других женщинах, которые не были Эми.

Когда пылу у него поубавилось, он обратился к театру чувственности, который сам же находил еще более безотрадным, чем секс без всяких прикрас. Это было смешно, курьезно, в это не верилось, и, уж конечно же, это не обсуждалось в мельбурнском обществе, ставшем теперь его семьей. Он с удовольствием посмеялся бы над самим собой в компании, но это было невозможно.

Он знал: внутри, упрятанный глубоко-глубоко, безмятежно спит неистовый вихрь, которого ему не понять, не достичь, вихрь, который еще и пустота, производство всего незавершенного. Он пил… а почему бы ему не пить? Несколько бокалов вина за обедом, иногда виски с утренним чаем, коктейль-другой «негрони» перед ужином (привычку, которую он перенял у одного американского майора, когда был в составе Оккупационных сил в Кобе), вино за ужином, потом коньяк и виски, еще виски после этого, и еще раз после. Теперь настроение его стало менее предсказуемым и управляемым и иногда делалось мерзким. Он нередко обижал Эллу словом, делал ей больно своим безразличием, раздражением

по отношению к ее пристрастиям и привычкам. Он накричал на нее после похорон ее отца без какого бы то ни было основательного (или хотя бы дурацкого) повода. Ему не хотелось ее любить, он не жалел, что не может ее любить, он боялся, что все-таки любит ее, но не так, как мужу следовало бы любить жену. Ему хотелось обидами довести ее до понимания, признания, что он ей не подходит, вызвать в ней отпор, который мог бы вырвать его из сна. Он ждал развязки, которая так и не наступила. И ее обиды, страдания, слезы, печаль мало того что не прервали зимней спячки его души — они лишь углубили ее.

4

Элла не понимала жизни без любви. Родители ее любили, и она искренне любила их в ответ. Ее любовь была попросту ею самой и сама, казалось, выискивала, на что бы ей излиться. Она выслушивала то, что Дорриго говорил ей о своих трудностях в больнице, горевала вместе с ним, когда у него умирал пациент. Она сочувствовала его борьбе с тупыми бюрократами, которые, по его словам, готовы довести до смерти не только его, но все здравоохранение Австралии, насаждая повсюду хирургов, отвергающих его методики.

Со временем из нее вышла поразительная пожилая женщина: крашенные воронового крыла волосы стали еще великолепнее и под стать темной коже, другие женщины восхищались ее изысканным спокойствием и стилем, равно как и сочувственным отношением к людям и ее легким характером. Полная фигура и лучезарное лицо придавали ее внешности живость, опровергавшую ее возраст. Мужчинам нравилось то, как она смотрит, как двигается, нравился вид ее смуглых ног летом, нравилось, что она так

заботливо улыбается, когда мужчины рассказывают о самих себе. Единственным изъяном в ее красоте был слегка вздернутый кончик носа, который обращал ее лицо, если взглянуть на него под определенным углом, почти в карикатуру. Большинство людей на самом деле вовсе этого не замечало. Зато Дорриго с течением лет замечал это все чаще и чаще, пока в некоторые моменты — утром, едва проснувшись, или когда приходил домой с работы, — вообще перестал замечать в ней что-либо другое.

Она до того безоглядно верила в Дорриго и в жизнь Дорриго, что повторяла его суждения, как свои собственные, и делала это так, что всякий раз его этим только расстраивала. «Проклятые бюрократы, — говаривала она, — они несут смерть, но только не пациентам». Или вдруг принималась ругать — не без подробностей — медицинское невежество иных недалеких хирургов.

Слушая ее, он не видел ничего, кроме ее слегка вздернутого носа, что делал лицо, казавшееся очень красивым, скорее комичным, и уже терзался подозрением, что на самом деле она совсем не красива, а скорее странновата на вид. И всякий раз, слыша, как она повторяет сказанное им месяц или неделю назад, он поражался как банальности

суждения, так и ее истовости повторять то, что, как он сам уже успел понять, было банально и глупо. И все же, если бы она посмела заметить, что то, что он говорит, банально и нелепо, как он вышел бы из себя от бешенства. Он нуждался в ее согласии, а заручившись им безоговорочно, презирал его.

Она и с детьми жила в согласии — к немалому раздражению Дорриго.

Дело родителей — заботиться о продолжении рода, говорил он ей, а дело детей — жить.

Говоря так, он пытался скрыть разочарование и невольно отводил взгляд от ее лица, чтоб не видеть один лишь кончик ее носа.

«Совершенно согласна с тобой, — говорила она. — Целиком и полностью. Если родитель не заботится о продолжении рода, то зачем мы здесь?»

Дорриго, дети, ее друзья и ее обширная родня — все они существовали для нее как способ обожествления мира. С ними он был местом куда большим и более чудесным, чем без них. Если она надеялась на такую же любовь со стороны Дорриго и если эта надежда оказалась тщетной, то в отсутствии надежды она не видела причины его не любить. В том-то и беда, что — любила. Любовь

ее была бездумна, но никогда не пасовала перед раздумьем. Да, любовь ее жаждала взаимности, однако в конечном счете не требовала его.

И все же, когда его не было по ночам, она лежала с открытыми глазами, не в силах заснуть. И думала о нем и о себе, чувствуя непомерную печаль. Возможно, она была доверчивой, но никак не глупой. Она повторяла его слова и вторила его суждениям не потому, что у нее не было собственных мыслей, а потому, что такова была ее натура, стремившаяся жить через других. Без любви — что стало бы с миром? Так, какие-то предметы, вещи, свет, тьма.

Проклятые бюрократы. Недалекий хирург. «О, тот бедняжка!» — восклицала она. Раз за разом. А потом — невесть отчего — плакала до тех пор, пока не оставалось сил плакать.

5

Несколько минут Тендзи Накамура не говорил ни слова. Пытался вернуть в памяти ту Японию, в какую верил до того, как пошел на войну, прекрасную, благородную Японию, которая помнилась ему сильной и крепкой духом, которой он служил со всей полнотой и чистотой сердца. Но что-то беспокоило его в воспоминании, как однажды в Сиаме военнопленный рисовал портреты его и его солдат, вот только почему беспокоило, он понять не мог, а усилие памяти или действие морфина означали, что он забудет обо всем, о чем только что думал. А думать сейчас он мог только о том, как, затмевая взор, вздымались над городом ледяные чудища, мимо которых он проезжал по пути к чете Томокава, ледяные чудища, мимо которых ему ехать обратно в аэропорт. Поняв, что Томокава говорит что-то, постарался сосредоточиться, но чудища, похоже, уже были в комнате.

— Знаете, — говорил Томокава, хотя Томокава теперь выглядел как чудище Гамера, — поначалу меня ужас брал, что меня возьмут как военного преступника. Бывало, думаю: «Вот шуточки!»

Потому как их заботило только то, что мы делали с пленными из числа союзников.

Накамура слышал голос Томокавы, но видел громадную черепаху, изрыгающую пламя.

— А когда я думал про все, что мы творили с китаезами в Маньчжоу-го, — говорила черепаха, дыша серой. — А как с их бабами забавлялись!

Накамура уже совсем пришел в себя и беспокойно заозирался вокруг, однако госпожа Томокава, понял он, на кухне, куда слова мужа не долетают.

— Ну, уверен, вы все это сами помните, — продолжала гигантская черепаха (это, вынужден был напомнить себе Накамура, на самом деле Томокава). — Вот я и думаю, что эти военнопленные еще легко отделались, еще гордиться должны тем, чего достигли с той железной дорогой и с нами. Но вешать нас за это, а не за то, что мы китаезам устраивали! Честно скажу: это против всякой разумности. Так мне, во всяком случае, кажется.

В комнату вернулась госпожа Томокава, принесла еду, и Томокава, который вдруг опять принял человеческий облик, сменил тему. Однако Накамура все время раздумывал о том, что сказал Томокава, и о мудрой сути его слов. Ведь они за пятнадцать месяцев построили желез-

ную дорогу, на которую, как уверяли англичане, должно бы уйти впятеро больше времени. Он потер шею, на которой новый как раз в тот день вырос желвак (или так показалось Накамуре), поскольку он был убежден, что чувствует, как у него внутри ежедневно и ежечасно растет комок и ежеминутно поедает его. Он, разумеется, старался об этом не думать. С трудом, но все же удавалось выбросить это из головы, а вместо этого сосредоточиться на том, что заботило его все больше и больше: на войне. Потому как и это тоже в нем разрасталось.

Им приходилось сражаться с болезнями, голодом и воздушными налетами Союзников. Не так-то было легко заставить больных работать, но как построить железную дорогу, если уповать только на почти несуществующие ряды здоровых? Он понимал, что однажды его могут обвинить в смерти, наверное, сотен *ромуся* и военнопленных. Скольких? Он и понятия не имел, сколько их было.

Только в бескрайних джунглях, где с транспортом было трудно, а болезни и смерть стали ежедневными попутчиками, он знал, что беззаветно исполнял свой долг с преданностью и честью. Железная дорога стала торжеством

японского духа. Они показали, что дух способен восторжествовать там, где европейцы со всей своей недосягаемой техникой не осмелились даже предпринять попытку. Они, японцы, не имея мощностей по производству железнодорожных рельсов, разобрали стратегически незначимые пути по всей империи: на Яве, в Сингапуре и Малайе, — а потом перевезли их в Сиам. Не имея тяжелой строительной техники, они, японцы, нашли опору в чудесах, которые дух способен сотворить с телом. Не в его власти было остановить смерти, потому что железную дорогу необходимо было построить во имя императора, и никак иначе железная дорога не могла быть построена. Он вспомнил о своих и Томокавы однополчанах, и печаль, в которую он погружался, придавала благородства гибели тех, кто умер от болезней в джунглях, так и тех, кто позже был повешен американцами.

Мысли его спешили прочь от повешенных и беспорядочно уносились к его детству, и тут он пытался ужиться с ребенком, который прожил жизнь, руководствуясь неким негласным естественным порядком. Но он знал, что он уже не тот ребенок: так или иначе, но где-то он порвал с детским восприятием мира. И опять: он слышал

голос Икуко, видел ее раздражающе глупую улыбку, им овладевал стыд вкупе с ужасом. Все, что он полагал правильным и истинным, оказалось неверным и ложным — и он сам вместе с этим. Но как такое оказалось возможным? Как жизнь могла привести к такому? Он стал страшиться своей неминуемой смерти не потому, что умрет, а потому, что почувствовал: по сути, он никогда не жил так, как хотелось. И Тендзи Накамура не мог взять в толк, почему это было так.

Он понимал, что где-то в той добродетели, какую жена и дочери любили в нем, в той добродетели, что спасала жизнь какому-нибудь комару, была та самая непоколебимая добродетель, что позволяла ему посвятить свою жизнь, невзирая ни на какие муки и сомнения, империи и императору. И та добродетель не была похожа на исполненную терпения заботу Икуко, вставшей за два часа до работы и касавшейся пальцами его щеки. То была иная добродетель, и ее воплощением был император — и теперь, и в будущем. Ради будущего и ради императора Накамура проливал чужую кровь и с готовностью пролил бы свою собственную. Он убеждал себя, что, служа этой грандиозной добродетели, обнаружил в себе не одного человека, а множе-

ство, способность совершать ужаснейшие вещи, которые, возможно, посчитал бы злом, если бы не понимал, что они служат наивысшей добродетели. Ведь больше всего он любил поэзию, а император… то была поэма из одного слова (возможно, думал он, величайшая из поэм), поэма, объемлющая Вселенную и превосходящая любую мораль и любые страдания. И, как и всякое великое искусство, она была вне границ добра и зла.

И все же, так или иначе (каким образом, в это он старался не углубляться), эта поэма обратилась в ужас, в чудовищ, в трупы. И он знал, что отыскал в себе почти неисчерпаемые возможности подавлять жалость, заигрывать с жестокостью так, что это доставляло ему откровенное удовольствие, потому как ни одна человеческая жизнь и близко ничего не стоила рядом с той грандиозной добродетелью. Какое-то время, пока его пожирало гнетущее кресло Томокавы, он гадал: а что, если все это было маской для ужаснейшего из зол?

Мысль была слишком ужасна, чтобы держать ее в голове. В один из все более редких моментов просветления Накамура понял, что в его теле неминуема битва не между жизнью и смертью, а между его видением себя как хорошего человека и этим кошмаром из ледяных чудищ и ползу-

щих трупов. И с той же железной волей, что так хорошо служила ему в сиамских джунглях, на развалинах Синдзюку Расемон и в Банке крови Японии, он решил, что отныне должен представлять себе дело своей жизни, делал которое хороший человек.

Неожиданно сознание его разом прояснилось. Он всегда отдавал свои силы и способности на благо империи и императора. Пожалел, что не может сказать детям, что уходит с миром и готовностью в страну мертвых, где его ждут родители и товарищи по оружию. Впрочем, все труднее и труднее становилось держаться представления о собственной добродетели. Оно едва не рухнуло совсем, когда Икуко коснулась его, когда он увидел, что ее кожа все так же прекрасна и в ее возрасте, как и ее слегка глуповатая улыбка, и Накамура понял: того, что составляло ее добродетель, у него ни в душе, ни за душой нет. Он постарался припомнить то доброе, что свершил в жизни (отдельно от воли императора, приказов и повелений) и из чего можно бы составить новое представление о добродетели, которое, возможно, стало бы подтверждением добродетельной жизни. Вспомнилось, как предложил хинин доктору-австралийцу. Как пришел в отчаяние от

жестокости избиения. Но эти мысли потеснила общая безнадежность, замешанная на образах живых скелетов, медленно бредущих под дождем в грязи, и среди чудищ в квартире Томокавы он стал повсюду различать эти ползущие трупы в потоках проливного дождя и языках адского пламени. И Тендзи Накамура понял, что те, кто обитал в тех ужасных телах, ничуть не радушнее встречали смерть, чем встретит ее вскоре его собственное тело.

— Помните того заключенного-художника? — спросил Томокава. — Я говорил ей, что это не вы, но она и слушать не хочет. Тот австралийцем был. Тогда еще с тем сержантом повсюду таскался. Тем, что, бывало, пел по ночам. Сколько ж ужасов они про нас понарассказывали! А заключенные песни пели… не так уж, значит, и плохо было.

«Как мы жили», — подумал Накамура.

— Самое счастливое время в моей жизни, — сказал Томокава.

За пределами мыслей Накамуры снег плотно заметал весь мир, нескончаемо, стирая все сущее. Вскоре он умрет, и все доброе и все злое обратится в ничто. Чудища растают и стекут в черный океан. На миг показалось, что он учуял запах ДДТ и многое увидел: Сато, поднимающий взгляд от

доски *го*, чтобы сказать что-то, вши, расползающиеся от тела мертвого парня, человек, что уже и не человек даже, лежит, скорчившись, в грязи на просеке. У него появилось трогающее душу чувство, будто в своей жизни он обманывал судьбу. Внезапно тело его вздрогнуло, и он проснулся. Он не представлял, сколько времени проспал.

— Хотите *суши* с карпом, командир? — спросила госпожа Томокава каким-то странным тоном, будто сжевала половину слов.

Никаких чувств Накамура не испытывал, а все ж тело его била дрожь, которая, казалось ему, передавалась тем самым больничным весам, когда на них положили сердце американца.

— Я их с рынка принесла. Немного солоноваты, но нам нравится, когда *суши* с карпом чуток солоны.

Накамура покачал головой.

Весной следующего года чета Томокава получила от госпожи Накамуры открытку с сообщением, что ее муж скончался. Она не стала писать им о его предсмертных бреднях, о его мелких капризах или злобных выходках по отношению к ней и дочерям, которые ухаживали за ним, даже за такие пустяки, как поглаживание его щеки или простую улыбку. Зато написала, как за ночь до

кончины, понимая, что время стремительно истекает, он, самочинный поэт, решил последовать традиции и принялся сочинять стихотворение смерти.

Скромный человек до самого конца, продолжала госпожа Накамура, муж бился несколько часов, однако, ослабленный болезнью, пришел к выводу, что ему не по плечу написать стихотворение смерти лучше Хякка, который, по его словам, выразил все его чувства, но гораздо прекраснее, чем такое когда бы то ни было удалось ему самому. Госпожа Накамура прибавила, что господина Накамуру на его последний поступок вдохновило прошлогоднее посещение зимнего Саппоро, поэтому она посылает копию им. Вся семья была с господином Накамурой в момент его кончины, сообщила госпожа Накамура. Родные знали его как доброго человека, которому невыносимо было видеть, как страдают даже животные. Он знал, что был человеком благословенным и счастливым, который вел добродетельную жизнь.

Госпожа Томокава взяла отдельный листок, на котором было записано стихотворение смерти, и прочла своему мужу:

Зимний лед,
тая, стекает чистой водой —

чисто в сердце моем[83].

[83] Примечания: 83

Стихотворение смерти, написанное монахом Хякка 20 февраля 1779 г. в возрасте 64 лет.

6

— Порой мне кажется, что он самый одинокий человек на свете, — заявила однажды Элла Эванс на ужине, устроенном правлением Коллегии хирургов. И все рассмеялись. «Это старина-то Дорри? — словно услышала Элла их мысли. — Всякому мужчине лучший друг? Сокровенное желание всякой женщины?»

Только он понимал: она знает. Он был одинок в своем супружестве, одинок со своими детьми, одинок в операционной, одинок во множестве медицинских, спортивных, благотворительных и ветеранских организаций, в работе которых участвовал, он был одинок, когда обращался к тысяче военнопленных, собравшихся на встречу. Вокруг него была вычерпанная пустота, непреодолимый вакуум плащом укутывал этого знаменитейшего в университетских кругах человека, словно он уже жил где-то в другом месте (вечно разворачивающего и сворачивающего свиток бесконечного сна или непрестанного ночного кошмара, понять было трудно), откуда ему никогда не выбраться. Он был маяком, свет кото-

рого нельзя было зажечь заново. В своих снах он слышал, как мать зовет его из кухни: «Мальчик, иди сюда, мальчик мой». Но когда он входил туда, там было темно и холодно, кухня встречала его обгоревшими балками, золой и запахом газа, а дома никого не было.

Впрочем, Дорриго Эванс отнюдь не считал свой брак пустыней. Вовсе нет. Хотя бы потому, что чувствовал: такое суждение выставит его брак как неудачу или наведет на мысль, что он не любит Эллу. И потом, их практически устроенный брак (устроенный, как всем известно, ими самими) они строили на любви. Когда он впервые встретил Эллу, оттого что именно брак так прочно сидел в головах у всех и каждого, он и видел Эллу только через призму будущей жены. В его юношеском сознании любовь и была так или иначе супружеством, расшитым строками поэзии. И в качестве жены человека, явно намеревавшегося сделать себе имя, Элла представлялась ему совершенством: любящая, заботливая, больше, чем даже он сам, настроенная увидеть его взлет. Элла находилась в полной гармонии с искусством разговора, и у нее хватало сцепок с литературой. Он решил, что все это и есть любовь, и, хотя после женитьбы очень скоро стало понятно, что это еще

не все, он смирился с тем, что так тому и быть.

А после, когда тело Эллы изменялось в лучезарные округлости, когда она вынашивала их детей, когда чудом были ее полные груди и темные соски, когда мысли ее были неожиданны, когда все в ней дышало чем-то небывалым и уж никак не скукой, он очень ее любил. До того как общий счет его измен сложился в то, что ей стало невыносимо спать с ним в одной постели, он припадал к ее спине, вдыхал ее запах и познавал покой, который во всем остальном бежал от него. Он даже не пытался ей объяснять, что для него секс не означает супружеской неверности, что для него ее знаком было спать с кем-то. А этого он не делал никогда.

Троих их детей — Джессику, Мэри и Стюарта — он любил тем сильнее, чем большее расстояние их разделяло. Его отношение можно назвать добросовестным пренебрежением: он не ожидал, что дети станут воспроизводить их отношения с Эллой между собой. Их враждебность и холодность другу к другу были для него невыносимы, это рвало ему сердце, он надеялся, что это не будет длиться вечно, умолял их не быть грубыми и черствыми, когда видел, как в них эхом отдаются грубость и черствость, с которыми он сам

относился к Элле. Он признавал, что не годится для отцовства, но держался до конца, потому как держаться до конца — это принцип, которым он руководствовался во всем. Он и сам не мог понять, не было ли это сдачей на милость собственного личного ужаса.

На людях они с Эллой вели себя как нельзя лучше и в таких случаях находили один другого восхитительными — и даже (услышал он на каком-то ужине признание Эллы) очаровательными. Очаровательными! И он восхищался ею и жалел ее за то, что она с ним. Он слышал, как она вполне искренне говорила друзьям, что война и лагеря не позволят ему уйти. Похоже, ей хотелось окружить его трагическим ореолом, и он, навидавшийся трагедий, сердился, что она может быть настолько наивной, настолько склонной к самообольщению любительницей сгущать краски, чтобы сделать из собственного мужа еще одного персонажа трагедии.

Он жалел, что она попросту не послала его к черту за то, кем он стал — мерзавцем. Увы, для Эллы это было бы чересчур в лоб, а кроме того, она любила его, так или иначе она решила махнуть на него рукой гораздо позже, чем он махнул рукой на самого себя. Она завела привычку носить

прическу, как у Франсуазы Арди[84], и курить сигареты «Собрание» в пурпурной обертке в попытке шиком установить дистанцию, вероятно, полагая при этом, что станет соблазнительной для него. Ее утонченность (а для него это всегда было самой привлекательной ее чертой) оставалась неизменной, хотя ее все больше обволакивали клубы ароматизированного дыма, вызывавшие в нем отвращение.

— Чего ты хочешь? — спрашивала его Элла, отняв от губ сигарету «Собрание», и то был вопрос, на который, говоря по правде, ответа не было. И когда он лгал, говоря: «Ничего», — или лгал, говоря: «Спокойствия», — или лгал, говоря: «Тебя», — или лгал, говоря: «Нас», — она обычно говорила: «Нет, чего ты хочешь на самом деле, Элвин? Скажи мне, чего? Чего?»

«А в самом деле — чего?» — раздумывал он.

— Ведь просто их тел, секса, ведь так? — говорила она, и ее спокойствие задевало его куда больнее, чем любой гнев. — Просто конец в дырку сунуть? — говорила она. — Ведь так?

Ее спокойствие, ее омерзительная прямота, ее непомерная грусть — так до этого он ее довел?

---

[84] Примечания: 84

Французская певица, актриса и астролог (род. в 1944 г.), знаковая фигура в области моды и музыки, особенно среди франкофилов.

— Это все, из-за чего ты суетишься? — говорила обычно Элла, выпуская новую струю дыма «Собрания». — Так?

Так ли? До чего ж отвратителен ему этот дым! Он боялся, что сделал ее грубой, какой она никогда-никогда не была. Он думал: почему мир устроен таким образом, что цивилизация каждый день совершает преступления, за которые любой отдельно взятый человек попал бы в тюрьму до конца жизни. И как люди принимают такое, то ли не обращая внимания и называя это текущими делами, политикой или войнами, то ли создавая пространство, не имеющее ничего общего с цивилизацией, и называя такое пространство частной жизнью. И чем больше в этой частной жизни они рвут с цивилизацией, чем больше эта частная жизнь становится тайной жизнью, тем свободнее они себя чувствуют. Только это не так. От мира не освободиться никогда, разделять жизнь — значит разделять вину. Ничто не в силах смыть того, что он чувствует. Он поднял взгляд на Эллу.

— Ведь в этом дело? — сказала Элла.

— Это не так, — сказал он.

Его ответ прозвучал высокопарно и невероятно для них обоих. Хуже того, прозвучал слабо, и Элла просто покачала головой. Она, вопреки тому, что

говорила, всегда предпочитала крепкие враки слабеньким истинам.

Помимо новой прямоты Элла в зрелом возрасте пристрастилась еще и к резким духам, запах которых, мешаясь с удушливым дымом «Собрания», создавал аромат временами возбуждающий, даже эротичный, но по большей части (и все чаще и чаще) затхлый и клаустрофобный, будто в гардеробе со старой одеждой, предназначенной для благотворительности. Как же он жалел, что она пользуется такими духами, что курит «Собрание», что делает прическу, как у Франсуазы Арди! Ведь во всем этом он ощущал маскировку ее смелости, ее гордости, ее громадной печали, до того болезненной, что трепет от нее расходился по всему дому. Как он жалел, что не сделал ее твердой!

7

В первые годы с Эллой он часто думал об Эми. Гадал, что же это было, что он познал с Эми. И не мог себе объяснить. Это казалось силой превыше любви. Их первую встречу он вспоминал как самую обыкновенную. Он заметил ее родинку над верхней губой, теряющуюся среди пылинок, не потому, что женщина была красива, а потому, что поразителен был ее вид сквозь столб пыльного света. Он думал об их странном разговоре не потому, что тот был чарующим, а потому, что тот немного его позабавил. Теперь он припоминал, что на следующий день, когда он вернулся в магазин купить Катулла, именно книга, а вовсе не девушка, гораздо больше запала ему в память. Случайная встреча с девушкой с красной камелией была забавным происшествием из тех, как ему казалось, которые предстоит довольно скоро забыть.

И если он не забыл ее в первые послевоенные годы, более того, если на какое-то время Эми сделалась главной причиной его существования, теперь и она стала уходить из его мыслей.

Пытаясь преодолеть изъяны памяти, он с невероятной грустью убедился, что погоня за прошлым неизменно ведет лишь к еще большим утратам. Сохранить жест, запах, улыбку значило сделать слепок чего-то отдельного, посмертную гипсовую маску, которая, стоит только ее коснуться, рассыпается под пальцами в пыль. И, пока с течением лет его память об Эми распадалась на атомы, Элла становилась его самым грозным союзником и самым надежным советчиком. Она утешала его, когда он выходил из себя от гнева, ободряла, когда он сталкивался с преградами, и мало-помалу, шаг за шагом память об Эми была неспешно похоронена в смятении и грязевом оползне жизни, пока не стало требоваться больших усилий вообще хоть что-то вспомнить о ней. Проходили целые недели, и он вдруг ловил себя на том, что совсем о ней не думал, потом это время растянулось на месяцы, а потом несколько месяцев могли пролететь без того, чтобы у него возникла о ней хотя бы одна мысль. На самом себе он стал чуять запашок того самого странного, укутывающего соучастия в совместном пользовании мелочами: едой, полотенцами, посудой и чашками, общей целью совместного проживания — которым некогда так отвратительно пропах Кейт Мэлвани.

Между ним и Эллой зрел заговор пережитого, словно воспитание детей, усилия поддерживать друг друга в практических и деликатных делах, да и накопленное за годы, а потом и десятилетия в ходе разговоров с глазу на глаз и мелочной интимности: запах друг друга при пробуждении, дрожащее придыхание друг у друга, когда заболевал кто-то из детей, болезни, горести и заботы, нежности, неожиданные и нескрываемые, — словно бы все это так или иначе связывало больше, было важнее и неоспоримее, нежели любовь, какой бы эта любовь ни была. Все-таки он был привязан к Элле. И тем не менее все это только усиливало полнейшее и самое неприступное одиночество Дорриго Эванса. Уединение настолько оглушало, что он снова и снова старался проломить его звенящую тишину еще одной женщиной. Даже когда его жизненные силы иссякали, он с донкихотским усердием отдавался распутному флирту. Если ни одна из таких связей не затрагивала его сердца по-настоящему, если в них таилась многоликая опасность, то тем больше ему это нравилось. Увы, это отнюдь не унимало пронзительный крик его одиночества, но лишь усиливало его.

Как давнее падение метеорита объясняет ны-

нешнее существование большого озера, так и отсутствие Эми придавало форму всему, даже когда (а порой и в особенности когда) он о ней и думать не думал. Он наотрез отказывался от поездок в Аделаиду, даже когда там проводились крупные медицинские или ветеранские мероприятия. Единственный раз он проявил интерес к уходу за садиком-цветником (во всех остальных случаях вверяя его заботам Эллы и садовника), когда при переезде в новый дом в Тураке выдрал с корнем большой куст великолепной красной камелии, вызвав у Эллы вспышку ярости. Его неувядающая неверность странным образом была верностью памяти Эми, словно бы, беспрестанно предавая Эллу, он воздавал почести Эми. Он не воспринимал это таким образом и пришел бы в ужас, если бы кто-то намекнул ему на такое, и все ж ни одна женщина из встреченных им в те годы не значила для него ничего особенного. Так что женщины приходили и уходили, сердитые, озадаченные, потрясенные, брак его сохранялся, работа продвигалась, а авторитет рос. Он возглавлял отделения, отраслевые вестники, национальные исследования в области здравоохранения, открыл для себя, что добрая воля людей зачастую находится в обратной зависимости от их положения,

и приходил в искреннее недоумение, когда на каком-нибудь ужине слышал, как некий оратор с явным расточительством описывает его, Дорриго Эванса, собственную жизнь как «блистательную карьеру». Ощущение уходило, оставаясь в тени недоуменного разочарования. Ему приходилось часто разъезжать: долгие периоды скуки и ожидания, перебиваемые ненужными встречами с людьми, точно так же страдавшими от головокружительных достижений. В бессонные ночи в герметично задраенных номерах, где неистребимо и неприятно пахло какой-то химией, он ломал голову, отчего все меньше и меньше людей вызывает у него интерес. Необъяснимо для него его репутация продолжала расти. Газетные очерки, телевизионные интервью, экспертные группы, правления, непреодолимая скука общественных мероприятий, на которых *он обязан был присутствовать*, до того пресных и бесконечных, что он опасался, как бы не различить кривизну Земли, если вглядеться попристальнее. «Мир существует, — думал он. — Он просто есть».

Однажды поздно вечером его вызвали в больницу для срочной операции по удалению аппендикса. Молодую пациентку звали Эми Газкойн.

– *Amie, amante, amour*, — бормотал он, размыва-

ясь перед операцией.

Услышал, как сестра, стоявшая у соседней раковины, привыкшая к декламациям хирурга, засмеялась и спросила, из какого это стихотворения. Когда они шли в операционную, Дорриго Эванс вдруг понял, что впервые за несколько лет намеренно подумал об Эми.

— Я забыл, — сказал он. Когда-то он похитил свет солнца и упал на землю. На миг ему пришлось отвернуться от операционного стола и взять себя в руки, чтобы никто не заметил, как дрожит у него в руке скальпель.

8

Именно в те годы Дорриго Эванс возобновил отношения с братом, Томом. В этом он нашел своего рода бальзам от одиночества, которое охватывало его во всем остальном, даже (а порой и больше всего) в отношениях с Эллой и детьми. Он выискивал время, которое мог бы уделить общению с Томом: раз в месяц по телефону, а со временем стал каждый год наведываться в Сидней зимой, — позднее, по мере того как росла его репутация и учащались наезды в Сидней, между ними возникла особая близость, которая бывает иногда между братьями. Общение стало непринужденным, позволявшим оставлять большую часть всякой всячины невысказанной, и поскольку неловкость и ошибка были совсем не существенны, и поскольку возникало невыразимое ощущение таинственного единения душ, выражавшегося в самой банальной болтовне. И хотя за пределами их кровной связи у них и не было почти ничего общего, Дорриго Эванс все чаще ощущал себя лишь одной из частей чего-то большего, его брат Том был другой, но столь же

неотъемлемой частью, их встречи служили не столько самоутверждению, сколько желанному растворению друг в друге.

Их отец пережил мать всего на несколько лет и умер от сердечного приступа в 1936 году, самый младший из семерых, Дорриго был мало связан со старшими братьями и сестрами, которых поиски работы разбросали по всей Австралии еще до Депрессии. Четыре сестры работали на шерстобитных фабриках в западных районах Виктории, по-настоящему он и не знал их никогда и приезжал только на их похороны в 1950-е годы, когда они одна за другой уходили из жизни, сломленные ею. На их детей и мужей он смотрел как на незнакомцев, но все равно помогал всем, если они к нему обращались. Последняя из сестер, Марси, при этом еще и самая старшая, которую он материально поддерживал больше десятка лет, умерла в Мельбурне в 1962 году от невыявленного рака. Самый старший из братьев, Алберт, который отыскал работу рубщика сахарного тростника далеко на севере Квинсленда, погиб при взрыве на сахарной фабрике в 1956 году. Том под конец оказался в Сиднее, жил в бездетном браке, работал в громадных мастерских железнодорожного депо Редферна, а выйдя на пенсию,

проводил время, выращивая овощи на своем крохотном огородике за домом, да состязаясь в дартс в местном пабе.

В феврале 1967 года Элла задумала отдохнуть недельку с детьми на Тасмании в доме своей сестры, которая недавно перебралась туда с мужем. Эти каникулы, продуманные и подготовленные без участия Дорриго, мыслились как яркий момент их совместной жизни, а на деле обернулись последним рудиментом их общности как семьи. Каждый внес свою лепту: Элла этот отдых задумала, он согласился, но обоим он вышел боком как своего рода наказание, известное под названием «время, посвященное семье».

В субботу они должны были лететь в Хобарт, а потому телефонный звонок, принесший весть, что у Тома сердечный приступ, вызвал у него смешанные чувства. С одной стороны, он огорчился, с другой — это давало ему уважительную причину удрать по крайней мере с пары первых дней на Тасмании. Ему удалось в тот же вечер взять билет на рейс до Сиднея, но в субботу Тома слишком напичкали успокоительным, чтобы разговор с ним имел хоть какой-то смысл. И только в понедельник Дорриго смог довольно основательно побеседовать с братом.

Том рассказал, что сердечный приступ свалил его в гостинице «Кент», как раз когда он собирался сделать бросок в яблочко.

— В яблочко?

— Как пить дать, — кивнул Том. — Чертовски неприятный способ отключиться, между прочим. В луже ссак на полу и с зажатым в кулаке дротиком. Я бы предпочел что-то более приватное вроде грядки с помидорами.

Брат казался необычайно разговорчивым, и скоро Дорриго сам глубоко погрузился в воспоминания об их детстве на Тасмании. Том завел бесконечную пластинку кливлендских историй, некоторые из них были известны Дорриго, многие же он никогда не слышал. Всплыло имя Жирдяя Йейтса, и Том вспомнил, как Жирдяй частенько хвастал, что может обогнать поезд. Припертый к стене требованием это доказать, он разделся до белых кальсон и пустился наперегонки с экспрессом Лонсестон — Хобарт по кливлендскому бушу мимо эвкалиптов и серебристой мимозы. Когда поезд, свистнув на прощание, скрылся за поворотом, направляясь к ответвлению на Конару, обессилевший Жирдяй пластом рухнул на землю и вынужден был признать свое поражение.

— Он был в каждой бочке затычка, этот Жир-

дяй, — усмехнулся Дорриго.

— Ему было уже восемьдесят пять, а он все танцует соло, — сказал Том. — Под конец «Лейланд P76c» отхватил. Машина, с которой невозможно расстаться. Уговорил похоронить его лежащим на пузе, чтоб все потом вечно его в задницу целовали. Только я всегда вспоминаю его несущимся через буш в длинных белых кальсонах. На жизнь похоже, верно? Думаешь, что обгонишь ее, что ты лучше ее, а она всякий раз делает из тебя дурака. Загоняет тебя в землю и летит прочь на всех парах, посвистывая и до чертиков собой довольная.

Братья рассмеялись.

— А ты знаешь, что Жирдяй был двоюродным братом Джеки Магвайра? — спросил Том.

Дорриго не знал. Он взволнованно заговорил о своих воспоминаниях про то, как читал стихи и советы Тетушки Розы Тому и Джеки Магвайру.

— Старина Джеки, — проговорил Том. — Отличный парень. Из самых лучших. Знал буш. Жена у него была темнокожей, ты знаешь?

Секунду-другую Дорриго вообще не мог вспомнить, какая у Джеки Магвайра была жена. Затем давно дремлющая память (в чем-то беспокоившая и воздействовавшая на него куда больше,

чем он догадывался) вытолкнула воспоминание на поверхность сознания. Хотя Дорриго и наслушался в свое время невнятных сказок про аристократическую испанскую кровь (одно из традиционных тасманийских алиби), он не знал, что она была аборигенкой, и это подтолкнуло его на вопросы, которые ему всегда хотелось задать.

— Возвращаясь к тому времени, столько лет назад. Перед самым ее исчезновением я видел тебя с ней.

— Миссис Джеки Магвайр?

— Ты ее целовал.

— Целовал? Где?

— У старого курятника за постоялым двором Святого Андрея.

— Я не целовал.

— Я вас видел. Она тебя обнимала.

— Я возвращался с охоты на кроликов. Она развешивала выстиранное белье. Делать мне было нечего, вот я и стал ей помогать. Сейчас-то я понимаю, что ей, должно быть, очень не по себе было. Но тогда ничего такого и в голову не приходило. Мы просто разговаривали. Всякие семейные истории. О людях. И я заговорил о том, о чем, честно говоря, ни с кем еще не говорил. О том, чего навидался. На войне. А потом чую

— уже невмоготу. Это я помню. Вдруг задыхаться стал, говорить толком не могу. Пропал. А она меня успокаивала, как маленького. Вот так вот примерно.

— Ты ей в шею лицом зарылся.

— Дорри, я плакал. Плакал, Бог свидетель.

— А что с ней случилось, Том? Почему она пропала? Мне все время хотелось узнать, что с ней сталось.

— Старина Джеки ее, случалось, поколачивал. Любил ее, но она была на двадцать лет моложе, счастья не знала, и он это понимал. Ну, что тут поделаешь? Тетушка Роза тут не поможет. Отличный малый, Джеки-то, но вот пристрастился к бутылке и устраивал ей выволочки. Насколько мне известно. Но куда она уехала, этого я не знал. Много лет не знал. Потом письмо от нее отыскало меня в Сиднее. Она уехала в Мельбурн, а потом, позже, в Новую Зеландию. Там, в Отаго, вышла замуж за какого-то каменщика. Больше о нем ни словечка. Если по-честному, то в письме вообще ничего сказано не было. Еще записка была приложена от ее дочери, которая сообщала, что мама просила переправить письмо мне после ее смерти. Только и всего. Думаю, оттого, что письмо могли читать другие, в нем не упоминался ни

старина Джеки, ни ее семья здесь, на Таськe[85].

Разговор перешел на матчи по регби, проходившие в Кливленде, на телегу Джо Пайка, на день, когда полковник Камерон вломился к нему в кухню с ружьем, гонясь за псом Тома, который, как уверял полковник, загрыз у него овцу, а Том вышел из спальни со своим ружьем и сказал: «Застрелишь моего пса — я сам тебя пристрелю».

Том подустал. Дорриго попрощался с ним, устроил брата поудобнее, заверил его, что тот в надежных руках, и ушел. Он был уже в коридоре, когда услышал за спиной хриплый старческий голос:

— Рут!

Дорриго Эванс замер и обернулся. В землисто-зеленом свете палаты увидел, что брат, пытающийся снова забраться на крутизну уложенных подушек, вдруг совершенно перестал походить на Тома: человека, который в сознании младшего брата всего миг назад сохранял в облике юношескую крепость и силу, — а теперь выглядел больным стариком.

— Ее звали Рут.

Дорриго Эванс стоял на месте, смотрел на чужа-

---

[85] Примечания: 85
Разговорное название Тасмании.

ка, бывшего ему братом, не совсем понимая, что брат имеет в виду или чего он хочет. Он вернулся в палату и присел у кровати Тома. Том пожевал губами, облизал их, готовясь вновь заговорить. Дорриго ждал. Том устроился поудобнее и, начав говорить, не глядел на брата, а уставился на дальнюю стену.

— Миссис Джеки Магвайр. Ее звали Рут, Дорри. Рут. И у Рут был ребенок.

Тут он умолк. Дорриго не говорил ни слова. Том опять приподнялся на подушках, хрипло откашлялся.

— Ага, ребенок. В июле 1920-го. Третий. Как она сохранила это в тайне, я не знаю. Но сохранила. Джеки был в отъезде, пытался работу найти на материке, думаю, нашел что-то такое в Диамантине, у него там кореш был. Джеки так никогда и не узнал про ребенка. Никто в Кливленде не узнал. Одевалась она все время, будто в мешке ходила… ну, ты помнишь, как жили тогда, не Париж, прямо средневековье какое-то, черт бы его побрал, обходились чем придется. Мне кажется, справилась она здорово. Ребенка родила в Лонсестоне. Мальчика. Его в Хобарт отправили. В тот день, когда я вроде как, ну, словом, разнюнился про войну, она утешала меня, как я уже говорил.

И рассказала мне про ребенка. Она тогда только-только узнала, что с ним приключилось.

— Но почему, Том?

Водянистые глаза Тома прояснились, хрупкое тело напряглось, и Дорриго почувствовал: что-то от человека, какого он так обожал ребенком, вновь вернулось.

— Из-за чертова отца, вот, черт побери, почему.

И Том наконец-то повернулся и взглянул на брата. Глаза его впились в глаза Дорриго: зрачки, до странности маленькие и пустые, были похожи на дырочки, прожженные спичкой в старой газете.

— Малыша взяло на воспитание семейство по фамилии Гардинер. Люди зажиточные. Ей от этого было горько. Мне было горько. Только что поделаешь? Не с тем, что о нем заботились, а с тем, что заботились не мы. Никто не собирался выслеживать его и требовать назад, это бы поломало жизнь всем: ему, им, ей, мне, Джеки. Нетушки. Ни один мудак такого делать не станет. С такими вещами приходится уживаться. После последней войны я познакомился с парнем из Хобарта, который знал эту семью. Мальчишку они, кажется, назвали Фрэнком. Он погиб во

время войны. Мой единственный сын, которого я никогда не видел. В одном из тех проклятых жутких лагерей для военнопленных, в каком ты сам был в Таиланде.

9

В Сиднее было полно американской солдатни, которую вывезли из Вьетнама на отдых. День клонился к вечеру, город задыхался от зноя. Чтобы избавиться и от жары, и от солдатни, а заодно и как-то свыкнуться с тем, о чем только что рассказал Том, Дорриго Эванс, уверявший родителей, что прогулки пешком — самое лучшее из лекарств, решил последовать своему же совету.

Он пошел от больницы к Секьюлар-Ки, а потом заметил, что старается уйти подальше от напористых толп народу, и решил навестить приятеля-хирурга в Киррибилли, перейдя через сиднейский Харбор-Бридж. Приятно было затеряться среди неспешно прогуливающихся зевак, приятно идти по широкому тротуару моста и разглядывать с него Сидней, широкий вид которого как-то успокаивал.

Дорриго остановился на середине моста. Легкий восточный бриз доносил морскую прохладу, и он не отрывал взгляда от воды вдалеке, вскипающую бело-голубыми волнами. На ближнем мысу стояли ярко-оранжевые башенные краны, словно

часовые вокруг гигантских незакрепленных парусов нового Оперного театра, его замысловатый скелет напоминал Дорриго тончайшее кружево прожилок сухих листьев эвкалипта. А еще дальше клонящееся к закату солнце скрадывало город в жестких и ярких полосах света и тени. Тогда-то, оторвавшись от ограждения и вновь зашагав, вдалеке он впервые и заметил ее, на миг вышедшую из одной такой косой полосы тени на яркий свет.

Несколько секунд спустя снова увидел ее, идущую ему навстречу, в обрамлении арки большой опоры из песчаника, которая подпирала северную оконечность моста, голова ее подпрыгивала поплавком в накатывающейся волне пешеходов, которая захлестнула ее целиком. Он шел по внешней стороне широкого тротуара в тени, отбрасываемой длиннющей литой оградой моста. Все существо его сосредоточилось на этой незнакомке, приближавшейся к нему по внутренней стороне: призрак, двигающийся в солнечном свете, — когда она опять исчезла из виду.

В третий раз он разглядел ее в толпе, когда она подошла ближе. На ней были модные очки от солнца и синее платье без рукавов с белой полосой по бедрам. Она вела с собой двух детей,

маленьких девочек, обе держались за ее руки. Шум движущихся машин, отдававшийся в клепаной железной грудной клетке моста, позволял ему только видеть, как смеются, щебечут дети, как она отвечает им. Но, даже не слыша, он все равно знал: это не призрак.

Он считал ее умершей, и вдруг — вот она, идет ему навстречу, ставшая заметно старше, хотя для него время не умалило ее красоты, а лишь прибавило. Словно бы возраст не столько отбирал, сколько попросту открывал, кто она такая на самом деле.

Эми.

Бездна лет (с их историческими войнами, великими изобретениями, бессчетными ужасами и невероятными чудесами) — прошла попусту, понял он. Бомба, холодная война, Куба и радиоприемники на транзисторах оказались бессильны перед ее горделивой поступью, ее несовершенствами, ее рвущейся на волю грудью и ее глазами, по праву скрытыми. Ему показалось, что осветленные волосы больше идут ей, чем ее естественный цвет, ее тело, разве чуть-чуть похудевшее, сделалось еще таинственнее, лицо, несколько осунувшееся от углубившихся морщин, казалось ему исполненным какого-то

тяжело доставшегося самообладания.

Больше четверти века прошло с тех пор, как он впервые увидел ее в пыльных лучах света в книжном магазине Аделаиды, и его потрясло, как мало значат для него перемены в ней. Множество чувств, которые он считал утраченными навсегда, теперь вернулись, их сила ничуть не меньше, чем когда он испытал их впервые.

Остановиться или пройти мимо? Вскрикнуть или не произнести ни звука? Надо было решать. Оставалось слишком мало времени, чтобы взвесить известную и неведомую жизни свою жизнь сейчас, ее жизнь тогда, ее жизнь сейчас, которую невозможно представить. Он достаточно хорошо видел детей, чтобы заметить в них то, в чем его душа безошибочно узнала ее черты. А что-то в них, что было не от нее, отозвалось в нем куда большей болью, чем он ожидал. Вероятно, она счастлива в браке. Вдруг он понял, что стало трудно дышать. Тысяча безумных, сводящих с ума предположений крутились у него в голове, пока он шел ей навстречу. Он убеждал себя, что не имеет права вторгаться в ее жизнь, обращать ее в хаос, — и убеждал себя, что должен это сделать, что еще не все потеряно, что они смогут начать все сначала.

Она приближалась. Он пытался замедлить шаг, тогда как сознание его спешило как никогда быстро. Подводило живот, слегка пошатывало. Он подошел достаточно близко, чтобы различить небольшую родинку над верхней губой. Теперь он уже не думал, что она красива, как всегда, или что она вообще красива. Только о том, что она ему нужна. У нее на шее висела подвеска, сверкающая неуправляемым бунтом памяти. Видела ли она его? Он окликнет ее. Окликнет! А потом при полной яркости солнечного света у нее за спиной он увидел, как зажала она вырез платья большим и указательным пальцами и потянула его вверх, прикрывая грудь. Где-то на миг ему показалось, что в этом всепроникающем свете она примет его в свои объятия и свою жизнь.

Но только свет в начале всего.

Он все еще собирался что-то сказать, когда понял, что они прошли мимо друг друга, не проронив ни слова. Он все так же шагал в тени, продолжая глядеть прямо перед собой. Он все перепутал. Ее, его, их, любовь (особенно любовь) — перепутал. Он перепутал время. Сил не было в это поверить, однако пришлось. Ее смерть, его жизнь, их, все, *все на свете* перепутал. И тяжесть его ошибки была до того велика, до

того непомерна, что, не в силах удержаться, он обернулся, окликнул, бегом бросился назад. Только добежав до другого конца моста, он в конце концов нашел в себе силы повернуть обратно.

Эми нигде не было видно.

Он стоял посреди тротуара, и люди обтекали его со всех сторон (словно он был еще одной городской преградой: рекламным щитом, мусорным баком, деревом), а у него в мыслях была жена Лота и то, каким же враньем была вся эта история о ней. В соляной столб превращаешься, когда не оборачиваешься и не оглядываешься. Только подумал: ведь надо было остановить ее, — как сразу дошло: сейчас он ни за что не смог бы пройти мимо. Ни при каких обстоятельствах не должен был проходить мимо — и все же прошел.

Был ли это его выбор? Или ее? Был ли вообще хоть какой-то выбор? Или это просто жизнь сметает людей: сошлись и разлетелись?

Вокруг, за спиной, впереди, сколько хватало глаз, шли люди, каждый своим путем. Буйные, порхающие в лучах света пылинки, утраченные давным-давно… Он понял, что теперь все потеряно — в стали и камне, в море и солнце, в набирающей силу жаре, утонуло в безоблачном голубом небе, потерялось среди оранжевых кра-

нов в грохоте скоростной автострады.

Он еще ненадолго задержался там: ничего не значащая фигура среди парящих стальных полукружий и ревущего потока машин, голубого дня и искрящейся воды. А в голове крутилось: до чего же пуст мир, когда теряешь того, кого любишь.

И он повернул обратно и опять зашагал — бездорожьем по всем дорогам. А он-то считал, что она умерла. И вот теперь наконец-то уразумел: выжила и жила как раз она, а вот он — умер.

10

Когда они перешли мост, Эми купила на Секьюлар-Ки племянницам по мороженому и села на паром, возвращаясь домой к сестре в Мэнли. Много лет она считала его погибшим. Совсем недавно, когда слава его стала расти, узнала, что он не погиб на войне.

«Почему, почему, — еще раз подумала она, усаживаясь на задней палубе парома, глядя, как удаляется сверкающая вода, — почему, если он остался в живых, не вернулся и не отыскал меня?» «Почему?» — думала она, уже вернувшись в дом своей сестры. «Почему?» — думала она, ложась, очень уставшая, на кровать. Никак не могла ему простить, что нарушил собственное обещание.

Ей и в голову не могло прийти, что он, возможно, считает, будто она погибла при взрыве, а не узнала о нем на следующее утро (как это и было), когда прикатила обратно в кабриолете с прибрежного пляжа, куда когда-то они отправились в первый раз и где (после того, как Кейт сообщил ей, что Дорриго погиб) она дала волю своему горю, не позволявшему отрешиться от мыслей о

нем, и в конце концов проспала всю ночь.

В последние годы ей порой приходила в голову причуда повидаться с Дорриго. Несколько раз уже стояла на грани: даже раздобыла номер его телефона и записала на бумажку, — однако, если честно, она ни в чем никогда до грани не доходила. Всякий раз при мысли как-то связаться с ним чувствовала себя подавленной. Что ей от него нужно? Что ему могло бы понадобиться от нее, если вообще такое существует? Порой она даже задавалась вопросом: а помнит ли он ее хорошенько? И что в любом случае она бы ему сказала? Что считала его погибшим?

Как рассказать ему о наследстве (вполне достаточном) после смерти Кейта, о втором замужестве через много лет после войны, приятном, забавном — вышла за букмекера, который лучше умел транжирить деньги, чем наживать, который продулся в пух и прах, а потом сбежал, как говорили, в Америку. Вот почти и все. Пара более или менее коротеньких романчиков. По большей части — менее. Как втолковать ему, что все это не было любовью, даже с букмекером. Так, какие-то пустяки: шляпка, платье или облачко. Но кто помнит облачко?

И когда она уже чуть ли не за письмо садилась,

готова была позвонить по телефону, перед ней тут же вставало громадное препятствие: он отказался от нее, так и не разыскал, так и не вернулся за ней после войны, как обещал. Теперь их положения кардинально переменились: он был знаменитым Дорриго Эвансом, забиравшимся все выше и выше, а она — никем и шла ко дну. Ну и потом — диагноз подоспел. Как об этом рассказать?

Сестра позвала ее во второй раз.

— Да, — отозвалась она, — еще минутку.

Она так устала. Столько всего о нем она позабыла. Но это был — он. Он не умер, да и она пока еще жива. Этого довольно. Она сняла подвеску, повертела жемчужину в пальцах. Сколько же в ней чувств! Потом положила украшение. Он стал для нее кем-то, а то и больше, чем кем-то: она понимала, что он постепенно превращается в нечто, выходящее за рамки его личности.

А вот она же, напротив, скоро станет ничем. Ее лечили — крайними средствами и, как признался ее онколог, по сути, бесполезными. Она работала в двух местах уборщицей, билась, чтобы сводить концы с концами, но теперь, после того как сестра согласилась за ней ухаживать, махнула на работу рукой. Все мечты ее давным-давно истощились.

Сейчас она находила удовольствие в закатах, в

друзьях, немногих, зато любимых ею, в прелестях города: тепле раннего утра, запахе асфальта и зданий после дикого ливня, ежедневном летнем карнавале его пляжей, виде на него, который открывался с моста в солнечный день, в незнакомцах, которых порой встречала, в том, чтобы баловать племянниц, в приятном одиночестве с памятью вечером летнего дня. Иногда она чувствовала себя счастливой.

Временами ей вспоминался номер у моря, луна и он, зеленая стрелка часов, плавающая в темноте, и звук разбивающихся волн, а еще чувство, не похожее ни на что из пережитого ею раньше или когда бы то ни было испытанное снова.

С ним она так и не свяжется. У него своя жизнь, у нее — своя: о слиянии и мечтать не приходилось. А того, о чем нельзя мечтать, не достичь никогда.

Через восемнадцать месяцев (на шесть больше, чем ей отпускали) ее похоронят на окраинном кладбище: ничем не примечательное местечко среди акров и акров таких же ничем не примечательных могил. Никто никогда не навестит ее, через некоторое время поблекнут воспоминания даже ее племянниц, а потом и тех не станет. Останется лишь святящаяся в долгой земной ночи

жемчужная подвеска, с которой по просьбе Эми ее и похоронили.

11

В тот вечер Дорриго Эванс вылетел в Мельбурн, откуда на следующий день утренним рейсом отправился в Хобарт. Заглушащий все гул двигателей 707-го и навеваемое им удивительное дремотное забытье он воспринял как дарующее отдых заточение. Когда самолет пошел на снижение над Хобартом, то попал в бурные порывы ветра и густой дым от пожаров в буше на юге острова. Самолет бросало и вниз, и вверх и из стороны в сторону, как горошину в кипящей кастрюле. Приземлившись, они сразу попали в удушливый запах пепла и обжигающее дыхание доносимого ветром жара.

Его радушно встретил старина Фредди Сеймур, возглавляющий тасманийское отделение Коллегии хирургов, врач, чей возраст был предметом споров, и который ездил (не без причуды) на старом зеленом «Форде-Меркьюри» 1948 года выпуска, который, как и сам Фредди, держался с безукоризненным изяществом, отвергая любые намеки на возраст. В этот день Коллегия хирургов давала в хобартской гостинице обед в честь Дор-

риго. После этого Дорриго собирался отправиться в Ферн-Три (селеньице совсем рядом с Хобартом, расположенное в живописном горном лесу), где жила сестра Эллы — и его семья. Из аэропорта он позвонил Элле из телефона-автомата: сестра, взяв ее машину, укатила почти до вечера. В любом случае было слишком жарко, чтобы делать что-то, кроме как сидеть на месте с детьми. Элла уверяла, что в тени обширных зарослей эвкалиптов царит приятная прохлада и что она и представить не может место получше.

Обед оказался более приятным, чем ожидал Дорриго, во всяком случае, это отвлекло его от всего остального, что беззастенчиво лезло в голову. Но как раз, когда они перешли к шерри и сигарам, прошел слух, что пожарная ситуация значительно ухудшилась, что городкам к югу, в том числе и Ферн-Три, грозит огненная буря.

Дорриго Эванс отыскал в гостинице телефон и попытался набрать номер сестры Эллы, но связь пропала, как и, сообщила телефонистка, почти со всеми домами на горе. Дорриго Эванс обратился к Фредди Сеймуру, только-только закурившему сигару, его впалые розовые, как кораллы, щеки колыхались от быстрых движений, с которыми он выдыхал мелкие клубочки дыма, и спросил,

не одолжит ли он ему ключи от машины.

— Я вас люблю, Эванс, — произнес старый хирург и выпустил клуб дыма. — Как сына. И, как сын, вы вернете мне машину не такой, какой она была, а я, как подобает отцу, вас прощу.

Ферн-Три был в двадцати минутах езды от города. К тому времени ветер уже дул с яростью, и песок делал жару гнетущей. Усевшись в «Форд-Меркьюри», Дорриго поразился, увидев в зеркальце свое лицо, покрытое разводами сажи, которая, кружась, падала густыми хлопьями, словно черный снег.

«Форд-Меркьюри» катил, как бадья, слабо соотносясь с дорогой, зато его V-образный восьмицилиндровый двигатель обладал обнадеживающей мощью. Гору, обычно величественно представавшую, не было видно, она потерялась в дыму до того густом, что уже через несколько минут видимость упала до нескольких ярдов, и Дорриго включил дальний свет. Время от времени из сумрака выскакивала встречная машина, стремившаяся удрать в город, сидевшие там люди напоминали ему сирийских сельчан, которых он видел однажды, когда те старались удрать от войны. Некоторые машины обгорели, у одной — невероятно — не было ветрового стекла, у дру-

гой краска вздулась большими почерневшими пузырями. Миновав дальние предместья Хобарта, Дорриго въехал в густой высокий лес, через который дорога шла теперь глубокой извилистой канавой.

Сделав крутой поворот, он выехал на полицейский блокпост, запрещавший дальнейшее движение любой машине. Одинокий полицейский, сунув голову в окошко «Форда-Меркьюри» 1948 года выпуска, велел Дорриго поворачивать обратно.

— Там дальше зона смерти, приятель, — сказал он, тыча большим пальцем себе за спину в направлении Ферн-Три.

Дорриго рассказал про Эллу с детьми и спросил, не проезжали ли они через блокпост. Молодой полицейский сказал, что он всего два часа как заступил, и за это время никого похожего не видел. Наверное, они успели уехать еще раньше.

Дорриго Эванс стал вычислять: со времени его телефонного разговора с Эллой у нее с детьми оставалось где-то часа полтора, чтобы уехать. Только вряд ли она выехала, когда городку еще ничего не угрожало, к тому же у нее не было машины. Дорриго Эванс надеялся, что семья уехала, но счел за лучшее действовать, исходя из того,

что — не успели.

— Огонь с юга, с Юона, идет, — продолжал полицейский, — а наперерез с востока. Я то и дело выслушиваю безумные рассказы про то, что перед главным пожаром попадаются места, сплошь покрытые горящими угольями, милях в двадцати отсюда. — Пока он говорил, несколько отливающих красным угольков упало на капот, словно бы подтверждая слова полицейского.

— Ехать туда — безумие, — объявил он наконец.

— У меня там семья, — сказал Дорриго Эванс, ставя ручку коробки скоростей на первую. — Безумием для меня было бы не поехать.

И с этими словами вежливо попросил полицейского отойти в сторонку. Когда тот отказался, Дорриго отпустил сцепление, рванул через заграждение и пробормотал первое из нескольких извинений перед Фредди Сеймуром.

Уже через полмили вокруг плясали языки пламени, но огонь был не настолько мощным, как полагалось бы основному фронту огня, хотя, впрочем, как выглядит основной фронт, Дорриго Эванс и понятия не имел. Еще он не имел представления, где живет сестра Эллы, поскольку никогда раньше не бывал у нее, адрес у него,

положим, был, но никаких указателей не попадалось. С трудом можно было сказать, что видна дорога, превратившаяся в хаос из горящих веток, горящих там-сям брошенных машин, дождем сыпавших углей и густого дыма. Он вел машину, едва превышая скорость пешехода, по той самой дороге, по которой ехал почти двадцать лет назад в развозившем пиво грузовичке. Там, где когда-то он предугадал любовь в снежную бурю, теперь он отчаянно отыскивал в плотном дыму свою семью, вглядываясь в подъездные дорожки, дорожные знаки, навесы и непрерывно сигналя. Но кругом не было ни души. Все уехали либо погибли, предположил он. Неба больше не было, лишь иногда проблескивали бешено крутящиеся иссиня-черные тучи, подсвеченные сбоку дьявольским красным пламенем. Он продолжал ехать, сосредоточившись на поисках, держа ухо поближе к окну машины, а окно открытым настолько, чтоб можно было услышать кого-то, кого-нибудь, что угодно.

И тут ему показалось, что он что-то услышал, но за всем остальным шумом решил, что это просто свистит обращающийся в пар сок деревьев, иногда их взрывая. Но вот послышался тот же самый звук, потише, и голос другой. Он остановил

машину и вышел.

12

После того как пятое строение по улице, на которой стоял дом сестры Эллы Эванс, вспыхнул, Элла, отыскав троих детей (Джесс, Мэри и малыша Стюви), игравших на заднем дворе под той малостью воды, что еще сочилась из брызговика, сказала, что им придется пойти в Хобарт пешком.

— Хобарт? — переспросила Джесси. — Это очень далеко отсюда?

Элла даже представления не имела. Семь миль? Десять? Ей стало страшно.

— Мы должны уходить прямо сейчас! — воскликнула она.

На девочках были только купальники и пластиковые сандалии, а Стюви был в одних подгузниках. Огонь горел повсюду, и Элла даже не подумала спорить с Джесс, когда та потребовала взять с собой подаренный ей на Рождество проигрыватель для пластинок на сорок пять оборотов. Разумеется, за этим последовали фен для сушки волос с трубкой и пластиковая шапочка для душа, которую Джесс решила надеть, чтобы уберечь

волосы от палящих искр. Вдобавок она взяла еще единственную сорокопятку, какой успела разжиться, подаренную тетей старую пластинку Джина Питни.

Они быстро пошли по дороге, сбрасывая с лица и выбирая из волос горелые листья и обугленные перья папоротников, падавшие с неба. Без удивления разглядывали они, как оплавляется асфальт по краям, как множеством переливчатых бабочек летают в воздухе красные искры, как раздувают и задувают их порывы ветра. Они прошли мимо старой миссис Макхью, учительницы музыки, у которой уже занялся облезлый забор вокруг дома, крикнули ей, чтобы шла с ними, но та была слишком занята: крошила топором забор, чтобы не дать огню перекинуться на дом, — чтобы обращать внимание на их крики.

Поначалу их разбирал восторг от творящихся вокруг чудес и от маминого ужаса, который позволял троим детям почувствовать себя лучше, даже ощутить превосходство. Они перешли в иной мир: взрослый, где у всего иной вес, где люди говорят то, что думают, где то, что имеет смысл, включая твою собственную жизнь, до того момента несущественную, обретало суть — и для взрослых, и для тебя. То было их первое знаком-

ство со смертью, и им никогда его не забыть.

Должно быть, они прошагали с добрую милю по склону горы, когда их восторженность стала убывать, а страх возрастать. Основной пожар, казавшийся безопасно далеким, когда они уходили из дома, теперь подошел совсем близко. Стюви начал плакать, потому что горящие угольки жгли ему кожу. Он жаловался, и не без основания: пламя заполняло небо и пожирало воздух — что огонь *никакнекончается*. Они дошли до кирпичного здания и почувствовали, что его прочность может их защитить не так, как деревянные дома, мимо которых они проходили и которые начинали дымиться, а маленькие язычки пламени облизывать им карнизы задолго до того, как огонь добирался до них.

Элла подошла к входной двери и нажала кнопку звонка. Послышались переливы каких-то нелепых курантов. Дверь приоткрылась лишь настолько, чтобы позволить вести разговор. В узкую щель Элла разглядела пожилую леди, одетую в белый шерстяной костюм с черной оторочкой, как будто та собиралась отправиться на благотворительный обед. К тому времени Элла, на которой было лишь зеленое простенькое платье и вьетнамки, уже была сплошь покрыта грязны-

ми разводами от впитавшего сажу пота. Ей было понятно, что пожилая дама не признает в ней женщину своего же класса, а на почти голых чумазых детишек смотрит как на оборванцев. Элла хотела попросить убежища, но когда открыла рот, услышала, что просит просто воды — детям попить. Просить пришлось дважды. Ни слова не говоря, дама открыла дверь и провела их на опрятную кухню в задней части дома. Достала один старый пластиковый стаканчик.

— Вот, — сказала она, протягивая стаканчик, который держала за краешек большим и средним пальцами. — Кран там.

Дети только о том и думали, как бы уйти. Они понимали, что старуха хочет, чтоб они ушли, и их ненависть к ней и к ее дому была даже больше, чем страх перед огнем. Однако что-то в высокомерии этой женщины решительно настроило Эллу на то, чтобы остаться. Стюви плакал из-за ожогов, и Элла спросила пожилую леди, нет ли у нее какой-нибудь старой детской одежды, которую она могла одолжить, чтобы защитить ребенка от искр и угольков.

Женщина открыла шкаф, и Элла внутри увидела полку за полкой аккуратно выглаженной и уложенной детской одежды. Хорошей одежды.

По большей части для мальчиков. Почувствовала она и запах камфары, которая у нее всегда связывалась с безвременьем, ободряющий запах места и вещей, которые никогда не меняются. Старуха обернулась и протянула Элле какую-то сложенную одежонку. Элла развернула ее одним движением рук.

Это было поношенное девчоночье красное платье.

— Благодарю вас, — произнесла Элла.

У нее в голове-то не укладывалось понятие безопасного убежища с таким безжалостным унижением. Взяв за руку сына, одетого в жалкое красное платье, она вывела семью обратно к огню, уверенная, что поступает не только верно, но и мудро.

Когда они снова вышли на дорогу, огонь как таковой уже не имел никакого значения. Ветер дул в спину и дул им навстречу, пламя было повсюду, и ветер поднимал кружащиеся смерчем раскаленные угольки, те вытягивались в волшебно сияющие пальцы, обращавшие все, чего они касались, в огонь. Они бежали от языков пламени, но теперь пламя окружало их со всех сторон.

— Мы окружены, — сказал Стюви и снова заплакал.

— Ну полно! — воскликнула Элла, хватая его. — Мы просто обязаны добраться до Хобарта. Становитесь за мной, возьмитесь за руки и, что бы ни случилось, не разжимайте их.

В такой связке эта тоненькая ниточка надежды и ужаса продолжала пробираться сквозь ветер, дым и пламя. Заплакала Мэри: стерла ноги до волдырей.

— Ноги твои приведем в порядок, когда доберемся до Хобарта, — сказала Элла.

Вокруг них, а теперь и перед ними горели деревья и дома, и Элла настойчиво их поторапливала. Она уже несла Стюви на руках, Мэри шагала следом, держась одной рукой за подол маминого платья, а другой за руку Джесс, и всех их ужас охватывал при мысли, что бы с ними сталось, если бы они не держались друг за друга. Сквозь рев огня и ветра послышался треск, и прямо пред ними на дорогу упало дерево, взметнув клуб пламени. Элла отыскала тропку в обход огня, и они пошли дальше, мимо дерева, мимо остатков горящей машины, мимо упавшего обгорелого телеграфного столба, провода с которого вились вокруг них, точно шерстяные нити для вязания. Однако впереди пожар разрастался сильнее, чем позади, Мэри в кровь стерла ноги, жар стоял

неимоверный, Элла вдруг остановилась и повернулась лицом к детям.

— Мы должны вернуться, дети. Быстро, — сказала она. — И чтоб никто больше не смел валять дурака.

Мама никогда не ругалась плохими словами. Дети поняли: что-то изменилось.

— Быстро, — то и дело подгоняла она. — Быстрее!

— А как же Хобарт? — спросила Джесс, молчавшая до сих пор. — Если мы доберемся до Хобарта, мы будем в безопасности. — Голос девочки дрожал. — Мы должны дойти!

И, развернувшись, Джесс зашагала мимо них прямо в огонь. Элла схватила ее и с размаху ударила ладонью по щеке.

— Мы в воскресное жаркое превратимся, если и дальше пойдем той же дорогой. Надо во что бы то ни стало найти где-нибудь укрытие от огня.

Джесс завопила, и Элла влепила ей крепкую пощечину во второй раз. Джесс ударилась в слезы и уронила свой проигрыватель, который разлетелся на кусочки по дороге. В горле у всех страшно першило от смолистого дыма, трудно было дышать, из глаз лились слезы, из носа текло. Впереди ничего не было видно за несколько

шагов, и они узнавали, где находятся, лишь случайно заметив начало подъездной дорожки, поворот дороги, какой-нибудь указатель. Они подошли к дому без сада, с одной старой яблоней и садовым сараем из щитов, торчавшим посреди мертвой лужайки. Жечь было нечего, и огонь ревел за их спинами, изредка дотягиваясь своими язычками до мертвой лужайки, где уже и гореть было нечему, но все же горело.

— Сюда, — сказала Элла, открывая дверь щитового сарая, а сама думала: «Сюда? Это здесь-то мы все умрем?»

Держась друг за друга, они протиснулись в сарай, невзирая на неимоверный жар, от которого едва можно было дышать. Огонь словно пожирал весь воздух на свете. Послышался звук, будто над их головами взорвался самолет. Жуткий язык пламени, в добрый ярд длиной, выпростался из щели под дверью, точно голодный зверь, и Джесс, завизжав, отпрыгнула назад и налетела на шкаф, полный банок и бутылок.

— Джесс! — крикнула Элла.

Она держала шкаф. Он был битком набит банками с кистями в скипидаре и денатурате. Навалилась на шкаф всем телом, велела детям не двигаться.

— Что бы ни случилось, — предупредила, — не толкайте ни этот шкаф, ни меня. Взгляните на Джина, — сказала Элла.

И Джесс, у которой на голове все еще была пластиковая шапочка, испещренная черными дырочками от искр и угольков, горестно подняла пластинку с Джином Питни, которую все это время несла с собой. От жара та выгнулась, приняв форму миски для пудинга.

— Взгляните на Джина, дети, — говорила Элла. — Только гляньте на Джина.

Через несколько минут стало просто невмоготу жарко, но рев уже стих, и пламя перестало просовывать языки под дверь. Донесся непонятный звук. Очень медленно Элла открыла дверь. Никто не шелохнулся. Осмелев, выглянули.

Полная ерунда. Дом исчез. Рядом с местом, где еще дымились его остатки, по-прежнему стояла старая яблоня, слегка опаленная, но в остальном живая и здоровая, тогда как лес, высившийся по ту сторону дороги, неистово горел.

Снова послышался тот странный звук, и стало понятно, что это сигналит машина, причем звук затихал по мере того, как машина уезжала все дальше — от них дальше. Элла подхватила Стюви на руки, дочери бегом кинулись за ней,

и все они кричали сквозь огонь, но машина уже проехала и исчезала в дыму. Все заорали еще пронзительнее.

И тогда машина остановилась. Это был зеленый «Форд-Меркьюри» 1948 года выпуска с шинами в белых ободках. Никто из детей ее никогда не забудет. Открылась дверца со стороны водителя, вышел мужчина. И когда он повернулся, дети увидели, что это их отец, он их нашел.

Они побежали к нему, а он к ним — сквозь дым, жар и пламя. Когда они встретились, Дорриго подхватил Стюви и одним махом усадил его к себе на бедро. Широко раскрыл свободную руку, обхватил ею голову Эллы и крепко прижал ее лицо к своему. Он прижал ее к себе, а девочки прижимались к ним обоим, словно корни переплелись, удерживая гнилое дерево. Миг всего и длилось, пока он не отпустил жену, и они все вместе бросились к машине. Но тогда, на глазах детей, их отец выказал любви к их матери больше, чем за всю жизнь.

13

Рассудив, что теперь больше вероятности спастись — это углубиться в лес, который частью успел выгореть, чем если пробиваться сквозь огонь, который уже валом катил на Хобарт, Дорриго повел машину в ту сторону, откуда бежала его семья. Кое-какие из домов и лес уцелели, но там, где жила старуха, не пожелавшая поделиться своей добротной мальчиковой одеждой с кем-то другим, теперь не было ничего, кроме дымящегося кровельного железа, пепла и голой печной трубы. Там, где миссис Макхью топором рубила в щепки забор, спасая дом, трудно было разобрать в густом дыму, где были и тот и другой.

Они с удивлением наблюдали, как едут в непонятной ночи. Стоило повернуть за угол, как черное небо сменила громадная красная стена огня, наверное, в полумиле от них, языки пламени взлетали высоко над головой. Это был новый пожар, ревевший с другой стороны, казалось, он вобрал в себя несколько пожаров поменьше, обратив их в единую преисподнюю. Рев его заглушал все. Секунду-другую они завороженно

смотрели на пламя, катя на машине дальше. Слова Эллы стряхнули колдовство.

— Это передний край огня, — сказала она.

Дорриго тормознул, рывком перевел «Форд-Меркьюри» на задний ход, развернулся, врубил на первую и поехал обратно по дороге туда, откуда они только что приехали. Он мчался как угорелый мимо упавших проводов, пылающих остатков машины. Всего через несколько минут, впрочем, передний край огня нагнал их, и теперь Дорриго вел машину между стен огня с обеих сторон, объезжая горящие ветви, валявшиеся повсюду, между взрывающихся домов, чередуя медленные осторожные маневры с резкими рывками на полной скорости, когда выпадал чистый кусок дороги, и снова, когда возникала необходимость, петлял и притормаживал. Огненный шар размером с троллейбус, голубой, точно газовое пламя, как по волшебству, появился на дороге и покатил на них. Пока «Форд-Меркьюри» юлил, объезжал его и потом вновь возвращался на прямой путь, Дорриго понял, что у него один выход: не обращать внимания на горящие обломки, палки, ветки, колья, которые появлялись из дыма и летели на них, иногда ударяя по машине и отскакивая от нее. Он рычал, без конца дергая

ручку переключения скоростей, резко поворачивая большой руль то влево, то вправо, шины с белыми ободками визжали на пузырящемся черном дорожном покрытии, визг их лишь изредка можно было расслышать в какофонии ревущего огня, пронзительных завываний ветра, жуткого, похожего на пулеметный, треска взрывающихся над головой веток.

Они преодолели подъем и тут же увидели, как громадное горящее дерево падает поперек дороги в сотне ярдов перед ними. Пламя высокими языками побежало по всему стволу, когда тот подпрыгнул, ударившись о землю, горящая крона рухнула на аккуратный дворик перед домом, превратившись в громадный костер, который мгновенно слился с пожаром, охватившим дом. Упершись коленом в дверцу, Дорриго что было сил давил на педаль тормоза. «Форд-Меркьюри» всеми четырьмя колесами пошел юзом, дергаясь в стороны и скользя прямо на дерево, машина развернулась и встала в нескольких шагах от пылающего ствола.

Никто не проронил ни слова.

Руки на руле взмокли от пота, тяжело дыша, Дорриго Эванс прикинул их шансы. Они были плохими. Дорога дальше в обе стороны теперь

была совершенно отрезана: горящим деревом перед ними и линией огня позади. Он обтер руки поочередно о рубашку и брюки. Они в ловушке. Обернувшись, взглянул на сидящих на заднем сиденье детей. Почувствовал дурноту. Они держались друг за дружку, глаза казались белыми и большими на их перепачканных сажей личиках.

— Держитесь, — сказал он.

Немного сдал назад в сторону линии огня, затем рванул вперед. Скорости хватило, чтобы разнести штакетник вокруг дворика, куда грохнулась крона горящего дерева. Они понеслись прямо на костер. Крича во все горло: «Всем вниз!» — в два рывка перевел двигатель на первую скорость, отпустил сцепление и вдавил педаль газа в пол.

«В атаку на ветряную мельницу!»

V-образный восьмицилиндровый двигатель взревел, клапана застучали, и машина врезалась в горящий куст там, где он был ближе всего к дому, где полыхало сильнее всего, зато, надеялся Дорриго, и ветки окажутся самые тонкие. На мгновение не стало ничего, кроме огня и шума. Двигатель упреждающе дико завывал, жар до того рассвирепел, что, казалось, проникал сквозь стекло и сталь, затрудняя дыхание, все сделалось занудно красным, слышался треск пламени,

лопающихся веток, скрежет и стон металла, когда корежились и гнулись панели, вой колес то теряющих, то опять обретающих спасительную силу трения. Заднее окно со стороны водителя лопнуло. Искры, угольки и несколько горящих палочек влетели в салон, Элла и дети закричали, дети старались забиться в самый дальний угол заднего сиденья. На ужасающие пару секунд машина замедлила ход, едва совсем не встала, когда что-то зацепилось снизу за ось. А потом — так же быстро — костер оказался позади, и они, набирая скорость, понеслись на еще один забор из штакетника, который Дорриго тоже разнес в мгновенной вспышке разлетевшихся деревяшек. Ветровое стекло превратилось в белое облако из осколков, он крикнул Элле, чтобы вышибла стекло, и когда оно вылетело, они увидели, что опять выехали на дорогу, уже за упавшим деревом, и движутся к Хобарту. Он правил одной рукой, а другой, наклоняясь, хватал горящие палки с заднего сиденья (он всегда так заботливо берег свои руки хирурга) и вышвыривал их в разбитое окно.

Пока «Форд-Меркьюри» 1948 года выпуска, зеленая краска которого почернела и пошла пузырями, скрипя и скрежеща, катил вниз по охваченной пожаром горе, Элла смотрела сбо-

ку на Дорриго, чьи пальцы на левой руке уже вздулись пузырьками и обгорели настолько, что позже ему потребуются пересадки кожи. «Ну что за непостижимый человек, — думала она, — сплошная загадка». И поняла, что ничего не знала о нем, что супружеству их пришел конец до того, как это началось, и что ни ей, ни ему не по силам что-либо в этом изменить. Уже всего на трех колесах и на одном отваливающемся ободе «Форд-Меркьюри» одолел долгий поворот, и наконец сквозь дым они разглядели перед собой убежище в виде полицейского блокпоста.

— Думаю, это был последний раз, когда Фредди Сеймур пригласил тебя отобедать, — сказала Элла Эванс.

А на заднем сиденье трое уже молчаливых, чумазых от сажи детей вбирали в себя все: удушливую вонь дегтя, рев ветра и огня, дикую тряску машины, которой выпала такая езда, жар, чувство такое свежее и открытое, что напоминало освежеванную плоть, мучительное, безнадежное чувство двух людей, проживших вместе в любви, которая еще не была любовью, но еще и не была нелюбовью, проживших так и не совместившуюся совместную жизнь, заговор пристрастий, болезней, трагедий, шуток и труда, супружество

— недоступную, жуткую *никакнекончаемость* человеческих существ.

Семью.

14

«Старичье полно раскаяния», — сказал как-то Джоди Бигелоу отец. Ее отец. Джимми Бигелоу никогда не был вполне отцом для Джоди. Он, казалось, пропустил не только всю ее жизнь, но и большую часть своей собственной. Работал сортировщиком почты и, похоже, вовсе не рвался подняться выше. Однажды, когда она уже училась в средней школе, им задали на дом написать сочинение про День АНЗАК, и она попросила отца рассказать, какой ему виделась война. Тот ответил, что в общем-то и рассказывать-то почти не о чем. То-се. Когда она стала настаивать, он отправился к себе в спальню и вернулся со старым горном. Обтер мундштук и произвел несколько неприличных звуков, вызвавших у дочери смех. Потом подобрал настоящие ноты. Опустил горн, откашлялся, набрал побольше воздуху, как-то по-военному, совершенно незнакомо для дочери, поднял голову и сыграл «Вечернюю зарю».

— И все?

— Это все, что я знаю, — сказал он. — Это почти все, что нужно знать любому.

— Это не для школьного сочинения, папа.

— Верно.

— Это, типа, одиноко как-то, — сказала Джоди.

Джимми Бигелоу поразмыслил над ее словами, потом сказал, мол, ему кажется, так и есть, только никогда так не воспринималось. Воспринималось как раз наоборот.

Джоди порылась в книжках про военнопленных.

— Должно быть, сурово было, — заметила она.

— Сурово? — отозвался отец. — Да нет, если честно. Только нам страдать приходилось. Нам повезло.

— Какой смысл в музыке? — спросила дочь.

— Это — тайна, — ответил он, немного подумав. — Чем больше тайна, тем больше в ней смысла.

Мать Джоди умерла от лейкемии, когда Джоди было девятнадцать. Джимми Бигелоу пережил ее на двадцать восемь лет. К себе он относился несерьезно и постепенно пришел к убеждению, что мир, в сущности, смешон. Он любил хорошую компанию и находил в своей жизни (или в том, как он смотрел на жизнь) много такого, чему сам дивился и другие дивились. Везде вокруг него усердно прорастала память, он же припоминал

все меньше и меньше. Какие-то шутки, истории, вкус утиного яйца, которое ему дал Смугляк Гардинер, надежда. Доброта. Он помнил, как они шли хоронить малыша Уота Куни. Помнил, как Уот любил всех, как он всегда дожидался на кухне, пока не заявится последний, как бы поздно ни было, как оставлял для него немного еды, чтобы еда, как бы мало ее ни было, наверняка досталась каждому хоть по чуть-чуть. Глядя на его могилу, никто не хотел первым бросить в нее ком земли. Джимми не помнил, что Уот умер во время марша на север к перевалу Трех Пагод, как не помнил о жестокостях, сопровождавших тот марш. Для него в таких вещах не было правды.

Его сыновья все больше и больше подправляли его воспоминания. Да что они знали? Очевидно, куда больше, чем он. Историки, журналисты, киношники-документалисты, даже его собственные дети тыкали его носом в ошибки, неувязки, провалы памяти и прямые противоречия в его бессистемных рассказах. Кем его считают? Энциклопедией, черт бы ее взял, «Британника»? Он был там. Вот и все. Когда он слушал на своем

кассетнике «Без песни»[86], в той музыке тоже слышалась тайна, потому как на миг ему виделся человек, стоящий на пне и поющий, и Джимми ощущал такое, чего без этого бы не почувствовал, понимал такое, чего без этого бы не понял. Его рассказы и воспоминания — пустяк. Все в нем самом. Неужто это не понятно? Неужто они не могут просто оставить его в покое?

Сознание понемногу превращало все, что он помнил о лагерях военнопленных, в нечто прекрасное. Словно капля за каплей выдавливалось унижение от пребывания в рабстве. Сначала он позабыл ужас всего этого, потом жестокость, с какой с ними обращались японцы. В старости он абсолютно искренне уверял, что не может припомнить ни одного случая жестокого обращения. Того, что могло бы вернуть память на попятный, — книг, документальных фильмов, историков, — он избегал. Потом настал черед памяти о болезнях и жутких смертях, о холере, бери-бери и пеллагре: это тоже забылось. Забылась даже грязь, а позже ушла и память о голоде. И наконец однажды днем он понял, что не в силах

[86] Примечания: 86

Популярная песня на музыку В. Юманса и слова Б. Роуза и Э. Элиску, которую с 1929 года исполняли многие выдающиеся певцы, в том числе Фрэнк Синатра, Марио Ланца, Луи Армстронг, Стиви Уандер и др.

припомнить вообще ни одного отрезка отведенного ему времени, когда он был военнопленным. Разум его был по-прежнему крепок, он понимал, что когда-то был в плену — как понимал, что когда-то был зародышем. Но из пережитого не осталось ничего. Что осталось, так это неизменное представление о человеческой доброте, настолько же неопровержимое, насколько и прекрасное. В возрасте девяноста четырех лет он наконец-то стал свободным человеком.

И с той поры ему доставляли великую радость ветер и шум дождя. Он как чудо воспринимал рассвет в жаркий день. Его приводили в восторг улыбки незнакомых людей. Он работал по привычке и по дружбе, видя в этом единственную альтернативу тому, что сам воспринимал как альтернативу. Он приручил стайку сияющих зеленым, голубым и красным опереньем попугаев-розелла, слетавшихся к нему во двор за кормом и водой, которые он им выставлял. Следом заявились крапивники и драчливые медососы, вечные сплетницы амадины-огнехвостки, а время от времени залетали малиновка, ярко-голубые вьюрки со своими мшистого цвета гаремами, капризный переливчатый веерохвостый голубь, сумасшедшие сорокопуты и белоглазки, бодро щебечущие

радужные птицы. Порой он часами просиживал на лавке у себя на веранде, наблюдая, как птицы клюют, купаются, отдыхают, прихорашиваются и играют. И в тайне их полета и красоты, в их необъяснимых прилетах и отлетах ему чудилось, что он видит собственную жизнь.

После того как он умер в старом доме, упав с верхней площадки лестницы, откуда кормил птиц, Джоди нашла отцовский горн у него в гардеробе. Горн был старый и неопрятно грязный, сильно помятый. Вместо настоящего ремня болталась связанная узлами красная тряпка. Она продала его во время гаражной распродажи домашней утвари.

Порой его смех вновь звучал в ее ушах в самый неожиданный момент: среди полок супермаркета, когда она высматривала порошок для мытья посуды, в приемной зубного врача, когда она листала журнал с фотографиями знаменитостей. Тогда она всякий раз вспоминала, как он не мог шлепнуть ее, руку, дрожавшую над ней, и слышала, как он говорит:

— Это все, что я знаю. Это почти все, что нужно знать любому.

И себя, снова задающую вопрос: «Какой смысл в музыке?»

И мир вокруг нее, ряды супермаркета с их полками, приемную дантиста с ее креслами-бочонками, гаражную распродажу с безделушками ее отца на двух козлах перед нею и голос, произносящий: «За пятерку отдадите?» И как, когда она отдавала покупку, помятый горн дрожал, не давая ответа.

«Лады, — показалось ей, что она услышала, как произнес горн, когда незнакомец взялся за него. Или это она сама сказала? — Лады».

15

Дорриго Эванс сидел за рулем машины, проезжавшей перекресток в Парраматте в три часа утра (в дальнейшем во всеуслышание так и не было разъяснено, почему он оказался в том месте в такое время, как не предавался огласке и такой пустяк, как результат пробы на алкоголь), когда впервые ощутил, что летит: его вдруг подбросило в воздух, и на землю он уже не вернулся. Битком набитая пьяными подростками машина (ими же угнанная «Субару», удиравшая от полиции) сбила светофор, горевший красным, и лоб в лоб врезалась в стареющий «Бентли» Дорриго Эванса, разбив обе машины всмятку. Погибли два подростка, и серьезнейшим образом пострадал один из величайших военных героев Австралии, которого выбросило из машины через ветровое стекло.

Три дня он умирал и за это время увидел самые замечательные в своей жизни сны. Свет заливал церковь, где он сидел вместе с Эми. Прекрасный слепящий свет, и он сам, ковыляющий туда-сюда, то впадая в его запредельное забытье, то выходя

из него и попадая на руки женщинам. Он летал и, вдохнув запах обнаженной спины Эми, вздымался еще выше. В то время, когда вокруг вся нация готовилась к скорби и одновременно обсуждала упадок молодежи, противопоставляя благородные проявления героизма одного поколения порочной и убийственной уголовщине другого, он потрясенно осознал, что жизнь его только начинается, что в далеких тиковых джунглях, которые давно уже вырубили, в стране под названием Сиам, уже не существующей, человек, который уже умер, наконец-то крепко уснул.

16

Дорриго Эванс очнулся от жуткого видения смерти. Он понял, что изможден настолько, что моментально заклевал носом, пока люди собирались на развод. Была уже почти полночь. Он повернулся к семи сотням военнопленных, выстроившихся перед ним, и объяснил, что его обязали отобрать сто человек для маршевого перехода в другой лагерь, еще на сто миль глубже в джунгли Сиама. Им предстоит отправиться сразу же после утренней поверки. Людей считали, потом пересчитывали, но число никак не набиралось. С той Дороги приплелись еще люди, запутав дело еще больше. Сержанты старались объяснить, кто присутствует, а кто отсутствует и почему их нет. Последовала ожесточенная перепалка между Фукухарой (безукоризненно по форме одетым даже в такой поздний час) и охранниками, одному из сержантов-австралийцев надавали оплеух и после небольшой неразберихи начали считать сызнова.

За час до этого к нему подошел майор Накамура с Фукухарой и приказал отобрать сто человек для

отправки в лагерь у перевала Трех Пагод.

— Ни от одного из этих людей нельзя требовать большего, — вступил в спор Дорриго Эванс. — В этом лагере нет ни одного узника, способного на такой переход.

Майор Накамура продолжал настаивать, чтобы была отобрана сотня.

— Если вы не измените своего обращения с заключенными, они все вымрут, — сказал Дорриго Эванс.

Майор Накамура сообщил, что предпочел бы, чтобы австралийский полковник не вымер.

— Все они умрут, — сказал Дорриго Эванс.

Лейтенант Фукухара опять перевел. Майор Накамура выслушал, потом заговорил. Лейтенант повернулся к Дорриго Эвансу.

— Майор Накамура говорить, что это очень хорошо, — перевел он. — Это сохранит японской армии много риса.

Эванс понимал: если отбирать начнет Накамура, то делать это станет без разбору и в число отправляемых попадут самые больные (наверняка самые больные и попадут, потому как Накамуре от них проку меньше всего), и все они умрут. Если, напротив, это сделает он, Дорриго, то сумеет отобрать самых крепких, тех, у кого, по его

мнению, больше шансов выжить. А большинство так и так погибнет. Вот какой перед ним выбор: отказаться помогать посреднику смерти или стать его приспешником.

Пока шел отбор, на плац привели еще больше людей, бывших на легких работах, работавших на кухне или в лазарете, пока они стояли, больные и изнуренные голодом, пока кто-то время от времени падал от изнеможения, и его просто оставляли лежать в грязи, узники смотрели, как появилась длинная колонна японских солдат, марширующих по неровной дороге, идущей вдоль дальней стороны плаца, которая, когда ее не делали непроходимой муссонные дожди, служила вспомогательным путем на железную дорогу.

Японские солдаты шли на бирманский фронт — до него было несколько сотен миль через непроходимые джунгли. Они были грязны и измотаны, но все равно упорно шли в ночь, лишь изредка хрипя и постанывая, подталкивая или вытягивая по спицы утопающую в грязи артиллерию. Некоторые выглядели больными, многие были до того молоды, что вполне могли сойти за школьников, и вид у всех был жалкий.

Дорриго Эванс уже несколько месяцев не видел

так близко японские войска. На Яве он проникся к ним уважением не как к близоруким шутам, какими их рисовали австралийцам офицеры из разведки, а как к серьезному противнику. Однако этим японским солдатам, что явно маршировали весь день, да еще и прихватили добрый кусок ночи по пути к ужасам нового фронта, судя по их виду, война принесла столько же бед, сколько и самим военнопленным — сломленные, вываленные в грязи, изможденные. Дорриго перехватил взгляд одного из солдат, который нес фонарь «молния». На его детском личике глаза казались громадными, взгляд их был мягок и раним. Ему было никак не больше семнадцати. Кого он видел в австралийском офицере, Дорриго Эванс и представить не мог, но только не дьявола, и не было ненависти в солдатском взгляде. Солдат споткнулся, потом остановился, все еще не сводя глаз с австралийца. Вероятно, увидел что-то, вероятно, слишком устал, чтобы что-то увидеть. У Дорриго Эванса появилось неудержимое желание обнять его рукой за плечи.

Неожиданно японский сержант (видя, как солдат попусту таращит глаза) подошел и зверски ударил его по лицу бамбуковой палкой. Солдат тут же вытянулся в струнку, пролаял какие-то

слова извинения и перевел свой пристальный взгляд опять на джунгли впереди. Дорриго Эвансу было ясно, что этот солдат понимает, отчего его бьют или куда шлют, не больше, чем военнопленные понимают свою несчастную судьбу. «Далеко ли отсюда его дом?» — раздумывал Дорриго Эванс. В деревне он? Или в городе? Какое-то место, какая-то долина, какая-то улица, улочка, переулок, что, наверное, снится ему во сне, место солнца и ветра, которые ласкают, и дождей, дарующих свежесть, людей, которые заботятся о нем и смеются с ним, это место далеко-далеко от вонючей гнили, удушливой зелени, боли и жестоких людей, которые так легко ненавидят и учат ненавидеть, которые заставляют весь мир ненавидеть. Когда мальчик-солдат проходил мимо, Дорриго увидел кровь на его лице там, куда пришелся удар палки, увидел, что его простая форма покрыта грязью, потерта и пропитана потом, что ни к чему этому не лежит его сердце. И тем не менее, будучи призван (этот мальчик с мягким взглядом и фонарем), он тоже станет безжалостно убивать и в свой черед сам будет убит.

Сержант-японец, так зверски ударивший его, решил передохнуть. Глядя, как быстро уходит в темень джунглей строй солдат, он прикурил

сигарету и сделал затяжку. Когда подошел другой младший командир, он передал сигарету ему, улыбнувшись и пошутив при этом. А когда колонну детей поглотила тьма, Дорриго Эванс почувствовал, будто у него перед глазами прошла целая война.

После того как колонна скрылась в джунглях, дождь полил как из ведра. Небо почернело, и, не считая нескольких керосиновых ламп и фонарей охранников, никакого света не было. Слышно было только, как дождь срывается потоками с ближайших тиковых деревьев, как носит его туда-сюда, Дорриго Эвансу дождь представлялся единым двигающимся живым существом, и этот дождь вместе с громадными тиковыми джунглями, на маленькой просеке среди которых размещался их лагерь, казалось, были тюрьмой, бесконечной, непознаваемой и медленно убивающей их всех.

Наконец было установлено, что все заключенные собраны на плацу. Дорриго Эванс поднял фонарь, и стал виден его пристальный взгляд, озабоченный, так что могло показаться, будто он подавлен, что дух его сломлен всем тем, что им пришлось выстрадать. Он не мог так поступить с ними. Ему приходится поступить куда хуже. Он

посмотрел на семь сотен человек, которые были отданы ему под начало, с которыми он нянчился, которых упрашивал, умолял, дурачил, сплачивал для выживания, чьи нужды он всегда ставил перед своими собственными. Большинство было одето лишь в японские обноски или в жалкие тряпки, которые маскировались под шорты, в маслянистом колеблющемся свете фонаря их тела-скелеты на какой-то миг ужаснули его. Многих трясло от малярии, кое-кто испражнялся — стоя прямо там, и ему надо было найти среди них сто человек, которым предстоит маршем пройти сто миль в глубь джунглей, навстречу неведомому, тропой смерти.

Дорриго Эванс глянул вниз, и хотя ему ничего не было видно, это напомнило ему, что кое у кого есть единственный ключик к выживанию — башмаки. Держа фонарь на уровне колен, он медленно пошел вдоль первой шеренги, глядя на босые ноги, одни сильно зараженные, другие раздутые от бери-бери, третьи с вонючими язвами, такими большими и запущенными, что они, как рассерженные кратеры, разъедали ногу почти до кости. Возле одной он остановился: страшная нелеченная язва оставила лишь узенькую полоску незатронутой кожи внизу на внешней

стороне икры, вся остальная нога стала одной сплошной громадной язвой, из которой стекал отвратительный сероватый гной. Обычно спрятанные внутри, торчали наружу сухожилия и соединительные ткани, мышцы были разъедены и разделены зияющими свищами, между которыми проглядывала большая берцовая кость, у которой был вид, будто ее собака глодала. Кость тоже начинала гнить и крошиться. Полковник поднял взгляд и увидел бледного изможденного ребенка. Нет, Друган Фахи пойти не сможет.

— Наведайся в лазарет, когда развод закончится, — сказал Дорриго Эванс.

Следующим был Гарри Доулинг. Три месяца назад Дорриго успешно удалил ему аппендикс, в таких условиях это было достижение, которым он гордился. А теперь Доулинг, похоже, далеко не в худшей форме. У него была обувка и язвы только-только проклюнулись. Дорриго взглянул на него, положил руку ему на плечо.

— Гарри, — выговорил он как мог мягче, словно будил ребенка.

«Из меня делают отвратительное чудовище».

Следующим стоял Рэй Крепыш, которого им удалось спасти от холеры. Его тоже Дорриго тронул за плечо.

— Рэй, — произнес он.

«Ты явился на пиршество смерти».

— Рэй, — произнес он.

«Бойся Харона, страх наводящего и мерзкого».

И так Дорриго двигался с одного конца шеренги до другого вдоль строя тех, кого пытался спасти, а теперь принужден был отбирать, трогать рукой, называть по имени, выносить приговор тем, с кем, как ему казалось, он смог бы лучше всего сработаться, тем, у кого были наиболее высокие шансы не умереть и кто тем не менее скорее всего обречен на смерть.

Под конец Дорриго Эванс отступил назад и уронил голову, охваченный стыдом. Он подумал о Джеке Радуге, которого вынудил столько страдать, о Смугляке Гардинере, на чью затянувшуюся смерть он мог только смотреть со стороны. И вот теперь эти сто человек.

А когда поднял взгляд, увидел, как люди, которых он приговорил, встали вокруг него. Он ждал, что его начнут проклинать, отвернутся от него, осыплют бранью, потому как каждый понимал, что предстоит смертный бросок. Джимми Бигелоу вышел вперед.

— Берегите себя, полковник, — сказал он и протянул руку Дорриго. — Спасибо за все.

— Вам тоже, Джимми, — ответил Дорриго Эванс.

И один за другим остальные из этой сотни пожимали ему руку и благодарили.

Когда с этим было покончено, он ушел в джунгли подальше от плаца и там разрыдался.

17

— Мы не уверены, что он в сознании, — сказала сестра. В неоновом свете палаты ей были видны его черные, как у собаки, глаза, поблескивающие жизнью, которой они жили сами по себе. — Впрочем, по-моему, он меня слышит, — добавила она. — По-моему.

Как он ни был разбит, а сумел сообразить, что его поместили в прекрасную палату, в окне виднелись огромные смоковницы с воздушными корнями и сочной листвой. Но ощущения, что он дома, не было. Он не чувствовал себя здесь своим. То не был остров, на котором он родился. Птицы на рассвете кричали по-другому — это были резкие, радостные крики зеленых и шлемоносных попугаев. Не слышалось нежного, не такого громкого, зато более затейливого пения трио крапивников, медососов и белоглазок его родного острова, на которое столь же нежно отзывается серогрудая мухоловка… какая жалость, что он не может сейчас полетать и попеть со всеми этими птицами! И не было дороги, бегущей из кубка женской талии по оловянному морю к

всплывающей луне.

Мой умысел — к закату парус править,
За грань его…

— шептал он, –

…и, прежде чем умру,
Быть там, где тонут западные звезды.

— Что он говорит? — спросила одна из сиделок.

— Бредит, — ответила другая. — Лучше доктора вызвать. Это или морфин, или конец, либо то, либо другое, либо и то и другое вместе. Кто ничего не говорит, кто дышать перестает, а кто бредит.

Пока политики, журналисты и бесшабашные радиоведущие состязались в составлении все более бестолковых панегириков про человека, которого никогда не понимали, его уносил сон в один-единственный день. День со Смугляком Гардинером и Джеком Радугой, с Крохой Мидлтоном. Миком Грином. Джеки Мирорски и Цыганом Ноланом. С малышом Ленни, отправляющимся домой к мамочке в Малли. С сотней его бойцов, пожимающих ему руку. С тысячью остальных, чьи имена всплывали в памяти, чьи имена ушли из нее навсегда, море лиц. *Amie, amante, amour.*

— Жизнь наслаивалась на жизнь, — бормотал он, и каждое слово звучало теперь как откровение, словно было написано для него, стихи его жизни и его жизнь в стихах.

И сколько мне моей осталось жизни?
Лишь краешек. Но каждый час спасен
От вечного молчания, и больше…

— И больше… и больше… — несколько строк он потерял где-то и больше уже не понимал, что это за стихи, кто их написал, настолько сейчас стихи стали им самим. — Вот он, серый призрак, — печально думал он, — или он вспоминал?.. ну да, вот оно:

И этот дух седой, томимый жаждой,
Вслед знанью мчать падучею звездой
За крайней гранью мысли человека.

И он ощутил стыд, ощутил утрату и ощутил, что его жизнь всегда и была только стыдом и утратой, уже будто бы свет светил, мать звала его: «Мальчик! Мальчик мой!» Но он не мог ее найти, он возвращался в ад, и из того ада не будет ему никогда исхода.

Ему вспомнилось лицо Линетт Мэйсон, когда она спала, и миниатюрные бутылочки с виски,

которые он выпил, прежде чем уйти, и рисунок Кролика Хендрикса, на котором Смугляк Гардинер сидит в богатом кресле, по которому плывет серебряная рыбка, в том сирийском селеньице, где Рачку Берроузу с его будто у ехидны одолженными волосами суждено было рассыпаться в сирийскую пыль. Так или иначе, для него не имело значения, что рисунок уцелел и будет бесконечно распечатываться: ведь Рачок Берроуз исчез, и к его жизни сделались неприложимы никакое будущее, никакой смысл. Там над ним стоял кто-то в голубой форме. Дорриго хотел сказать ему, что он сожалеет, но когда раскрыл рот, оттуда лишь слюна потекла.

Он между тем мчался назад, во все убыстряющийся, бурлящий водоворотами поток людей, событий, мест, назад и кругом, и глубже, глубже, глубже в нарастающую горестную пляшущую бурю забытого и наполовину хранимого в памяти, историй, поэтических строк, лиц, непонятых жестов, растоптанной любви, красной камелии, рыдающего мужчины, церкви, отделанной изнутри деревом, женщин, света, похищенного им с солнца…

Он вспомнил еще одно стихотворение, увидел его во всей полноте, но не хотел ни видеть, ни

знать его… Он видел горящие глаза Харона, глядящие прямо в его глаза, но он не хотел видеть Харона… Он ощутил вкус обола, который засовывают ему в рот, он ощущал пустоту, в которой становился…



— И наконец-то понял смысл этого стихотворения.

Его последние слова, по свидетельству санитара-суданца, были:

— Вперед, в наступление, благородный госпо-

дин. В атаку на ветряную мельницу.

Он почувствовал, как петля капкана захлестнула ему горло, схватил ртом воздух и выпростал ногу из постели (та судорожно подергалась секунду-другую, сотрясая стальную кровать) — и умер.

18

Долгая ночь разрасталась, четвертушка луны продолжала неспешно взбираться по черным ступеням, ночь полнилась множеством стонов и храпов. В офицерскую палатку заявился Бонокс Бейкер с известием, что Смугляк Гардинер утонул. В свете керосиновой лампы Дорриго Эванс записал это в свой дневник как убийство. Слово казалось неподходящим. А какое бы не показалось? В маленьком зеркальце для бритья, что лежало рядом с дневником, он увидел свое пугающее отражение, седые неухоженные волосы, бешеные, горящие огнем глаза и грязную тряпку, повязанную на шее. Он что, паромщиком стал? Доктор перевернул зеркальце, спрятав изображение. Была почти полночь, он понимал, что должен попробовать хоть несколько часов поспать, поднабраться сил и прожить еще один день. Он хотел быть первым на плацу на рассвете, чтобы встретить ту сотню человек, когда они соберутся, и пожелать им всего доброго прежде, чем они уйдут.

Утром с грузовиком прибыл мешок с почтой,

первой, которую все они увидели за девять месяцев. Письма выпали случайно, как никогда. Кто-то получил сразу несколько писем, многие — ни одного. Было одно письмо для Дорриго Эванса — от Эллы. Он собирался подождать до этой поры, до конца дня, чтобы, испытывав несказанное удовольствие от чтения письма, уснуть и наполнить им свои сны, но, увидев письмо, которое ему вручили утром перед разводом, ощутил такую тоску по дому, что вскрыл конверт и там же на месте прочел письмо. Поверить в то, что сообщала Элла, он не мог. Оно преследовало его весь день. Перечитывая письмо сейчас, в конце дня, он все еще никак не мог это переварить.

Письмо было полугодовой давности. В нем было несколько страниц. Элла писала, что хотя ни от Дорриго не было весточки, ни о его части ничего не было слышно больше года, она знает, что он жив. Письмо рассказывало, как она живет, о Мельбурне со всеми его мирскими заботами. Всему этому он мог поверить. Но в отличие от других, впитывавших в себя каждое предложение в письмах и открытках из дому, Дорриго Эванс обратил внимание лишь на одну частность. К письму прилагалась газетная вырезка под заголовком: «ТРАГЕДИЯ АДЕЛАИДСКОЙ

ГОСТИНИЦЫ». В ней говорилось, что после взрыва газа на кухне дотла сгорела гостиница «Король Корнуолла», при этом погибли четыре человека, в их числе и заслуживший уважение многих общественный деятель м-р Кейт Мэлвани. Трое остальных считаются пропавшими без вести и, как полагают, тоже погибли: два постояльца и миссис Мэлвани, его жена.

Дорриго Эванс перечел газетную вырезку в третий, а потом и в четвертый раз. Снаружи опять пошел дождь. Полковнику стало зябко. Он поплотнее завернулся в армейское одеяло и в свете керосиновой лампы еще раз прочел письмо Эллы.

«Один из папочкиных высокопоставленных друзей по моей просьбе навел справки в ведомстве коронера в Аделаиде, — писала Элла. — Он сказал, что теперь это уже признано официально, но, учитывая трагедию и щадя чувства людей и всякое такое, в печати об этом не сообщали. Пришлось идентифицировать по зубам. Можешь себе представить? Несчастная миссис Кейт Мэлвани теперь среди подтвержденных погибших. Я так сожалею, Дорри. Я же знаю, как нежно ты относился к своим дяде и тете. Трагедии вроде этой дают мне понять, насколько мне везет».

Миссис Кейт Мэлвани?

Какое-то время это имя значило для него не больше, чем само известие.

Миссис Кейт Мэлвани.

Для него она была всегда только Эми. Он и понятия не имел, что это была ложь, Элла солгала ему единственный раз в жизни.

Он погасил керосиновую лампу, сберегая горючее, и зажег огарок свечи. Долго-долго смотрел, как не желает умирать пламя. Дым сошел на нет в крошечных частицах сажи, которые, играя, парили вверх-вниз в пульсирующих ареолах воспаленного пламени свечи. Словно бы сошлись два мира. Этот мир и потаенный, бывший реальным миром пугливых, парящих частиц, крутящихся, мерцающих, случайно сталкивающихся друг с другом, в результате чего образовывались новые миры. Чувства одного человека не всегда равнозначны всему, что бывает в жизни. Порой они не очень-то равнозначны вообще чему бы то ни было. Он, не отрываясь, смотрел на пламя.

— Эми, *amante, amour*, — шептал он, словно слова сами по себе были частичками пепла, поднимавшимися и падавшими, как будто свеча была историей его жизни, а она в ней — пламенем.

Он улегся на свою неудобную раскладушку.

Через некоторое время отыскал и открыл книгу, которую читал и которая, как он ожидал, должна была кончиться хорошо: любовная история, и он хотел, чтобы она закончилась хорошо, чтобы герой с героиней нашли любовь, чтобы настали покой и радость, искупление и понимание.

«Любовь — это два тела с единой душой», — прочел он и перевернул страницу.

Но дальше ничего не было: последние страницы были вырваны и пошли на замену туалетной бумаге или на раскурку, — не осталось никакой надежды, ни радости, ни понимания. Не было последней страницы. Книга его жизни попросту оборвана. Осталась только грязь под ногами и мерзкое небо вверху. Не было ни покоя, ни надежды. И Дорриго Эванс понял, что история любви будет все продолжаться и продолжаться вечно и дольше — без конца.

Ему предстоит жить в аду, потому что любовь — еще и это.

Он отложил книгу. Не в силах уснуть, встал и подошел к краю хижины, за которым бесновался дождь. Луна пропала. Он снова зажег керосиновую лампу и пошел к бамбуковому писсуару в дальнем конце лагеря, оправился, а на обратном

пути заметил сбоку от тропки в грязи, посреди непроглядной тьмы кроваво-красный цветок.

Он нагнулся и посветил фонарем на маленькое чудо. Долго-долго стоял, склонившись, под проливным дождем. Потом распрямился и продолжил свой путь.